

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER KONTINENT

Социалистические нации равны.
И на просторах солнечной страны
Ворует славянин, еврей, грузин



Уж семьдесят
почти что лет
и зим.
Пускай нас это не
волнует,
Пускай крадут,
пускай воруют.
России слава не в
богатстве,
А в равенстве
людей и братстве.
Владимир Уфлянд

Сегодня любая идеология неэффективна, так как время опережает события и каждое поколение имеет свое отношение к происходящему и свои проблемы. Поэтому нашему поколению необходима своя революционная теория и идеология. Теория с ее разрушительной и конструктивной частями.



Г. Константинов

Что особенно поражает в процессе массовой перестройки архитектурной психики, так это не столько скорость, сколько глубина и искренность. Можно, конечно, не доверять чувству гордости, с которым хитроумный и не обремененный предвзятыми художественными концепциями Щусев заявлял,



что в его работе над гостиницей «Москва» «...представители правительства принимали самое активное участие, и по их указаниям мне приходилось неоднократно переделывать самые существенные детали». Архитектурную молодежь, похоже, удалось купить за так.

Дмитрий Хмельницкий

Не было ни знамения, ни видения, ни Монополия тоталитаризма на «глас-голоса. Ни кометы, ни трубного гласа, ни рыбного дождя. Всё было менее жесткой, чем на остальное...



крайне буднично. Но все равно остается монополией, что и гарантирует названным акциям полный провал. Если, разумеется, государство не пересмотрит в корне свое отношение к свободной мысли

Виктор Кондырев



Валерий Сендеров

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Израиль	Авраам Бен-Яков Avraham Ben-Yakov 6, Hagana str. Jerusalem 97852, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D. Lozansky 508 23rd Street N.W. Washington, DC 20037, USA
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

55

Издательство «Континент»
1988

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир У ф л я н д – Для голоса и балалайки. Народ. Стихи	7
Владимир В о й н о в и ч – Шапка. Повесть. (Журналь- ный вариант)	13
Генрих С а п г и р – Новые сонеты	117
Виктор К о н д ы р е в – Перст судьбы. (Памяти Виктора Платоновича Некрасова)	125
Владислав Л ё н – Ода на вступление великого русского человека Андрея Дмитриевича Сахарова в Москву	129
Виктор К р и в у л и н – Родословная. Рассказ	134
Дмитрий Б о б ы ш е в – Новые стихи	178
Венедикт Е р о ф е е в – Моя маленькая лениниана	187
Михаил К р е п с – Стихи	203
Леонид Ц ы п к и н – Ваше здоровье. Рассказ	213

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Николай Б у х а р и н (?) – Ибо я – большевик!!.. (Тем, которые придут). Вступление, публикация и приме- чания <i>А. Рубинштейна</i>	223

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Георгий К о н с т а н т и н о в – С чего начинать? (Заметки по поводу одноименной статьи <i>А. Зи- новьева</i>). Перевод с болгарского	249

ЗАПАД – ВОСТОК

Лев Н а в р о з о в – Писатель как агент-provokator всесильной власти	271

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Валерий С е н д е р о в – Гласность в свете «нефор- мальных объединений»	303

ИСТОКИ

Кастусь А к у л а – Оккупационный режим против «отца» белорусского национального возрождения	311

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ <i>К тысячелетию Крещения Руси</i> Василий Т е л е ж и н с к и й – Свет зажженной истины	321
ИСКУССТВО Дмитрий Х м е л ь н и ц к и й – Архитектура нового типа	329
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ Лев Л о с е в – Кто же герой «Поэмы без героя»?	353
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ Виктор Н е к р а с о в – 80 лет тому назад	367
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	371
НАША ПОЧТА	377
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ Ирина М у р а в ь е в а – Излечение правдой Кира С а п г и р – «Жить по-русски – жить по-дру- гому...» Владимир М а к с и м о в – За что боролись?	385 393 396
КОРОТКО О КНИГАХ	401
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	403
НАША АНКЕТА Интервью с председателем итальянской Радикальной партии Марко П а н н е л л а . Ведет <i>Г. Келлерман</i>	417
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

ДЛЯ ГОЛОСА И БАЛАЛАЙКИ

Вот едет Федя к нам из Питера на Ладе.
На нем костюмчик новый импортный блестит.
Он в бане выпарится. Выспится в прохладе.
И заодно маманю с тятей навестит.
Тебя мы, Федя, встретим плясками и пеньем.
На свадьбах будешь ты почетней всех гостей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.
Поведай нам, кто отучился в институте.
Кто сколько тысяч на сберкнижке накопил.
Кто стал начальником, кто в партию вступил.
И кто остался человеком, выйдя в люди.
Ты расскажи нам, кто в какой живет квартире.
Кто Жигули недавно новые купил.
Кого из наших до сих пор не посадили.
Кому еще не вшили что-то, чтоб не пил.

Уж полпути, небось, проехал он на тачке.
Его на рытвинах отеческих трясет.
Он отдохнет в деревне лучше, чем на дачке.
И много разных новостей нам привезёт.
Поведай, Федя, как вас в городе снабжают.
Что там едят и пьют, что пляшут и поют.
За что уж больше не казнят и не сажают.
За что прибавки, за что премии дают.
Кто из псковских таки не стал еще евреем.
Не сплыл за речку под влиянием страстей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.

Вот едет Федя к нам, спешит во все колеса.
Кассеты слушает и семечки грызет.

Ответит он на злободневные вопросы.
И много разных новостей нам привезет.
Спеши к нам, Федя, приезжай перед Успеньем.
Да не забудь, родной, с похмелья наш наказ.
Плохие новости узнать еще успеем.
И неприятности не убегут от нас...

И так далее, пока не сломается балалайка.

НАРОД

драма

- Мыслитель: Народ есть некий интеграл
Отдельных личностей,
Которых Бог не зря собрал
В таком количестве.
- Крестьянин: У нас в деревне все в порядке:
Один играет на трехрядке,
Другой поет, танцует третий,
И так уж несколько столетий.
Ну, а если скажут: геть!
Будем снова мы сидеть,
Как сидели наши
Деды и папаши.
- Рыболов: Ты хочешь знать, о чем рыдают девки
На берегах Фонтанки или Невки?
- Охотник: Да.
- Рыболов: Они рыдают о свободе,
Поскольку это нынче в моде.
- Радиослушатель: Ночью слушал Би-би-си,
Что творится на Руси.
Утром сбегал на Лубянку,
Сам себя разоблачил,

Благодарность получил,
Дали денег на полбанку.

Пограничник: Что-то с внешней стороны
Никто не торопится к нам
на отсутствующие в общепите блины.
А вот изнутри все время
пытаются границу нарушить,
удрать к нашим классовым врагам
и там чего-нибудь покушать.
Научим их любить свободу,
дадим на всю катушку и по рогам.
Повернитесь, пограничники,
лицом к народу,
спиною к врагам!

Пролетарский
интернациона-
лист: Социалистические нации равны.
И на просторах солнечной страны
Ворует славянин, еврей, грузин
Уж семьдесят почти что лет и зим.
Пускай нас это не волнует,
Пускай крадут, пускай воруют.
России слава не в богатстве,
А в равенстве людей и братстве.

Швейцары: Мы советские часовые,
Никогда не берем чаевые.

Конвоир: Когда влюблен в свою профессию,
Слова из сердца льются песнею.

Гость: Налей-ка мне, Екатерина,
Лосьона или биокрина,
Авось от них помолодею,
Тобой, родная, овладею.

Гармонист: На день взял отгул Григорий,
Повез тетку в крематорий,

По дороге потерял,
Сгоря десять дней кираял.

Пэтэушник: Пить бензин и ацетон –
 Это страшный моветон.
 Благородней во сто крат
 Обонять их аромат.

Служащий: О, не гони меня из дома в дали
 Из-за несходства взглядов или вкусов.
 Ведь у меня за службу есть медали
 И грамота обкома профсоюзов.

Питерский
рабочий: Раздавим скорее
 По стопарю
 На зависть еврею
 И скобарю.

Молодой солдат: Папа, мама, в нашей роте
 Не привык скучать солдат.
 То мечтает он в походе,
 Как пропьет свой автомат,
 То во сне придет бабенка
 Красотой пленять своей,
 То кругом кукует звонко
 Старшина, как соловей.

Космонавт: Однажды говорил я с Богом,
 И Он сказал с печальным вздохом:
 Я рад, что человек над миром
 Поставлен Мною бригадиром.

Дзен-буддист: Вчера на Эвересте
 Сидел я с Буддой вместе.
 И час ночной настал.
 И глядя в темноту,
 Мне Будда вдруг сказал:
 Иди ты в Катманду!

Историк:	Ехал Федор Достоевский По дороге столбовой, А потом свернул на Невский, Вдруг навстречу Лев Толстой.
Толстой:	А куда спешишь ты, Федя, Мимо ресторан-Медведя, Быстро едя, быстро едя, Горяча коня кнутом?
Достоевский:	Я спешу в игорный дом.
Толстой:	Ну, а я конец недели Провести хочу в борделе.
Достоевский:	Нет, уж сам не согрешу, Но и вам не разрешу!
Историк:	Тут они схватили сабли, Стали ими фехтовать, Молодую кровь до капли Стали быстро проливать, Не заметив в увлеченьи, Как ударили к вечерне. Шел на счастье мимо старец, С укоризной поднял палец. Он друзей благословил И дуэль остановил.
Старый большевик:	Увы, никто теперь не знает, Чем И. В. Сталин Был по ночам усердно занят, Когда мы спали.
Комсомолец:	Отдай любовь свою мне, Лиза. Цветной мы купим телевизор, И заведем с тобой сынишку, Чтобы читал нам вслух сберкнижку.
Поэт:	Люблю тебя, мой современник, Когда, подзаработав денег, Сидишь ты мирно в санузле И размышляешь о добре и зле.

Читатель: Есть русских множество поэтов,
Живут на Западе они
И пишут там венки сонетов,
Уныло коротая дни.
Других же множество поэтов,
Таких же русских, как они,
Живут себе в Стране Советов
И весело проводят дни.

Эмигрант: Когда, когда же я воочию
Увижу снова землю отчую?
Верни, судьба, меня, верни
На улицы родной Перми.

Путиловский
рабочий: Придут иные времена
И будет издали видна
Россия в своей новой славе
Мне, возлежащему в канаве.

Конец первого действия

УФЛЯНД Владимир – родился в 1937 г. в Ленинграде, учился в университете, служил в армии, работал кочегаром и завхозом, выстав-
лялся как художник-график. Живет в Ленинграде, пишет для детских
изданий и для сцены. В 1978 году в изд. «Ардис» вышла книга его сти-
хов «Тексты. 1955-1977».

ШАПКА

Эту шапку я сшил из шинели Гоголя.

Автор

Когда Ефима Семеновича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

— Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.

Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и, тем не менее, проталкивать свои книги, по мере написания, примерно по штуке в год без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле- и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Со-ни» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций.

Журнальный вариант. Полностью повесть будет опубликована в издательстве «Оверсиз», Лондон. Копирайт © автора.

Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: олени рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцырь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это – спелеологи».

В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал его друг Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались: «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.

Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди, как на подбор, хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Он меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и длительного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в

политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.

Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь: в суровых условиях действуют другие законы, и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. В каком смысле нельзя? — спрашивал я. — В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, кто из них хороший, а кто плохой?

В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того, чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.

Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буран, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откочки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-либо иным опасным для здоровья способом.

Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан. Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например, переиздания книги, до самых ничтожных, вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того, ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена почетная грамота ВЦСПС.

Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать и тридцать лет спустя ему за то же самое дали по юбилейной медали, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не правительственные, а боевые, так звучало эффектней.

Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома

выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело №».

Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостоивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).

— Знаешь, — говорил он, отводя при этом глаза, — мне очень важно знать твое мнение.

Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться.

— Ну, зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ей заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.

Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения. И, конечно, я всегда давал слабину.

Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:

— Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольников, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой люби-

мый герой – дезертир, торгующий краденными собаками.

– Подожди, не горячись, – попыталась меня утихомирить жена. – Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.

– И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоем соловьем.

– Но ты хоть полистай.

– И листать нечего! – я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.

Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц вначале, заглянул в середину и конец.

Роман назывался «Перелом». Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход на беду сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках, в дождь и снег, через топи и хляби, переживая невероятные трудности. Больной, хотя и мужественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец рудной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже даже собственной жизни. (Хорошие люди тем, собственно, и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить, за что получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы – и еда, и курево, и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.

Все было ясно. На листке бумаги я набросал некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.

В четверг, как всегда, он явился, нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.

Мы поговорили о том, о сем, о последней передаче «Голоса Америки», о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в «Литературной газете» и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.

Наконец я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.

– А, очень хорошо! – он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку «Паркер» (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.

Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.

– Мне понравилось... – начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей.

– Но мне кажется...

Паркеровское перо отделилось от блокнота, на лице Ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали.

Это была не осознанная тактика, а феномен такого сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.

– Ты меня не слушаешь, – заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.

– Нет-нет, почему же! – слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.

– Понимаешь, – сказал я, – мне кажется, что, сломав ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.

– Кобальтовая руда, – уточнил Ефим, – она государству нужна позарез.

– А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверно, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит...

Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.

Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.

– Ну, написано это... – Я немного помялся... – Ну, ничего. – Посмотрел на него и поправился. – Написано довольно хорошо.

Он просиял.

– Да, мне кажется, что стилистически...

За такой стиль, конечно, надо убивать, но, глядя на Ефима, я промямлил, что по части стиля у него все в порядке, хотя есть некоторые шероховатости...

Тут он полез в карман, то ли за платком, то ли за валидолом, и я понял, что даже некоторых шероховатостей достаточно для небольшого сердечного приступа.

– Маленькие шероховатости, – поспешил я поправиться. – Совсем небольшие. А впрочем, может быть,

это мое субъективное мнение. Ты знаешь, меня и раньше всегда ругали за субъективизм. А объективно это вообще хорошо, здорово.

– А как тебе понравилось, когда Егоров лежит и смотрит на Большую Медведицу?

Егоровым, кажется, звали главного героя. А вот где он лежит и на что смотрит, этого я припомнить не мог и вынужденно похвалил Егорова и Большую Медведицу.

– А сцена в кабинете начальника главка? – посмотрел на меня Ефим, поощряя к нарастающему восторгу.

О Боже! Какого еще главка? Я был уверен, что там все действие происходит только на лоне недружелюбной природы.

– Да-да-да, – сказал я, – в главке вообще, это да. И название очень удачное, – добавил я, чтобы подальше уйти от деталей.

– Да, – загорелся Ефим. – Название мне удалось. Понимаешь, речь же идет не просто о переломе конечности. Это было бы слишком плоско и примитивно. Одновременно происходит перелом в отношении к человеку, перелом в душе, перелом в сознании... Там, ты помнишь, они поднесли его к больнице и видят за замерзшим окном расплывшийся силуэт...

Разумеется, и этого я не помнил, но о силуэте ото-звался самым одобрительным образом и, чтоб избежать дальнейших подробностей, вскочил и, пряча глаза, поздравил Ефима с удачей.

Моя жена вылетела на кухню, и я слышал, как она там давилась от смеха, а он, пользуясь ее отсутствием, кинулся ко мне с рукопожатием.

– Я рад, что тебе понравилось, – сказал он взволнованно.

Покинув меня, он, как и следовало ожидать, тут же разнес по всей Москве весть о моем восторженном отзыве, сообщил о нем, кроме прочих, Баранову, который немедленно позвонил мне и, шепелявя больше обычно-

го, стал допытываться, действительно ли мне понравился этот роман.

– А в чем дело? – спросил я настороженно.

– А в том дело, – сердито сказал Баранов, – что своими беспринципными похвалами вы только укрепляете Ефима в ложном мнении, будто он в самом деле писатель.

Этот Баранов, будучи ближайшим другом Рахлина, никогда его не щадил, считал своим долгом говорить ему самую горькую правду, иногда даже настолько горькую, что я удивлялся, как Ефим это терпит.

Ефим жил на шестом этаже писательского дома у метро «Аэропорт» – исключительно удобное место. Внизу поликлиника, напротив (одна минута ходьбы) – производственный комбинат Литературного фонда, налево (две минуты) – метро, направо (три минуты) – продовольственный магазин «Комсомолец». А еще чуть дальше, в пределах, как американцы говорят, прогулочной дистанции: кинотеатр «Баку», Ленинградский рынок и 12-е отделение милиции.

Квартира была просторная, а стала еще просторнее после того, как семья Ефима сократилась ровно на четверть. Это случилось после того, как дочь Наташа уехала на историческую Родину, а точнее сказать, в Тель-Авив. Уехала, между прочим, с большим скандалом.

Чтобы понять причину скандала, надо знать, что жена у Ефима была русская – Кукушкина Зина, родом из Таганрога. Кукуша (так ее ласково звал Ефим) была полная, дебелая, похотливая и глупая дама с большими амбициями. Она курила длинные иностранные сигареты, которые доставала по блату, гуляла, как говорится, «налево», пила водку, пела похабные частушки и вообще материлась, как сапожник. Она работала на телевидении старшим редактором отдела патриотического воспитания и выпускала программу «Никто не забыт,

ничто не забыто». Кроме того, была секретарем партбюро, депутатом райсовета и членом общества «Знание», а под лифчиком носила крест, верила в мумиё, телепатию, экстрасенсов и наложение рук, словом, была вполне современной представительницей нашей интеллектуальной элиты. Она сохранила девичью фамилию, чтобы не портить себе карьеры, и по той же причине сделала Кукушкиными и записала русскими обоих детей. Ее стратегия долго себя оправдывала. Она сама делала карьеру и литературным успехам мужа способствовала, чем могла.

Ей уже было сильно за сорок, а у нее все еще были любовники, чаще военные, а из них самый важный — дважды Герой Советского Союза генерал армии Побратимов. Они познакомились в ту давнюю пору, когда, еще будучи заместителем министра обороны, он увидел Кукушу по телевизору. Она так привлекла генерала, что он взялся курировать передачу «Никто не забыт, ничто не забыто». Мне рассказывали, что во времена, когда Ефим отправлялся с мужественными людьми в дальние командировки или, по выражению Баранова, искать приключений на свою ж..., Побратимов присылал бывало за Кукушей длинную черную машину с адъютантом, маленького роста брюхатым полковником по имени Иван Федосеевич. Случалось это обычно днем, в самое что ни на есть рабочее время. Иван Федосеевич в форме с полным набором орденских планок являлся в редакцию, по-штатски здоровался со всеми Кукушкиными сослуживцами, широко улыбался всеми своими золотыми коронками и важно сообщал:

— Зинаида Ивановна, вас ждут в генеральном штабе с материалами.

Кукуша складывала в папку какие-то бумаги и удалялась, а кто и что судачил там за спиной, ее не очень-то волновало.

А когда генерал сам навещал Кукушу, то сначала перед домом появлялся милиционер-регулирующий,

потом на двух «волгах» прибывали и рассредотачивались вокруг дома какие-то люди, похожие на слесарей. В таких случаях, несмотря даже на капризы погоды, на лавке перед подъездом устраивалась парочка влюбленных. Они или пили из одной бутылки вино, или обнимались, причем он (так изображал мне дело Баранов) оттягивал ее кофточку и бормотал что-то в пазуху, где, вероятно, прятался микрофон. Затем появлялось такси, которое, высадив гражданина в темных очках и надвинутой на очки серой шляпе, немедленно укатывало. Наблюдательные соседи заметили, что шофером такси был все тот же переодетый Иван Федосеевич, ну, а кем был пассажир, об этом стоит ли говорить?

Из всех Кукушиных любовников генерал Побратимов был самым щедрым и благодарным. Хотя в последнее время он мало чем мог быть полезным. Не угодив высшему начальству, он был смещен за «бонапартизм» и с прилепленными в утешение маршалскими звездами услан командовать отдаленным военным округом. Но, и уезжая, он своих друзей не забыл: Тишке Кукушкину помог освободиться от армии, а Ивана Федосеевича устроил военным комиссаром Москвы и способствовал присвоению ему генеральского звания.

Кукушкина Наташа в свое время работала переводчицей в «Интуристе» и тоже готовилась к аспирантуре, пока не встретила младшего научного сотрудника НИИ мясо-молочной промышленности Семена Циммермана, которому родила сына, названного по настоянию отца Ариэлем в честь (подумать только) министра обороны Израиля. Кукуша боролась против этого имени, как могла, обещала, что никогда внука с таким именем не признает, потом все-таки признала, но называла его Артемом. Коварный Циммерман, однако, подготовил Кукуше еще более страшный удар. Явившись однажды домой, Наташа сообщила, что она и Сеня (Циммерман) решили переселиться на историческую родину и ей нужна справка от родителей об отсутствии у них мате-

риальных претензий. Это известие повергло Кукушу в ужас. Она умоляла Наташу опомниться, бросить этого проклятого Циммермана, подумать о своем ребенке. Она попрекала ее своими материнскими заботами, скормленными ей в детстве манной кашей и рыбьим жиром, напоминала о советской власти, давшей Наташе образование, о комсомоле, воспитавшем ее, пугала капитализмом, арабами и пустынным ветром хамсином, плакала, пила валерьянку, становилась перед дочерью на колени и грозила ей самыми страшными проклятиями. Справку она, конечно, не дала и запретила это делать Ефиму. Больше того, она написала в Интурист, в НИИ мясо-молочной промышленности, в ОВИР и в собственную парторганизацию заявления с просьбой спасти ее дочь, по незрелости попавшую в сионистские сети. Но сионисты проникли, видимо, и в ОВИР, потому что в конце концов Наташе разрешили уехать без справки.

Ни на прощальный вечер, ни в аэропорт Кукуша не явилась, а Ефим простился с дочерью втайне от жены и теперь скрывал, что, преодолевая постоянный страх, время от времени получает из Израиля письма, посылаемые ему до востребования на центральный почтамт.

Наташа и ее муж устроились очень хорошо. Сеня (теперь он назывался Шимоном) определился на какой-то военный завод и получал приличное жалование, а она работала в библиотеке. Одно только было разочарование, что Ариэль, считавшийся в СССР евреем и бывший им на три четверти, в Израиле оказался русским, поскольку был рожден от русской матери (да и сама мать, всю жизнь скрывавшая свое еврейство, теперь тоже считалась гойкой по той же причине).

Вопреки ожиданиям, отъезд дочери на положении Ефима и Кукуши никак не сказался. Издательство «Молодая гвардия» по-прежнему регулярно издавало его романы о хороших людях, Кукуша продолжала работать над передачей «Никто не забыт...», руководила

парткомом и носила крест, а Тишка успешно заканчивал аспирантуру.

Жизнь шла своим чередом.

Утром Ефим просыпается от легкого стука. Это упала газета «Известия», просунутая лифтершей в дверную щель. Щель эта делалась для почтового ящика, который должен бы висеть изнутри. Но ящика нет. Ефим хотел заказать этот ящик еще до рождения Тишки, да все откладывал, а теперь и не нужно. Отличный естественный будильник для чутко спящего человека. Ефим встает и, обернув свое щуплое мохнатое тело зеленым махровым халатом, шлепает в коридор, подбирает газету и с газетой – в уборную. Затем, сполоснувши лицо, на кухню, готовить завтрак для Тишки. Пока жарится яичница, варится кофе, ставятся на стол хлеб, масло, в комнате Тишки при помощи таймера включается магнитофон «Панасоник», подарок родителей. Звуки рок-музыки звучат сперва приглушенно. Затем резкое усиление звука – Тишка, идя в уборную, дверь свою оставил открытой. Звук стихает – Тишка опять закрылся, делает зарядку с гантелями. Музыка опять гремит на всю квартиру – Тишка пошел в душ, все двери открыты. Наконец музыка неожиданно глохнет, и Тишка появляется на кухне умытый, причесанный, аккуратно одетый: джинсы «Ранглер», синяя полуспортивная финская курточка, белая рубашка, темно-красный галстук.

– Здорово, папан!

– Доброе утро!

Тишка садится завтракать. Ефим с удовольствием смотрит на сына: высокий, светловолосый, глаза серые, Кукушины. С сыном Ефиму повезло. Учится отлично, не пьет, не курит, занимается спортом (теннис и каратэ). Всегда занят: аспирант, член студенческого научного общества, член институтского бюро комсомола, председатель совета народной дружины.

Ест яичницу, прихлебывает кофе, без интереса скользит глазами по газете. Прием в Кремле. В Туркмениии идет посевная. Честь и совесть партийного руководителя. Напряженность в Персидском заливе. Спорт, спорт, спорт...

– Ты сегодня поздно придешь? – спрашивает отец.

– Поздно. У нас сегодня вечером эстрадный концерт, а потом дежурство в дружине.

– Значит, к ужину тебя не ждать?

– Нет.

Вот и весь разговор. Тишка уходит, а Ефим опять варит кофе и жарит яичницу, теперь уже себе и Кукуше. А как только Кукуша ушла, посуду помыл и – к столу, чтобы написать за день свои четыре страницы, такая у него в среднем дневная норма.

Сейчас он только приступил к работе над новым романом. Вернее, даже не приступил, а вложил в машинку чистый лист финской бумаги (ее недавно выдавали в Литфонде), написал сверху «Ефим Рахлин», написал посередине название «Операция» и задумался над первой фразой, которая ему всегда давалась с большим трудом. Хотя сюжет был обдуман полностью.

Сюжет (опять медицинский) развивался где-то посреди Тихого океана на исследовательском судне «Галактика». У одного из членов экипажа приступ аппендицита. Больной нуждается в немедленной операции, а делать ее некому, кроме судового врача. Но все дело в том, что именно он-то и заболел. Конечно, узнав о случившемся, хорошие люди во Владивостоке и в Москве обмениваются радиограммами, связываются с капитанами судов, те, естественно, тут же меняют курс и идут на помощь, но им, как во всех романах Рахлина, противостоят силы природы: шторм, туман, дождь и обледенение. Короче говоря, больной доктор принимает единственно возможное решение. Взяв ассистентом штурмана, который держит зеркало, доктор сам делает себе

операцию. Но хорошие люди в это время тоже не сидят сложа руки. Как раз к концу операции к борту «Галактики» подходит флагман китобойной флотилии «Слава». Врач флагмана, рискуя жизнью, добирается до «Галактики», поднимается со своим чемоданчиком по веревочной лестнице, однако операция уже позади.

– Ну что ж, коллега, – осмотрев шов, говорит прибывший. – Операция проведена по всем правилам нашего древнего искусства, и мне остается вас только поздравить.

– Тсс! – приложив палец к обескровленным губам, шепчет прооперированный и включает стоящий на тумбочке рядом транзисторный приемник «Романтика».

Дело в том, что у него как раз сегодня день рождения и радиостанция «Океан», по просьбе его жены, передает любимый романс доктора «Я встретил вас, и все былое...»

Написав название романа «Операция», Ефим задумался и попытался себе представить, как будет выглядеть это слово, если его изобразить по вертикали. Дело в том, что названия всех его романов последнего времени всегда состояли из одного слова. И не случайно. Ефим давно заметил, что популяризации литературных произведений весьма способствует включение их названий в кроссворды. Составители кроссвордов являются добровольными рекламными агентами, которых иные авторы недооценили, называя свои сочинения многословно, вроде «Война и мир», «Горе от ума» или «Преступление и наказание». В других случаях авторы оказались дальновиднее, пустив в оборот названия «Полтава», «Обломов», «Недоросль» или «Ревизор».

Ефим втайне гордился тем, что сам, без посторонней подсказки, открыл такой нехитрый способ пропаганды своих сочинений. И время от времени пожинал плоды, находя в кроссвордах, печатавшихся в «Вечерке», «Московской правде», а то и в «Огоньке» заветный

вопрос: «Роман Е. Рахлина». И тут же, подсчитав количество букв, радостно вписывал: «Лавина». Или: «Скважина». Или (было у него и такое название) «Противовес». Слово из восьми букв «Операция» тоже для этой цели весьма годилось. А кроме того подходило и для своеобразной шарады, которая только что пришла ему в голову. У него даже дух захватило, и он сначала записал шараду на отдельном листе бумаги, а потом позвонил Кукуше на работу.

– У тебя пара минут найдется?

– А что? – спросила она.

– Слушай, я придумал шараду. Первые пять букв – крупное музыкальное произведение, вторые пять букв – переносная радиостанция, а все вместе будущий роман Рахлина из восьми букв.

– Лысик, не морочь мне голову, у меня через пять минут запись.

– Ну хорошо, хорошо, – заторопился он. – Я тебе не мешаю. Я тебе только скажу, первая часть: опера...

– Лысик, – завопила Кукуша, – иди ты в жопу со своей оперой. Чем херней заниматься, сходил бы за молоком.

Она всегда так выражалась, и Ефиму это нравилось, хотя сам он подобных слов избегал.

Он положил трубку и посмотрел на часы. Было четверть десятого, и Баранов, если вчера не перепил, может, уже проснулся. Он позвонил Баранову.

К телефону долго не подходили. Он намерился положить трубку, но тут в ней щелкнуло.

– Алё! – услышал он недовольный голос.

– Привет, – сказал Ефим. – Я тебя не разбудил?

– Конечно, разбудил, – сказал Баранов.

– Ну, тогда извини, я тебе просто хотел загадать шараду.

– Шараду?

– Очень интересную. Первая половина слова из пяти букв: крупное музыкальное произведение, вторая

половина из пяти букв: переносная радиостанция, а все вместе: хирургическое вмешательство из восьми букв.

– Слушай, старик, я вчера в доме литераторов слегка перебрал, но ты ведь не пил. Ты арифметику давно проходил? Пять и пять сколько будет?

Улыбаясь в трубку, Ефим стал объяснять, что его шарада усложненная и состоит из двух частей, как бы налезających друг на друга.

– Понимаешь, первая часть: опера, вторая часть – рация, последний слог первого слова является первым слогом второго слова, а все вместе – мой новый роман.

– Ты опять пишешь новый роман? – удивился Баранов.

– Пишу, – самодовольно признался Ефим.

– Молодец! – похвалил Баранов, громко зевая. – Работает без простоев. Пишешь быстрее, чем я читаю.

– Кстати, – напомнил Ефим, – ты «Лавину» прочел?

– «Лавину»? – переспросил Баранов. – Что еще за «Лавина»?

– Мой роман. Который я тебе подарил на прошлой неделе.

– А, ну да, – сказал Баранов. – Помню. А зачем ты спрашиваешь?

– Ну, просто мне интересно знать твое мнение.

– Ты же знаешь, что мнение мое крайне отрицательное.

– А ты прочел?

– Конечно, нет.

– Как же ты можешь судить?

– Старик, если мне дают кусок тухлого мяса, мне достаточно его укусить, но не обязательно дожевывать до конца.

Разговор в таком духе они вели не в первый раз, и сейчас, как всегда, Ефим обиделся и стал кричать на Баранова, что он хам, ничего не понимает в литературе

и не знает, сколько у него, Ефима, читателей и сколько ему приходит писем. Кстати, только вчера пришло письмо от одной женщины, которая написала, что они «Лавину» читали всей семьей, а она даже плакала.

– Вот слушай, что она пишет. – Ефим придвинул к себе письмо, которое лежало перед ним на виду: «Ваша книга своим гуманистическим пафосом и романтическим настроением выгодно отличается от того потока, может быть, и правдоподобного, но скучного описания жизни, с бескрылыми персонажами, их приземленными мечтами и мелкими заботами. Она знакомит нас с настоящими героями, с которых хочется брать пример. Спасибо вам, дорогой товарищ Рахлин, за то, что вы такой, какой вы есть».

– О Боже! – застонал в трубку Баранов. – Надо же, сколько еще дураков-то на свете! И кто же она такая? Пенсионерка, небось. Член КПСС с какого года?

Баранов попал в самую точку. Читательница действительно подписалась Н. Круглова, персональная пенсионерка, член КПСС с 1927 года. Но Ефим этого Баранову не сказал.

– Ну, ладно, – сказал он, – с тобой говорить бесполезно. Не поймешь.

И бросил трубку.

Настроение испортилось. Писать уже не хотелось. Столь легко сложившийся замысел «Операции» больше не радовал. Хотя последний эпизод, где прооперированный доктор слушает любимый романс, по-прежнему казался удачным.

– Дурак, – сказал Ефим, воображая перед собою Баранова. – Нахал! Чья бы корова мычала. Я написал одиннадцать книг, а ты сколько?

На этот вопрос ответить было нетрудно, потому что за всю жизнь Баранов написал всего одну повесть, был за нее принят в Союз писателей, трижды ее переиздавал, но ничего больше родить не мог и зарабатывал

на жизнь внутренними рецензиями в Воениздат и короткометражными сценариями на студии научно-популярных фильмов (в просторечии Научпоп).

Впрочем, Ефим злился не только на Баранова, но и на себя самого. Он сам не понимал, почему позволял Баранову так с собой обращаться, почему терпел от него все обиды и оскорбления. Но факт, что позволял, факт, что терпел. Иногда Ефим вступал в долгие споры о ценности своего творчества, и тогда Баранов предлагал ему или посмотреть в зеркало, или сравнить свои писания с книгами Чехова.

Насчет зеркала Баранов был, ничего не скажешь, прав. Иногда Ефим и в самом деле подходил к стоявшему в коридоре большому трюмо, пристально вглядывался в свое отражение и видел перед собой жалкое, лопоухое, сморщенное лицо с мелкими чертами и голым теменем, по которому рассыпалась одна растущая посередине и закручивающаяся мелким бесом прядь. И видел большие выпученные еврейские глаза, в которых не было ничего, кроме бессмысленной какой-то печали.

Но что касается Чехова, Ефим читал его часто и внимательно. И ничего не мог понять. Читая Чехова, он... нет, он, конечно, никому и никогда бы в этом не признался... но, читая Чехова, он каждый раз приходил к мысли, что ничего особенного в чеховских писаниях нет и он, Рахлин, пишет не хуже, а может быть, даже немного лучше.

Ефим нервно ходил по комнате. Злясь на Баранова и на себя самого, он размахивал руками, бормотал что-то бессвязное, корчил рожи, а иногда даже по-старомодному, как лейб-гвардии офицер (неизвестно откуда в нем проснулся этот не соответствующий его происхождению атавизм), вытягивался в струнку, щелкал пятками (никак не каблуками, потому что был в мягких шлепанцах), делал резкий кивок головой, сквозь зубы произносил: «Нет уж, увольте!» – и несколько раз даже плюнул в лицо воображаемого оппонента, то есть Баранова.

Умом Ефим признавал, что в его дружбе с Барановым нет никакого смысла. Он был согласен с Кукушей, которая не понимала, что его связывает с Барановым. Он меня любит, отвечал ей Ефим, хотя сам в это не верил. Но верил не верил, а что-то такое между ним и Барановым было. Если не любовь, то привязанность. Да такая привязанность, что оба, обмениваясь взаимными оскорблениями и попреками, одного дня не могли обойтись друг без друга, а может быть, и без самих этих попреков и оскорблений.

Не понимая этого до конца, Ефим решил прекратить с Барановым всякие отношения. Он решил это совершенно твердо (так же твердо, как решал это тысячу раз) и почувствовал (в тысячу первый раз) облегчение и успокоенность. В конце концов, он не один, у него есть любимая жена, есть любимый сын, есть блудная дочь, тоже, впрочем, любимая. Да, она уехала, но их отношения сохранились, она пишет, он пишет, и они всё еще близки. И, кроме того, у него есть неистощимый источник муки и радости – его работа. Вот он сейчас опять сядет за машинку, ему надо только придумать первую фразу, а там дальше дело пойдет само по себе. Пусть про него говорят, что он не очень хороший писатель. А где критерии, кто хороший, а кто нехороший? Нет критериев. Во всяком случае, самому Ефиму нравилось, как он пишет, и он хорошо знал, что если бы его не печатали и не платили денег, он все равно писал бы для себя самого. Но его печатают довольно внушительными тиражами и платят такие деньги, каких он не имел никогда. В свое время, будучи рядовым сотрудником журнала «Геология и минералогия», он за зарплату во много раз меньшую вынужден был ежедневно ходить на работу, выслушивать нарекания начальства, когда опаздывал (что, правда, случалось редко), и отпрашиваться в поликлинику или в магазин.

Сейчас он сочинит первую фразу, а там все пойдет своим чередом. Появятся описания природы, появятся

люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения и начнется тот тайный, необъяснимый и не каждому подвластный процесс, который называется творчеством.

Пересилив себя, Ефим сел за машинку и само собой написалось так:

«Штормило. Капитан Коломийцев стоял на мостике и тоскливо озирает взбесившееся (именно взбесившееся, подумал Ефим) пространство. Огромные волны громоздились одна за другой и бросались под могучую грудь корабля с самоотверженностью отчаянных камикадзе...» Сравнение волн с камикадзе понравилось Ефиму, но он вдруг засомневался, как правильно пишется это слово – ками- или комикадзе. Он придвинул к себе телефон и механически стал набирать номер Баранова, но тут же вспомнил о своем бесповоротном решении.

Не успел опустить трубку, как его собственный телефон зазвонил. Ефим всегда утверждал, что по характеру звонка можно догадаться, кто звонит. Начальственный звонок обычно резок и обрывист, просительский – переливчат и вкрадчив. Сейчас звонок был расхлябанный, наглый.

– Ну, что тебе еще? – спросил Ефим, схватив трубку.

– Слушай, слушай, – зашепелявил Баранов, – я тебе совсем забыл сказать, что писателям шапки дают.

– Понятно, – сказал Ефим и бросил трубку. Но бросил не для того, чтобы наглубить Баранову, а по другой причине.

Надо сказать, что Ефим и Баранов, живя на порядочном расстоянии друг от друга, чаще всего общались по телефону. По телефону обсуждали все волнующие их проблемы и события, которых бывало всегда в изобилии. Сплетни о тех или иных своих коллегам, об очередном заседании в секции прозы, о том, кто где провоцировался, к кому от кого ушла жена и о многих полити-

ческих событиях. Они критиковали колхозную систему, цензуру, книгу первого секретаря союза писателей, обсуждали все события на Ближнем Востоке, побег на Запад очередного кагебешника, заявление новой диссидентской группы, передавали друг другу новости, услышанные по Би-Би-Си. А для того, чтобы их никто не подслушал или, подслушав, не понял, они разработали (отчасти стихийно) сложнейшую систему иносказаний и намеков, что-то вроде особого кода, в соответствии с которым все имена, названия и основные направления их размышлений были искажены до неузнаваемости. Сами же они понимали друг друга с полуслова. И если, например, Ефим сообщал Баранову, что, по словам бабуси, в Лондоне наметился большой урожай грибов, то Баранов, заменив в уме «грибы» «шампиньонами», а шампиньонов шпионами и понимая, что под «бабусей» имеется в виду Би-Би-Си, делал вывод, что, по сообщению этой радиостанции, из Лондона высылается большая группа советских шпионов. Разумеется, такой высылке оба радовались, как радовались в жизни всем другим неудачам и неприятностям государства, того самого, ради которого книжные герои Ефима охотно рисковали и жертвовали отдельными частями своего тела и всем телом целиком. А когда, например, Баранов позвонил Ефиму и сказал, что может угостить свежей телятиной, тот немедленно выскочил из дому, схватил такси и поперся к Баранову к чёрту на кулички в Беляево-Богородское вовсе не в расчете на отбивную или ростбиф, а приехав, получил на очень короткое время то, ради чего и ехал, – книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом».

Итак, Баранов позвонил и сказал, что писателям дают шапки. Ефим сказал: «понятно» и бросил трубку, чтобы не привлекать внимания тех, кто подслушивает. И стал думать, что мог Баранов иметь в виду под словом «писатели» и под словом «шапки».

Естественно, ему пришло в голову, что речь идет о группе экономистов, которые недавно написали открытое письмо о необходимости более смелого расширения частного сектора. Это письмо попало на Запад, его передавали Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и канадское радио. Теперь, вероятно, этим «писателям» дали «по шапке». Ефиму хотелось узнать подробности, и он взглянул на часы. Было еще слишком рано. Все радиостанции, которые он слушал, вещали только по вечерам, а работавшую круглосуточно «Свободу» в его районе не было слышно.

До вечера ждать было слишком долго, и он, забыв о своем прежнем решении, позвонил Баранову.

– Я насчет этих шапок, – сказал он взволнованно. – Их уже выдали или только собираются?

– Их не выдают, а шьют, – объяснил Баранов.

– Что ты говоришь! – вскричал Ефим, поняв, что «писателям» «шьют дело», то есть собираются посадить.

– А что тебя удивляет? – не понял Баранов. – Ты разве не слышал, что на последнем собрании Лукин говорил, что о писателях будут заботиться еще больше, чем раньше. Что в Сочи строят новый дом творчества, в поликлинике ввели курс лечебной гимнастики, а в Литфонде принимают заказы на шапки. Я вчера там, кстати, был и заказал себе ушаночку из серого кролика.

– Так ты мне говоришь про обыкновенные зимние шапки? – осторожно уточнил Ефим.

– Если хочешь, ты можешь сшить себе летнюю.

Ефим ни с того ни с сего разозлился.

– Что ты мне звонишь, голову с утра морочишь! – закричал он визгливо. – Ты знаешь, что утром у меня золотое время, что я утром работаю!

Он бросил трубку, но через минуту поднял ее снова.

– Извини, я погорячился, – сказал он Баранову.

– Бывает. – сказал тот великодушно. – Кстати, в

поликлинике работает новый психиатр. Кандидат медицинских наук Беркович.

Ефим пропустил подковырку мимо ушей и спросил, что именно Баранову известно о шапках. Тот охотно объяснил, что по решению Правления Литфонда писателям будут шить шапки соответственно рангу. Выдающимся писателям – пыжиковые, известным – ондатровые, видным – из сурка...

– Ты понимаешь, – сказал Баранов, – что выдающиеся писатели – это секретари союза писателей СССР, известные – секретари союза писателей РСФСР, а видные – это московская писательская организация. К числу видных могут быть причислены некоторые не секретари, а просто писатели.

– Вроде нас с тобой, – подсказал Ефим и улыбнулся в трубку.

– Ну что ты, – охладил его тут же Баранов. – Ну какие ж мы с тобой писатели. Мы с тобой члены союза писателей. А писатели, это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы, я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину.

Ефим сознавал, что именно таким образом и выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был в общем-то прав. Написав одиннадцать книг, Ефим хорошо знал, что, даже если он напишет сто одиннадцать, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место, ему все равно будут давать худшие комнаты в домах творчества, никогда не подпишут на журнал «Америка», никогда не напечатают фотографию к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои (другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные) преимущества: ему никто не завидовал, никто

не зарился на его место, а он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях.

Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего делать, а у него есть своя шапка, волчья, ему в прошлом году подарили оленеводы.

Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтоб не мешал. Вернулся к машинке и, впад в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. А писал он вот что.

«В литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны. Потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки. Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать, и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А ваша шапка мне не нужна, можете оставить ее себе, можете ее скусать, можете ей подавиться, если не сможете ее прожевать».

На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность, Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно здесь впоследствии этот текст был найден и прочитан. Именно этот текст дал повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана Коломийцева, ко-

торый стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтоб не слетела.

Он заметил, что опять написал слово «шапка» неосознанно. Разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим «крабом».

Капитан Коломийцев стоял на штормовом ветру и придерживал рукой форменную фуражку с выцветшим «крабом». Это было значительно лучше. Но одного капитана Ефиму было мало, надо было сразу же вводить в действие главного героя, который проходил как раз (зачем проходил, Ефим еще не придумал) мимо капитана Коломийцева.

– Доктор! – окликнул его капитан.

– К вашим услугам, сэр! – весело откликнулся доктор и по привычке старого интеллигента приподнял шапку.

– Тьфу! – сплюнул Ефим и в досаде хлопнул себя по колену. Да что ему дались эти шапки!

Он вынул и этот лист и собирался заправить следующий, когда раздался телефонный звонок.

– Слушай, – сказал Баранов, – я твою «Лавину» прочел, это гениально.

Такого Баранов еще никогда не говорил, Ефим просто опешил и не знал, что сказать. Впрочем, он тут же заподозрил, что в оценке содержится какой-то подвох, и переспросил Баранова, что он имеет в виду.

– Я имею в виду твой роман «Лавина», – повторил Баранов.

– Но ведь ты же двадцать минут назад сказал, что ты роман не читал.

– Двадцать минут назад я его не читал, а теперь прочел.

– Баранов, – застонал Ефим, – оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я по утрам работаю. «В отличие от некоторых», – хотел добавить, но не добавил.

– Ну, смотри, как хочешь, – сказал Баранов. – Я хотел тебе высказать свое мнение... Дело в том, что роман гениальный...

Все-таки произнесенный эпитет звучал так заманчиво, что, даже предчувствуя каверзу, Ефим трубку не положил.

– Роман гениальный, но сильно затянут, – гнул свою линию Баранов.

– Почему же это затянут? – насторожился Ефим.

– Ну вот давай разберем. Возьмем самое начало: «День был жаркий. Савелий Моргунов сидел за столом и смотрел, как жирная муха бьется в стекло». Потрясающе!

– Ну да, это у меня неплохо получилось, – застенчившись, признал Ефим.

– Не неплохо, – стоял на своем Баранов, – а потрясающе! Великолепно! Но слишком мрачно.

– Мрачно?

– Очень мрачно.

Эта оценка была приятна Ефиму, потому что в глубине души он всегда хотел написать что-нибудь мрачное, а может, даже непроходимое.

– Ужас, как мрачно, – повторил Баранов. – Но на этом надо и кончать. И так все понятно. Лето в разгаре, солнце в зените, жара невыносима, а окна закрыты. Савелий сидит, муха бьется в стекло, пробиться не может. Савелию жарко. Он изнывает. Он смотрит на муху и думает, что он вот так же, как эта муха, бессмысленно бьется в стекло. И ничего не выходит. А к тому же жара. Он сидит, потеет, а муха бьется в стекло. Кстати, он кто, этот Савелий?

– Прораб, – осторожно сказал Ефим.

– Так я и думал. Тем более, все ясно. Жара стоит, муха бьется, прораб потеет. Материалов не хватает, рабочие перепились, начальство кроет матом, план горит, премии не будет. Прораб потеет, настроение мрачное, муха бьется в стекло. Он понимает, что жизнь

не удалась, работа не клеится, начальство хамит, жена скандалит, сын колется, а дочь проститутка.

– Что ты за глупости говоришь! – завизжал Ефим тонким от оскорбления голосом. – Кто колется? Кто проститутка? У меня нет никаких проституток.

– Да что ты расшумелся, – сказал Баранов. – Какая разница, кто у тебя есть, кого нет. Я так додумал, довообразил. Ты должен читателю доверять, оставить ему простор для фантазии. Зачем же ты пишешь шестьсот страниц, когда все ясно с первой строки.

– Ничего тебе не ясно! – закричал Ефим еще более тонко. – У меня вообще не бывает никаких наркоманов и никаких проституток. Я пишу только о хороших людях, а о плохих не пишу, они меня не интересуют. А прораб у меня вообще старый холостяк.

– А-а, педераст! – обрадовался Баранов. – Тогда другое дело. Тогда все приобретает другое значение. Он сидит, он потеет, муха бьется в стекло...

Ефим не выдержал, бросил трубку.

Он хотел опять вынести аппарат, но тот зазвонил у него в руках.

– Лысик, – зажурчала трубка Кукушиным голосом, – совсем забыла сказать, чтобы ты до обеда никуда не уходил. Из прачечной должны привезти белье.

– Хорошо, – сказал Ефим и стал ждать сигналов отбоя.

Его краткий ответ Кукушу удивил.

– Квитанция на столике перед зеркалом, – сказала она, чтобы услышать опять его голос и понять, что с ним.

– Хорошо.

– Лысик, – встревожилась Кукуша, – ты чем-то расстроен?

– Нет.

– Лысик, не свисти, – сказала Кукуша. – Я же слышу по твоему голосу, что ты не в себе. Что случилось?

Ефим всегда разговаривал с женой исключительно вежливо и даже заискивающе, но тут, возбужденный Барановым, разозлился.

– Ну что ты ко мне привязалась? – закричал он плачущим голосом. – Я тебе говорю – ничего не случилось. Все хорошо, все прекрасно. Савелий летает, муха потетет, в литфонде шапки дают.

– Что? – удивилась Кукуша. – Лысик, ты, случаем, не чокнулся?

– Возможно. – Ефим так же быстро пришел в себя, как и вспылil. – Извини, это меня Баранов довел.

– Я так и думала. И что ж он тебе такого сказал?

– Да ничего, ничего, даже рассказывать неохота. Говорит, в литфонде писателям будут шить шапки.

Кукуша заинтересовалась, и Ефим, уже успокоившись и улыбаясь, повторил то, что услышал от Баранова – о распределении шапок по чинам: выдающимся – пыжиковые, известным – ондатровые, видным из сурка...

– А мне, – сказал он, – из кролика.

– Почему это тебе из кролика? – строго спросила Кукуша.

Он опять, повторяя Баранова, сказал, почему.

– Это глупости, – сказала Кукуша. – Баранову можно вообще ничего не давать, потому что он бездельник и алкаш. А ты – писатель работающий. Ты в командировки едешь, тебе приходится встречаться с важными людьми, ты не можешь ходить в шапке из кролика.

– Да что ты разволновалась. Я и не хожу в кролике, ты знаешь, у меня есть хорошая шапка. Волчья.

Кукуша замолчала. Она всегда так делала, когда выражала недовольство.

– Ну, Кукушенька, ты чего? – залебезил Ефим. – Ну если хочешь, я схожу, запишусь. Но они же мне не дадут. Ты же знаешь, я не секретарь Союза писателей, не член партии и с пятым пунктом у меня не все в порядке.

– Ну, если ты сам так ощущаешь, что ты неполноценный, то и ходить нечего. Ты хуже всех, и тебе ничего не нужно. У тебя есть своя шапка. ...Какое им дело, что у тебя есть! У тебя, между прочим, еще семья есть и взрослый сын. А у него шапка вытерлась, он ее уже два года носит. Да что с тобой говорить! Ты же у нас вежливый, ты добрый, тебе ничего не нужно, ты всем улыбаешься, всем кланяешься, у тебя все хорошие, и ты тоже хороший, и ты хуже всех.

Послышались частые гудки – Кукуша прервала разговор.

– Сумасшедшая баба, – кладя трубку, сам себе улыбнулся Ефим. – Надо же, хороший и хуже всех. Женская логика.

Несмотря на то, что Кукуша на него накричала, ему было приятно все, что было ей о нем сказано. Приятно сознавать, что ты такой добрый, хороший, бескорыстный и скромный. Но при этом он стал думать, что, может быть, она права. Он хороший, но не слишком ли? Он ведет себя скромно, а почему? Он опять вспомнил свой писательский стаж, количество написанных книг и отзыв пенсионерки Кругловой.

Он вынул из машинки лист с незаконченным описанием капитана Коломийцева и со вздохом (видать, сегодня он уже свою норму не выполнит) быстро сочинил заявление, в котором, прежде чем изложить суть, перечислил восемнадцать лет, одиннадцать книг, правительственные награды, к чему прибавил, что часто приходится ездить в дальние командировки, включая районы Крайнего Севера (то есть шапка должна быть теплой), а также встречаться с людьми мужественных профессий и местными руководителями (то есть шапка должна быть достойной столичного писателя). На всякий случай упомянул он о своей неутомимой общественной деятельности – член совета по приключенческой литературе.

Заявление получилось на целую страницу и заканчивалось просьбой «принять заказ на пошив головного убора из...», тут он задумался, название меха для выдающихся и известных писателей назвать не посмел, сурком ограничить возможности начальства не захотел и потому написал неопределенно: «...из хорошего меха».

Перед тем, как Ефим отправился в комбинат литфонда, его посетил сказочник Соломон Евсеевич Фишкин, живший двумя этажами ниже. Он поднялся в пижаме и шлепанцах попросить сигарету, поделиться сюжетом сказки и новыми сведениями о страданиях Васьки Трёшкина, поэта и защитника русской природы от химии и евреев. Васька был человек высокий, худой, дерганый и очень мрачного вида. Мрак проистекал оттого, что Васька себя считал (да так оно и было) со всех сторон стесненным представителями неприятной ему национальности. Над ним жил Рахлин, под ним Фишкин, слева литературовед Аксельрод, справа профессор Блок. Напрягая усталый мозг, Васька много раз считал, и думал, и не мог понять, как же это получается, что евреев в Советском Союзе (так говорил ему его друг Черпаков) по отношению ко всему населению не то шесть, не то семь десятых процента, а здесь, в писательском доме, он, русский, один обложен сразу четырьмя евреями, если считать только тех, кто вплотную к нему расположен. Получалось, что в этом кооперативном доме и, очевидно, во всем Союзе писателей евреев никак не меньше, чем восемьдесят процентов, эта статистика волновала Трёшкина и повергала в уныние. Считая себя обязанным уберечь Россию от всеобщей, как он выражался устно, евреизации, а письменно – сионизации, Васька бил в набат, писал письма в ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, в Союз писателей, в Академию наук и в газеты. Время от времени он получал уклончивые ответы, иногда его куда-то вызывали,

беседовали, выражали сочувствие, но при этом обращали внимание на принятые в нашей стране принципы братского интернационализма и терпимого отношения даже к зловердным нациям. Терпимость, однако, по мнению Васьки, давно уже перешла все границы. Евреи (они же сионисты) с помощью сочувствующих им жидомасонов давно уже (так говорил Черпаков) захватили ключевые позиции во всем мире и в нашей стране, выбирают евреев президентами и премьер-министрами, а руководителям иного национального происхождения подсовывают в жены евреек. Ежедневно и ежечасно они оплетают весь мир паутиной всеобщего заговора. Признаки этого заговора Васька находил повсюду. Вечерами, глядя в небо, он видел, как звезды перемещаются в пространстве, складываются в сионистские кабалистические фигуры и перемигиваются друг с другом. Он видел тайные сионистские символы в конструкциях зданий, расположении улиц и природных явлениях. Листая газеты и журналы, он находил в них как бы случайно поставленные шестиконечные звездочки, а глядя «на просвет», различал тайные водяные знаки или словесное вредительство. С одной, например, стороны напечатано «Праздник русской песни», а с другой – заголовок международной статьи «Никогда не допустим» (вместе получается «Праздник русской песни никогда не допустим»). Сообщая об этом по инстанциям, Васька понимал, на какой опасный путь он вступил, и чувствовал, что сионисты, пытаясь от него избавиться, травят его не имеющими запаха газами и невидимыми лучами, отчего жена его заболела раком, а сам он страдает от головных болей и преждевременной импотенции. Пытаясь уберечься, он всегда принимался к пище, воду кипятил, а в кальсоны вкладывал свинцовую фольгу, чтобы защитить свой половой механизм от радиации. Недавно он сообщил в ЦК КПСС, в КГБ и в Союз писателей о загадочном исчезновении своей кошки, которая была или украдена, или отравлена сионистами. Ответа он не получил.

Дверь в квартиру Рахлиных была открыта, и, войдя в нее, Фишкин застал Ефима перед зеркалом в дубленке и держащим над головой в правой руке джинсовую кепку, а в левой – волчью шапку.

– Ефим, – удивился сосед, – что с вами? Может быть, вам кажется, что у вас две головы?

Недоумение сказочника было, однако, тут же рассеяно, Ефим, сообщив о своих намерениях, сказал Фишкину, что не знает, как быть. В кепке он выглядит несолидно, и ему могут отказать как несолидному, а если придет в шапке, ему могут отказать как уже имеющему шапку.

– Люди совсем посходили с ума, – покачал головой Соломой Евсеевич. – Мне уже двадцать человек звонили про эти шапки. Все волнуются и атакуют литфонд. Кстати, вот вам мой совет – идите совсем без шапки. В вашей дубленке вы выглядите солидно. В таком виде никто не может подумать, что у вас нет шапки, и никто не посмеет сказать, что вам не нужна шапка. Впрочем, – сказал он, подумав, – вам все равно не дадут ничего, кроме какой-нибудь дряни.

– Ну почему же не дадут? – раздраженно спросил Ефим. – Вам дадут, а мне не дадут.

– Ну что вы, Ефим, они поступят гораздо более справедливо: они и вам не дадут, и мне не дадут. И знаете почему? Потому что мы оба для них гадкие утята. Между прочим, на эту тему я придумал новую сказку. Хотите послушать?

Ефим, конечно, не хотел (кто ж хочет слушать чужие сказки?), но отказывать старику было неудобно.

– Давайте, только быстро, а то я не успею.

– Я уверен, что вам понравится, – пообещал Фишкин. – Сказка так и называется – «Возвращение гадкого утенка». Здорово, а?

– Не очень, – сказал Ефим. – Хорошее название всегда состоит из одного слова.

– Допустим, – легко согласился Фишкин. – Назовем ее просто «Возвращение». Вот слушайте. Гадкий Утенок, затравленный своими собратьями, ушел от них, жил на маленьком и пустынном озере и там вырос в Настоящего Прекрасного Лебедя. Обнаружив это, он обрадовался и захотел вернуться к своим, показать им, что он не то, чтобы лучше всех, но, по крайней мере, не так уж плох. Он даже готов великодушно простить им прошлые обиды. Но они встречают его еще враждебней, чем раньше. Дело в том, что, пока его не было, они сами себя стали называть лебедями. Причем у них есть своя иерархия, а в ней место Прекрасного Лебедя занимает Селезень, который думает, что он большой, хотя на самом деле он просто жирный. А еще есть два Гордых лебедя, четыре Славных и шестнадцать Стремительных. «А кто же остальные?» – спрашивает их пришедший. Ему отвечают, что остальные это просто лебеди.

– Это вы про Союз писателей? – перебил Ефим.

– Да причем тут ваш вонючий союз! – возмутился Фишкин, как будто он сам в этом союзе не состоял. – Это вообще про людей. Слушайте дальше. Услышав такой ответ, Прекрасный Лебедь говорит: «Хорошо. Я ни на что особенное не претендую. Я хочу быть таким, как все. Пусть я буду тоже просто лебедем». Тут все утки переполошились, некоторые стали смеяться, а другие разгневались. Надо же, говорят, какое нахальство, мы в лебеди всю жизнь пробивались, а он хочет это звание получить просто так. А другие стали говорить, что он просто тронутый, у него мания величия. Ну, а потом все же подумали, пожалели (все-таки свой брат, лапчатый) и решили предоставить ему место Гадкого Утенка...

– С испытательным сроком! – радостно подсказал Ефим.

– Точно, – улыбнулся Фишкин.

– И он согласился?

– А этого я еще не додумал, – сказал Фишкин. – Пожалуй, все же не согласился. Обиделся, вернулся на свое озеро, плавает там, смотрит на свое отражение и говорит сам себе, но не очень уверенно: «Нет, все-таки мне кажется, что я больше похож на лебедя, чем они».

– А утки что о нем говорят?

– В том-то и дело, что они о нем не говорят ничего. Они хотят о нем забыть и делают вид, что его вообще нет. Потому что, если помнить, что он существует, им надо называть себя не лебедями, а как-то иначе.

Рассказав затем о пропавшей трёшкинской кошке, Фишкин стрельнул две сигареты (одну про запас) и прошлепал к себе вниз, а в скором времени на лестнице появился Ефим в дубленке и красном шарфе с непокрытой головой. Слегка перекашиваясь под тяжестью туго набитого портфеля, он нажал кнопку. Ожидая лифт, он думал о только что услышанной сказке и сам воображал себя непонятым Прекрасным Лебедем.

Лифт со стуком и скрежетом подошел. Проехав два этажа, Ефим вспомнил, что забыл квитанцию на белье. Он расстроился, потому что был суеверен и верил, если что-то забыл, пути не будет. Остановил лифт и вернулся. Взял квитанцию и, прежде чем опять выйти, посмотрел в зеркало – так требовала примета. В зеркале он увидел не Прекрасного Лебедя, а Немолодого Грустного Человека Еврейской Наружности и к тому же беззубого – оказывается, он забыл еще и вставные челюсти. Пока он насаживал челюсти и долго перед зеркалом щелкал ими, лифт угнали, он решил не дожидаться, пошел пешком.

Когда он проходил мимо квартиры Трёшкина, дверь, обитая коричневым дерматином, приотворилась, и поэт выставил в проем пол-лица с горящим подозрительным глазом. «Куда это он, интересно, идет и почему без шапки?» – думал Трёшкин. Увидев соседа, Ефим не хотел с ним здороваться, понимая, что тот ни за что не ответит. Но, подчиняясь врожденной воспитанности,

сказал «здрасьте» и дернул рукой, чтобы дотронуться, как обычно, до шапки, но коснулся голого лба, сжался, сконфузился и улыбнулся поэту. Тот, понятно, ни на улыбку, ни на приветствие никак не ответил, втянул лицо внутрь и со стуком захлопнул дверь.

Он удалился к себе в кабинет и в специальной тетради с клеенчатой обложкой сделал следующую запись: «Сегодня в 11.45 вниз по лестнице, пешком (не смотря на исправность лифта!!!) проследовал сионист Рахлин с большим портфелем, без шапки».

Обычно лифтерша сидела со своим вязаньем внизу у казенного телефона, но сейчас ее на месте не оказалось.

Ефим встретил ее во дворе, она бегала очень взволнованная.

– Надо ж какое нахальство! – кричала она на весь двор, обращаясь неизвестно к кому. – Бесстыжие! Милиции на вас нету!

– Варвара Григорьевна, что случилось? – поинтересовался Ефим.

– Да как же что случилось? Зла не хватает, честное слово! Вонизу развели! Пьянь рваная. Идут от магазина к метро и каждый норовит завернуть под арку. Я ему говорю: «Гражданин, чтой-то вы такое делаете и куды ж вы сцыте? Здесь же вам все ж таки не туалет. Здесь такие люди живут, писатели, а вы поливаете. Вон же ж он, туалет, через дорогу...» И милиция, главное, на это дело ноль внимания. Я участковому сколько раз говорила: неудобно, все ж таки здесь писатели живут, не то что мы с вами, говорю, а он... Ой, батюшки, Ефим Семеныч, да чтой-то с вами? – перебила она сама себя. – Чтой-то вы в такой мороз да без шапочки? Головку-то застудите, а головка-то ваша не то что у нас, нам-то нашими головами хоть гвозди заколачивай, а ваша-то головенка для дела нужна, а вы ее так вот прямо непокрытую носите.

– А ничего, Варвара Григорьевна, надо же и закаляться, – бодро ответил Ефим и, отдав лифтерше квитанцию, пошел дальше. Мороз на самом деле был небольшой, но задувал ветер, и лысина с непривычки мерзла.

Выйдя из подворотни, Ефим сразу попал в круговорот беспорядочного движения людей и машин, месивших серый, перемешанный с солью снег. Около всех киосков, расположенных против дома и у метро, топтались и дышали паром терпеливые темные очереди: в одном – за пломбиром в пачках по сорок восемь копеек, в другом – за венгерским горошком в стеклянных банках, в третьем – за болгарскими сигаретами «Трезор». Четвертая очередь образовала кривую линию на остановке маршрутного микроавтобуса, связывавшего метро «Аэропорт» с Ленинградским рынком.

В холле производственного комбината было шумнее обычного. Несколько человек толклись у столика усатой брюнетки Серафимы Борисовны, принимавшей заказ на копирку и гэдээровские ленты для пишущих машинок. Поэт-песенник Самарин демонстрировал своей молодой и полной жене новый костюм. Широко расставив ноги, он стоял посреди холла в пиджаке, утыканном иголками, и огромная лисья шапка копной выгоревшего сена неуверенно держалась на голове. Между ног его туда-сюда озабоченно ползал здоровый и краснолицый закройщик Саня Зарубин с клеенчатым сантиметром на шее. Со всех сторон слышны были негромкие разговоры, заглушаемые время от времени доносящимся из подвала ужасным визгом. Это механик по швейным машинкам Аркаша Гловтов, овладев смежной профессией, обтачивал фарфоровые зубные протезы, которые делал, конечно, «налево».

Будучи полностью обеспечен и копиркой, и лентами для машинок, и даже финской бумагой, Ефим, тем не менее, протолкался к Серафиме Борисовне и вручил

ей извлеченную из портфеля плитку шоколада «Гвардейский». От нее же он узнал, что заказы на шапки оформляет лично директор Андрей Андреевич Щупов, человек новый, строгий и очень принципиальный. Определение строгий и принципиальный означало, что не берет взятки или берет не со всех, в отличие от старого директора, который на том и погорел, что брал без разбору. Погорел, впрочем, не так уж и сильно, его перевели директором подмосковного дома творчества, где он тоже жил не только на зарплату.

Очередь к директору начиналась здесь, в холле, и уходила в коридор к черной директорской двери.

– Кто последний за пыжиком? – шутя спросил Ефим.

Последним был юморист Ерофеев, мрачный пожилой человек со шрамом на левой щеке.

– За пыжиком, милейший, в очереди не стоят, – назидательно объяснил он Ефиму. – Пыжика приносят на дом, говорят «спасибо» и кланяются. Стоят за мехом попроще.

Ефим обратил внимание, что составлявшие очередь писатели тоже о своих головных уборах подумали. Некоторые были, как он, без ничего, другие в кепках и шляпах, а Ерофеев мял в руке милицмейскую шапку со следом от звездочки. Ратиновое пальто на Ерофееве было расстегнуто и открывало длинный темный пиджак с двумя рядами орденов и медалей. «Вот дурак-то!» – подумал про себя Ефим, ему следовало не писать о своих наградах, а нацепить их. Хоть и невысокого достоинства, а впечатление производят.

Он стал за юмористом и, не теряя времени даром, достал из портфеля экземпляр «Лавины», развернул на колене и на титульном листе размашисто начертил: «Андрею Андреевичу Щупову в знак глубокого уважения. Е. Рахлин».

– Какое сегодня число? – спросил он у Ерофеева и, проставляя дату, услышал:

– Фима!

Оглянулся и увидел сидевшего за журнальным столиком у окна своего бывшего однокашника по литинституту прозаика Анатолия Мыльникова в тяжелой нараспашку шубе. Лицо у него было красное, как из бани, виски блестели от пота, седоватая прядь волос закрутилась и слиплась на лбу.

– А я тебя не заметил, – сказал Ефим виновато. – Ты тоже за шапкой?

– Нет, – поморщился Мыльников. – У меня своя, вот. – Он показал на шапку, которую держал на коленях. Это барсук. Мне тут один алкаш обещал импортные краны для ванной, вот я и жду. Садись, пока место есть.

– А я думал, ты за шапкой, – сказал Ефим присаживаясь и почему-то вздохнул. – У меня, честно говоря, тоже есть шапка. Волчья. Мне ее подарили оленоводы. Но если дают, почему же не взять?

– А, ты эти шапки, которые здесь шьют, имеешь в виду! Так это я давно уже, месяца два тому назад, получил и отдал племяннику. Он как увидел ондатру, так чуть с ума не сошел.

– Тебе дали ондатровую шапку? – удивился Ефим.

– Да, – рассеянно подтвердил Мыльников, – ондатровую. А что?

– А ничего, – скромно сказал Ефим. – Баранову, например, дали из кролика. Ну, ты же у нас, – Ефим льстиво улыбнулся, – живой классик.

Карьера Мыльникова, по непонятным Ефиму причинам, сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал не только о хороших людях, писал не так много и печать его больше ругала, чем хвалила. Но обруганные книги Мыльникова привлекли внимание, были переведены на несколько языков, и начальству приходилось с этим считаться. Мыльникова, несмотря на ругань, продолжали печатать и даже выпус-

кали за границу в составе разных делегаций и отдельно. Наблюдая за карьерой Мыльников, Ефим видел, что для большого успеха гораздо выгоднее время от времени вызывать недовольство начальства, но при этом уметь балансировать и что одни только хвалебные отзывы критиков на самом деле ничего не значат: тебя одновременно и хвалят, и презирают.

На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную «волгу» (другие писатели в лучшем случае ездили на «жигулях»), видеомagneтофон, а дома угощал гостей виски и джином.

Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где он прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по Би-Би-Си. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех.

– В «Таймс» обо мне писали, что я современный Чехов, – говорил Мыльников вполголоса. – В «Гардиан» была очень положительная рецензия...

Он начал было пересказывать эту рецензию, но тут подошла Ефимова очередь, и его позвали к директору.

Войдя в директорский кабинет, Ефим увидел за тяжелым столом под плакатом с портретами членов Политбюро угрюмого человека с деревянным лицом, не имеющим выражения.

– Здравствуйте, Андрей Андреевич! – бодро поздоровался Ефим и тряхнул головой. Он попытался изобразить легкую, открытую и естественную приветливость, но под тяжелым взглядом директора съезжился, ощущая, как лицо его само по себе смарщивается в угодливую, несчастную и ничтожную вроде улыбку.

Директор ничего не ответил.

Перегибаясь под тяжестью портфеля на одну сторону и чувствуя во всем теле жалкую суетливость, Ефим продвинулся к столу, на ходу нелепо улыбаясь и кланяясь.

– Рахлин Ефим Семенович, – назвал он себя и посмотрел на директора, надеясь, что тот тоже представится. Но Андрей Андреевич продолжал смотреть на Ефима недружелюбно и прямо, не ответил, не встал, не подал руки, не предложил даже сесть.

Обычно руководители мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливей.

Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и, почти овладев собой, умильно посмотрел на Андрея Андреевича.

– Значит, вы теперь у нас будете директором?

– Не буду, а есть, – поправил Андрей Андреевич, и это были первые слова, которые от него услышал Ефим.

– Ну да, да, да, – закивал Ефим торопливо. – Конечно, не будете, а есть, это я неправильно выразился. Вы к нам, вероятно, из торговой сети пришли?

Андрей Андреевич посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал просто:

– Нет, я из органов.

На этот ответ внутренние органы Ефима отреагировали рефлекторным похолоданием и некоторым опусканием в низ живота. Нет, он не испугался (бояться не было причины), но неестественно дернулся и сначала опустил, а затем поднял голову. Он устремил свой взгляд на директора, давая ему понять, что ему нечего, совершенно нечего скрывать от органов, он перед ними, как стеклышко, чист. Но, встретившись с тяжелым взглядом директора, смутился, потупился, взгляда не выдержал. И тем самым выдал себя с головой. Кто совершенно чист, тому незачем прятать глаза.

– Из органов! – повторил он, пытаясь взбодрить самого себя. – Очень приятно! – Всей своей фигурой и лицом он изображал почтение к прежней деятельности директора, но глаза его предательски бегали. – Значит, вас прислали сюда на укрепление?

– Да, – разжал губы Андрй Андреевич, – на укрепление. А вам что угодно?

Смущаясь, робея, уже и не пытаясь поднять глаза, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в Литфонде можно сшить шапку, а ему как раз очень нужна шапка, причем нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях весьма важного государственного и научного назначения, где он изучает жизнь наших мужественных современников.

Андрей Андреевич выслушал Ефима и спросил, член ли он Союза писателей. Ефим объяснил, что уже восемнадцать лет член, что билет ему в свое время вручил лично Константин Федин, что он, Рахлин, ветеран войны, имеет правительственные награды, написал одиннадцать книг и активно участвует в комиссии по приключенческой литературе. И выложил на стол заявление. Директор проскользил глазами по тексту, открыл ящик стола и долго в него смотрел, шевеля губами. Затем ящик с грохотом был задвинут, а заявлению Ефима красным карандашом изображена наискосок длинная резолюция. Ефим схватил заявление, вскочил на ноги, похлопал по карманам, достал очки, нацепил их и прочитал: «Принять заказ на головной убор из меха „Кот домашний средней пушистости“».

– Кот домашний, – повторил Ефим неуверенно. – Это что такое кот домашний?

– Вы что, никогда кошек не видели? – наконец, директор, кажется, удивился.

– Нет, почему же, – возразил Ефим. – Кошек я, в общем, видел, у моего соседа кошка недавно пропала. Но чтобы из кошки шили шапки, этого я, признаться, не знал. А извините за некомпетентность, кошка считается лучше кролика или хуже?

– Я думаю, хуже, – предположил директор лениво. – Кроликов разводить надо, а кошки сами растут.

Он замолчал и устремил взгляд в пространство, ожидая, когда посетитель выйдет.

Посетитель, однако, не уходил. Он стоял потрясенный. Он пришел бороться за шапку лучше кролика, а ему предлагают хуже кролика. Теперь ему надо бороться даже за кролика, хотя даже кролик его никак устроить не может.

– Но позвольте... – начал Ефим, сильно волнуясь...
– Я, собственно, не совсем понимаю. Если кошка хуже, чем кролик, то почему же мне из кошки? Я все-таки ветеран. Имею боевые награды. Восемнадцать лет в Союзе писателей. Написал одиннадцать книг.

– Очень хорошо, что написали, – сказал директор и замолчал.

– Но вот вчера у вас был Константин Баранов. Он тоже член Союза писателей, но написал только одну книгу, а я одиннадцать. Но вы даже ему подписали из кролика. Почему же Баранову из кролика, а мне из кота?

– Я не знаю, кто такой Баранов и что я ему подписал. У меня есть три списка писателей, а вас ни в одном из них нет. А для идущих вне списка у меня остались одни кошки. Ничего больше предложить не могу.

Ефим пытался бороться. Пытался убедить директора, что в списках его фамилия отсутствует по недоразумению, продолжал напирать на стаж, на количество изданных книг, на свое боевое прошлое, но Андрей Андреевич сложил руки на груди и просто ждал, когда посетитель выговорится и уйдет.

Видя его непрошибаемость, Ефим сделал еще более жалкое лицо, отказался взять заявление и, бормоча ничего не значащие слова, что будет жаловаться, пошел было к дверям, но, взявшись за ручку, кое-что вспомнил и сообразил, что допустил большую оплошность, которую надо немедленно исправить.

Он повернулся и пошел назад, к директорскому столу, на ходу меняя выражение с жалкого на доброе и даже великодушное, но печать жалкости все же никуда не сошла и держалась на лице Ефима, когда он вынимал из

портфеля и клал на стол перед директором экземпляр «Лавины» в ледериновом переплете.

– Совсем забыл, – сказал он, улыбаясь и кивая головой, словно кланяясь. – Это вам.

– Что это? – Андрей Андреевич, слегка отстранившись, смотрел на книгу отчужденно и с недоумением, как будто на никогда не виданный прежде предмет.

– Это вам, – еще активней заулыбался Ефим, пододвигая книгу к директору. – Это моя книга.

– Это не надо, – сказал директор и осторожно отодвинул книгу, как предмет тяжелый, а, может быть, даже и взрывоопасный. – У меня есть свои книги.

– Нет, вы меня не так поняли, – стал объяснять Ефим, словно ребенку. – Дело в том, что это не какая-то книга, это моя книга, это я ее написал.

– Я понимаю, но не надо, – сказал директор.

– Но как же, как же, – разволновался Ефим. – Это же не взятка, это символический подарок от автора. В знак искреннего уважения и расположения. Тем более, я вам все равно подписал, так что этот экземпляр в любом случае уже как бы испорчен.

– Мне, – продолжал упираться директор, – не нужны чужие вещи, ни хорошие, ни испорченные.

– Но это же вовсе даже не вещь! – закричал уже почти что истерически Рахлин. – Это книга, это духовная ценность. И тем более если с автографом автора. От этого никто не отказывается. Я даже министру одному подарил...

– Меня не интересует, что вы кому дарили, – повысил голос директор. – Он встал и, перегнувшись через стол, сунул книгу в раскрытый портфель Ефима. – Заберите это и не мешайте работать.

Униженный, оскорбленный, оплеванный Ефим вышел из кабинета.

– Ну, как дела? – спросила его Серафима Борисовна.

– Очень хорошо, – жалко улыбаясь, ответил Ефим и вышел на улицу.

Похолодало. Сыпал редкий сухой снег. Ефим шел походкой старого больного человека, перегибаясь под тяжестью портфеля, набитого его собственными никому не нужными книгами о хороших людях.

– Фима! Фима! – услышал он сзади взволнованный голос и обернулся.

В расстегнутой шубе с шапкой в руках за ним тяжело бежал Мыльников. По лицу его было видно, что он несет важное известие. У Ефима мелькнула глупая, совершенно дикая и нереалистичная мысль, что, может быть, это директор комбината просил догнать, остановить, вернуть...

Что и говорить, предположение было абсурдно. Директор промкомбината, будь он трижды из органов, не мог послать всемирно известного Мыльникова гоняться за малоизвестным писателем Рахлиным, но Ефим остановился и застыл в предвкушении чуда.

– Слушай, – переводя дыхание, махал своей барсучьей шапкой Мыльников, – совсем забыл. Еще в этой... ну как ее... в «Йоркшир пост» была обо мне статья почти что на всю страницу. С портретом... Там было написано, что я – современный Кафка.

Вечером у Ефима были гости: два полярника с женами, а потом и Тишка привел свою новую подругу, которая представилась Дашей. Дашин отец работал где-то за границей в представительстве Аэрофлота, что по Дашиным нарядам было очень заметно.

Общение поначалу не клеилось. Полярники вели себя скромно, их смущало писательское звание хозяина. Девушка была здесь первый раз и тоже держалась скованно, время от времени бросая быстрый и цепкий взгляд то на Ефима, то на Кукушу (возможно, примеривалась). Впрочем, молодые сидели недолго. После ужина протомились еще с полчаса и церемонно откланялись. Тишка вызвал отца в коридор, стрельнул пятерку на такси и

ушел провожать Дашу, она жила в районе Речного вокзала.

После их ухода полярники, к тому времени уже слегка подвыпив, постепенно расковались и, хохоча и перебивая друг друга, стали рассказывать смешные случаи из их практики. Все истории были похожи одна на другую: один полярник провалился под лед и вместо «спасите» кричал почему-то «полундра», другой ночью украл на кухне банку консервированных кабачков, а потом мучился от поноса. Но самая любимая их байка была о начальнике экспедиции, который вышел утром «до ветру» и, сидя за сугробом, почувствовал, что кто-то лизнул его сзади. Случай этот, если действительно был, превратился в легенду, согласно которой начальник, думая, что это завхоз, спросил: «Это ты, Прохоров?» Оглянувшись, увидел белого медведя и кинулся бежать, потеряв по дороге штаны. Общение мужественных людей обычно к рассказыванию подобных побасенок и сводилось. Ефим знал все эти истории наизусть, и сам, желая быть среди мужественных приятелей своим человеком, смеялся обычно громче всех, но сейчас ничто его не смешило, обида, нанесенная в литфонде, не выходила из головы, и он только из вежливости подхихикивал, как ему самому казалось, фальшиво.

Но потом, после нескольких рюмок армянского коньяка, общее настроение передалось и ему, он сел за пианино и аккомпанировал Кукуше, которая спела для гостей несколько матерных частушек. Гости сначала смутились, но потом оказалось, что одна из пар умеет на два голоса исполнять вологодские припевки такой похабности, до какой Кукушиным частушкам было далековато. Короче говоря, вечер прошел хорошо. Гости ушли в первом часу и еще что-то долго кричали с улицы, а Ефим, стоя на заснеженном балконе, тоже кричал и махал руками. Потом он отправил Кукушу спать (ей утром опять на работу), а сам перетаскал на кухню и там долго мыл посуду, ожидая возвращения

Тишки и обдумывая дальнейшие сюжетные ходы «Операции». Ни о шапке, ни об Андрее Андреевиче он ни разу не вспомнил.

Тишка пришел после двух и, отказавшись от чаю, ушел к себе. Без четверти три Ефим залез под одеяло к Кукуше, сладко спавшей лицом к стене. Ефим привалился к ее спине, и у него возникло желание. Несмотря на возраст и гипертонию, Ефим был еще сильный мужчина и терзал Кукушу чаще, чем ей хотелось. Он не решился будить жену слишком грубо, и начал ее оглаживать, постепенно продвигаясь от верхних эрогенных зон к нижним, следуя схеме, изученной им по распространяемой в самиздате ксерокопии американского руководства для супружеских пар. (Эту ксерокопию Ефим нашел однажды в нижнем ящике Тишкиного стола, проштудировал со словарем и в закодированном виде переписал себе в блокнот основные принципы.)

Дойдя до источника своего вожделения и употребив строго по инструкции палец, он достиг того, что Кукуша, еще не проснувшись, задышала прерывисто, а когда она со вздохом перевернулась на спину, он тут же овладел положением и принялся за работу, равномерно потряхивая лысой своей головой.

Прожив с Кукушей около трех десятков лет, он все еще любил ее физически. Прежняя страсть прошла, но не бесследно, а заменилась неизменно возникающим и медленно растущим чувством тягучего наслаждения, когда наступает общее обалдение и ощущение, что ты куда-то плывешь. Сейчас Ефиму тоже казалось, что он плывет, что он капитан Коломийцев; широко расставив ноги, он стоит на мостике, старый морской волк с седыми висками и пристальным взглядом серых прищуренных глаз. А вокруг бурное море, и пенные буруны, низко летящие рваные облака сбились в кучу, превратились в белых лебедей, замедлили движение, плавно заскользили над головой, и он к ним поднялся и заскользил вместе с ними.

– Так что тебе сказали насчет шапки? – вдруг спросила Кукуша, спросила громко, резко, не к месту, враз разрушив обретенное им ощущение, словно подстрелила его на лету.

– Что? – спросил он и хотя не прекратил своего дела, но сбился с ритма, затрепыхался, как птица с перебитым крылом.

– Я тебя спрашиваю, – строго повторила Кукуша, – что тебе сказали в комбинате?

Конечно, так разговаривали они не впервые. Именно в такой позиции Кукуше чаще всего приходило на ум обсудить разные бытовые проблемы, вроде перестановки мебели, покупки нового холодильника и приобретения абонеента в плавательный бассейн. И всегда это Ефиму не очень-то нравилось, но сейчас резануло особенно, а в затылке появилась неприятная ломота.

– Мне сказали, что о Мыльникове писала лондонская «Таймс», а я ничего, кроме кота пушистого, не заслужил.

– Пушистого кого?

– Кота. Так у них называется домашняя кошка. Они даже Баранову дали кролика, а мне кошку.

Он пытался продолжить начатое, но что-то не ладилось.

– А ты что сделал?

– Я расстроился и ушел, – сказал Ефим.

– И это все?

– И это все.

– Молодец! – Кукуша неожиданно выскользнула из-под него и повернулась к стене.

Она не первый раз таким образом проявляла недовольство, и всегда в подобных случаях он воспринимал это как унижение и оскорбление его мужского достоинства, но при этом не скандалил, а канючил, чтобы она выражала свои настроения как-то иначе и позволила ему доехать до завершения.

На этот раз он канючить не стал, сам отвернулся, но заснуть уже не мог, переживая обиду. Несколько раз он вставал, уходил на кухню, курил, прикладывал к затылку холодную грелку, возвращался, опять ложился спиной к Кукуше.

Утром он накормил Тишку завтраком, сам выпил кофе и ушел к себе в кабинет. Он слышал, как Кукуша встала, ходила по квартире, как, привлекая его внимание, громко хлопала дверьми и что-то роняла. Все же не выдержала и заглянула к нему уже в шубе.

– В конце концов, дело не в шапке, а в том, что ты вахлак и никогда не можешь за себя постоять. До чего же ты низко пал в глазах своего начальства, если даже кролика тебе не дают.

Ефим молча смотрел в окно, за которым видны были только грязное небо, заиндевевшие верхушки деревьев и крыша кооперативного дома киношников; там человек, привязанный веревкой к трубе, возился с телевизионной антенной.

– Я бы на твоем месте позвонила Каретникову.

С этим наставлением Кукуша ушла, оставив Ефима в смешанных чувствах. Он сначала решил ее совет игнорировать. Но потом мысли его стали развиваться в нужном направлении. Он стал думать, что, может быть, в самом деле живет неправильно, занимает примиренческую позицию, проявляет излишнюю уступчивость и пассивность. И, конечно, дело не в шапке, а в том, что он, Рахлин, тихий, робкий, вежливый человек. Рахлина можно ставить всегда на самое последнее, на самое нижнее место, Рахлин стерпит, Рахлин смолчит. «Вот вам Рахлин смолчит! – вдруг вскрикнул он и перед чучелом пингвина изобразил весьма неприличный жест. – Нет, – продолжал он самому себе бормотать, – я этого так не оставлю, я позвоню, я пойду к Каретникову, ему ничего не стоит, ему стоит только снять трубку, и вы лично, Андрей Андреевич, несмотря на то, что вы работали в органах... А интересно, кстати, за что вас оттуда по-

перли?... Вы лично, и не кота пушистого и не кролика, а вот ондатру принесете мне лично в зубах. Да, в зубах!» — злорадно прокричал он прямо в морду пингвиного чучела.

Пожалуй, возможности своего покровителя Ефим не переоценивал. Василий Степанович Каретников был выдающийся советский писатель, государственный и общественный деятель, Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии, лауреат государственной премии, лауреат премии имени Горького, член международного комитета борьбы за мир, вице-президент Общества Афро-Азиатской дружбы, член Совета ветеранов, секретарь Союза писателей СССР и главный редактор толстого журнала, в котором Ефим иногда печатался. Время от времени, откликаясь на просьбы Ефима, Каретников и в самом деле кому-то звонил или писал письма на своем депутатском бланке, и надо сказать, что отказа на его звонки или письма, как правило, не бывало.

Однако дома Каретникова не оказалось, жена его Лариса Евгеньевна сказала, что тот отправился в поездку по странам Африки, а потом прямо из Африки поедет в Париж на заседание какой-то комиссии ЮНЕСКО. Так что вернется недели через три. Ждать так долго не было смысла, потому что за это время все заказы уже будут приняты и даже всех кроликов уже раскроют.

Но, настроив себя определенным образом, Ефим уже не мог думать ни о чем, кроме как о шапке. И решил сходить к Лукину.

Московское отделение Союза писателей вместе с Центральным домом литераторов занимали два соединенных вместе здания и имели два входа — один с улицы Воровского, а другой, главный, с улицы Герцена — с

большими двойными дверьми из резного дуба и с толстыми стеклами. Здесь располагались и кабинеты писательских начальников, и залы для публичных выступлений, концертов и киносеансов, ресторан, бильярдная, парикмахерская и еще всякие мелкие заведения для разнообразного обслуживания писателей. Ефим прошел через главный вход и в просторном вестибюле был встречен двумя вечными служительницами Розалией Моисеевной и Екатериной Ивановной.

Здесь он часто бывал, вестибюльным дамам время от времени, а к Женскому дню всегда, дарил духи, шоколад и свои романы, поэтому обе приветствовали его очень радушно.

– Здравствуйте, Ефим Семенович!

– Здравствуйте, Ефим Семенович! Давненько вы у нас не были.

– Да, давненько, давненько, – снимая с Ефима дубленку, отозвался гардеробщик Владимир Ильич.

Принимая от гардеробщика номерок, Ефим увидел сидевших в дальнем углу за шахматным столиком двух дружков – своего нижнего соседа Василия Трёшкина и одного из секретарей Союза писателей Виктора Черпакова. Они в шахматы не играли, они о чем-то между собой толковали, тихо и напряженно. Они тоже заметили Ефима и, в ответ на его кивок, сами кивнули недружелюбно.

Ефим положил номерок в боковой карман пиджака, подхватил портфель и направился к лестнице, ведущей на второй этаж.

– Вот, – сказал Трёшкин, проводив Ефима долгим тяжелым взглядом. – У меня кот пропал, а ему шапку дают из кота. Как же это понять?

– Если мы будем ушами хлопать, они и из нас шапок наделают, – сказал Черпаков.

Это было продолжение темы, которую они начали еще в ресторане, а теперь продолжили здесь в уголке.

Черпаков не только не рассеял опасений Трёшкина насчет евреизации, но утверждал, что тот не преувеличивает, а преуменьшает степень повсеместного засилия евреев. По его словам, евреи уже распространились везде, захватили в свои руки командные посты не только в Америке и других западных странах, но фактически заправляют в Генеральном штабе, в КГБ и даже в Политбюро.

– Ну, насчет Политбюро ты уж слишком, – усомнился Трёшкин. – Там сионистов нет.

– Сионистов нет, а масоны есть. А масоны управляются сионистами.

– Какое же от них спасение? – в ужасе спросил Трёшкин.

– Никакого, – ответил Черпаков. – Только что разве травить их по одному.

– По одному всех разве перетравишь! – вздохнул Трёшкин.

– Всех не перетравишь, но хотя б некоторых.

– Фимка, скажи честно, неужели ты своей Кукуше ни разу не изменял?

Они сидели в узком коридоре перед обитой темно-зеленым дерматином дверью Лукина. Ефим пришел по своему делу, а поэтесса Наталья Кныш надеялась получить характеристику для поездки в Португалию. Кныш была дамочка пухлая, сексапильная, говорила прокурренным голосом:

– Ты знаешь, что сказал Чехов о Короленко? Он сказал, что Короленко слишком хороший человек, чтобы быть хорошим писателем. Он сказал, что Короленко писал бы намного лучше, если б хоть раз изменил жене.

Ефим вежливо улыбался, но кокетничать был не настроен. Он думал, с какой стороны лучше подойти к Лукину, на что написать, как добиться положительного разрешения дела.

Петр Николаевич Лукин был (и это значилось на вывеске – серебряные буквы на черном фоне) секретарем Московского отделения Союза писателей по организационным вопросам и относился к той породе людей, которая у нас уже вывелась. Где-то она еще существует и у нас тоже когда-нибудь возродится (я в этом, к сожалению, не сомневаюсь), но пока что, слава Богу, практически вымерла.

В Союз писателей Петр Николаевич, как Андрей Андреевич Шупов, как многие другие, был передвинут из органов, где прошел путь от рядового надзирателя до генерала. Органы были его семьей, его домом, его школой, религией и идеологией. Всю свою жизнь и все здоровье он отдал органам. Он служил в органах, сажал от их имени, сам был ими посажен и ими же реабилитирован. После чего опять служил им верой и правдой, за что получил орден «Дружбы народов», нагрудный знак «Почетный чекист» и звание Заслуженный Работник Культуры, которое остряки, конечно, сократили и превратили в неприличную аббревиатуру ЗАСРАК.

И хотя сейчас он служил как будто по другому ведомству, он знал, что вся его жизнь, каждая клетка его тела, каждая частичка его души принадлежат только органам и еще, пожалуй, партии, впрочем, эти два понятия для него всегда сливались в одно.

Память у него была своеобразной, вернее, в голове его умещались две памяти: одна, полицейская, для текущих дел, а другая, генеральная, для охвата больших периодов и осмысления общего течения жизни. В молодости Петр Николаевич был романтиком, отчасти им и остался, его генеральная память была романтической. В ней сохранилась только смутная общая картина беспрерывного и жертвенного служения, а такие детали, как, например, то, что он сам лично, ради торжества высоких идеалов, выбивал кому-то зубы и даже что ему самому выбивали зубы с той же целью, ушли на задворки сознания и растворились в помутневших красках

общего фона. Дело было не в том, кто кому чего выбивал, а в том, что при всех поворотах судьбы он никогда, ни разу, ни на минуту не усомнился в партии и органах, не усомнился в правоте «нашего общего дела». Теперь, по ночам страдая от мучавшей его бессонницы, он вспоминал свою жизнь, все страдания и унижения, падения и возвышения и со слезами умиления думал о том, что он никогда, никогда...

Партия оценила его преданность, органы тоже о нем пеклись, они устроили его на работу к писателям, и он, трудясь здесь в сложной, несходной с прежним опытом обстановке, рассматривал свою миссию как засылку во вражеский тыл.

Роста он был высокого, худощавый, подслеповатый, с лошадиным лицом и улыбкой, делавшей его похожим на французского актера Фернанделя. Улыбка не сходила с лица, потому что органы, вставляя ему казенные зубы, сделали их чуть длиннее, чем они должны были быть. Волосы у него были светлые с рыжиной, поредевшие, но до лысины не дошло, тронутые (но лишь слегка) сединой.

Отстраненный от оперативной работы, он нашел свое призвание здесь. Оно состояло в составлении казенных бумаг и оформлении их наиболее желательным образом. По существу, в этих бумагах он никогда не писал неправду, но правду искажал до неузнаваемости. Он мог легко истолковать любое высказывание, или действие, или движение души как попытку подорвать основы нашего строя, и изобразить это так, что уже можно зачитывать приговор. А в другом случае мог те же самые факты использовать для представления к ордену или записи в жилищный кооператив. Писатели его ценили за то, что он, умея составлять бумаги, сам не лез в писатели, а мог бы, потому что в своем жанре равных себе не знал и вообще был почти что гений.

Сидя перед глухой дверью, Ефим и подумать не мог, что там, за дверью, уже идет некая работа, связанная с его появлением. Из железного сейфа вынута толстая папка на букву «Р». А из нее извлечена тоненькая папочка с шифром 14/6. А в этой папочке всего несколько листков и что ни листок, то – золото. Конечно, Петр Николаевич мог затребовать досье любого писателя в отделе творческих кадров, но ему это было не нужно. У него были свои записи, короткие, деловитые, основанные на доступных данных, донесениях собственных осведомителей и на личных наблюдениях тоже.

Всегда, прежде чем принять человека, Петр Николаевич заглядывал в свои записи и сейчас сделал то же. И вот что прочел:

Рахлин Ефим Семенович (Шмулевич) 23. 7. 27, ж. Кукушкина Зин. Иван. (д. пр. Кукуша), с. Тимофей – аспрнт., д. Наталья – Изр. др. № 2/14, е. у. в. 5 мед. 11 кн. 2 с. 1 п. мел. пуб. ЛТЦНП. пум. женеув. порнaneул. скрмн. скртн. бзврд. Инт. шхмт. полпас. СВР (бдв). мстенук. бнвпрст.

Если расшифровать указанные сокращения, то они означали:

ж. – жена,
д. пр. – домашнее прозвище,
с. – сын,
аспрнт. – аспирант,
д. – дочь,
Изр. – Израиль,
др. – друг,
№ 2/14 – под этим номером числился у него в карто-
теке Баранов,
е. – еврей,
у. в. – участник войны,
5 мед. 11 кн. 2 с. 1 п. – 5 медалей, 11 книг, 2 сценария,
1 пьеса,
мел. пуб. – мелкие публикации,

ЛТЦНП – литературное творчество ценности не представляет,

пум. – пьет умеренно,

женеув. – женщинами не увлекается,

порнаниеул. – в порочных склонностях не уличен,

скрмн. – скромн,

скртн. – скрытен,

бзврд. – безвреден.

Инт. шхмт. пол. (пас.) – Интересуется шахматами, политикой (пассивно),

СВР (бдв). – слушает враждебное радио (без дальнейших выводов),

мстенук. – может сотрудничать с тенденцией к уклонению,

бнвпрст. – благонадежен в пределах страны (то есть за пределы выпускать не следует).

Если же оценить эти данные в соответствии со специфической шкалой человеческих достоинств, принятой у Лукина, то получится примерно вот что:

ж. – фактор положительный, в кризисной ситуации можно действовать через ж.

д. пр. – говорит о склонности к добропорядочности и семейной жизни.

с. и д. – хорошо, предохраняет от необдуманных поступков.

аспрнт. – то же.

Изр. – почва для потенциальной неблагонадежности.

др. – возможный (в данном случае ненадежный) осведомитель.

е. – смотри Изр.

у. в. – неплохо.

11 кн. 2 с. 1 п. мел. пуб. – говорят о благополучии и отсутствии причин для неожиданных действий.

ЛТЦНП – в сочетании с предыдущим пунктом факт положительный, не дает повода для излишних амбиций.

пум., женеув., порнаниеул. – сочетание негативное, в случае чего не за что ухватиться.

скрмн. – хорошо, скртн. – тоже неплохо, если при этом бзврд.

Инт. шхмт. пол. (пас.) – пускай.

СВР (бдв.) – Хорошо. При необходимости можно использовать вместо порочных наклонностей.

мстенук. – Без крайней нужды вербовать не стоит.

бнвпрст. – говорит само за себя.

Для того, чтобы встретить посетителя должным образом, Лукину необходимо было знать, для чего тот пришел, и он почти всегда это знал. Сейчас тоже знал. У него было сообщение директора производственного комбината, и сосед Рахлина сказочник Фишкин тоже сообщил Лукину кое-что.

К достоинствам Петра Николаевича надо прибавить то, что он был большим знатоком человеческих слабостей и талантливым лицедеем. Прежде чем пригласить Ефима, он снял с вешалки свое дорогое пальто с пыжиковым воротником и пыжиковую шапку и унес в примыкавшую к его кабинету кладовку. А оттуда вынес и повесил на вешалку плащ с ватинной подкладкой и синий берет с хвостиком.

После этого он выглянул в коридор и, увидев Ефима, изобразил неподдельное удивление и даже радость.

– А, Ефим Семенович! – закричал он как бы возбужденно. – Вы ко мне? Да что же вы тут сидите? Вы бы сразу постучались. Ну, заходите, заходите. Стоп, стоп, только не через порог.

Затащив Ефима в кабинет, он его сердечно обнял и даже похлопал по спине и огорошил вопросами, из которых можно было понять, что он ни о чем, кроме как о Ефиме, не думает:

– Ну как здоровье? Как дела? Как Кукуша? Надеюсь, у Тишки в аспирантуре все в порядке? У меня, между прочим, внук тоже аспирант. В институте кинематографии. Замечательный парень. Спортсмен, альпинист, комсомольский вожак. Вот говорят, нет в наше время молодежи, преданной идеалам. А я смотрю на

Петьку – его, кстати, так в честь меня называли, – и вижу, хорошая у нас молодежь, стоящая. Ну, бывают, конечно, и отклонения. – Генерал снял и протер платочком очки. – А как, к слову сказать, Наташка? Я понимаю, вопрос деликатный, но я не официально, не с агентурной – ха-ха – точки зрения, а как тоже отец и даже как дед... Надеюсь, она как-то устроилась, не бедствует там, с семьей все в порядке?

Он, конечно, знал, что Ефим каждый вторник приходит на главный почтамт и, натянув шапку на глаза и отворачиваясь (непонятно на что при этом рассчитывая), протягивает в окошечко свой паспорт с фотографией, на которой его лицо с выпученными еврейскими глазами ничем не прикрыто. Но Ефим, не зная, что Петр Николаевич знает, неуверенно сообщил, что ему, собственно говоря, о дочери мало чего известно, он связи с ней не поддерживает.

– Ну и напрасно, – сказал Петр Николаевич. – Сейчас не прежние времена, когда, понимаешь, наличие родственников за границей могло привести к неприятностям. У меня, кстати, когда случилась вся история, оказалась тетка в Аргентине... Да я о существовании ее даже не помнил. А мне записали: скрыл. Но теперь к подобным вещам отношение принципиально переменялось. Теперь каждый понимает, что наши дети, как бы они себя ни вели, есть наши дети, мы все равно о них беспокоимся, устраиваем их в институты, в аспирантуры, достаем им ботинки, джинсы, перчатки, шапки... Да, извини, – перешел он незаметно на «ты», – ты ведь не просто так ко мне пришел. Наверное, какое-то дело.

Ефим замялся, заволновался. Ему показалось вдруг странным, что Петр Николаевич сам упомянул слово «шапки». Появись, он все же сказал, что именно о шапке и пойдет речь.

– О шапке? – удивленно поднял свои выцветшие брови Петр Николаевич.

– О шапке, – смущаясь подтвердил Рахлин и тут же стал сбивчиво и путанно объяснять, что он ходил в производственный комбинат, а человек, который там сидит... конечно, Ефим очень его уважает, возможно, он был ценный сотрудник органов, но все-таки работа с людьми творческого труда, как известно, требует некоторой особой деликатности и чуткого отношения, а он...

– Он отказал? – сурово нахмурился Петр Николаевич и схватился за телефонную трубку.

– Подождите, – остановил его Ефим и, еще больше волнуясь, стал объяснять, что тот не то чтобы совсем отказал, но проявил бездушие и непонимание и ему, автору одиннадцати книг, предложил кошку, когда даже Баранов, написавший за всю жизнь одну книгу, и тот получил кролика.

Пока он это говорил, Петр Николаевич стал поглядывать на часы и нажал тайную кнопку, в результате чего явилась секретарша и напомнила, что ему пора ехать на заседание в Моссовет.

Разговор принимал дурацкое направление. Петр Николаевич сказал, что сам он ни в каких шапках не разбирается, и устремил долгий взгляд куда-то мимо Ефима в сторону двери. Невольно скосив глаза в том же направлении, Ефим увидел висевший на вешалке плащ и синий потертый берет с коротким хвостиком посередине. Ему стало немного неловко, что он хлопчет о шапке в то время, когда такой хороший человек и генерал ходит в берете. А тот, не давая опомниться, тут же рассказал эпизод из своего боевого прошлого. Как, выбившись однажды из окружения, Лукин со своим отрядом блуждал по заснеженным Сальским степям, и все они были в рваном летнем обмундировании, в сбитой обуви и в хлопчатобумажных пилютках. И хотя Ефиму и самому в жизни приходилось попадать в разные переpleты, он, конечно, не мог не вспомнить, что в настоящее время он по заснеженным степям не блуждает и ночует не под промерзшим стогом, а в теплой кооперативной кварти-

ре, и, хотя он сюда явился без шапки, она у него все-таки есть.

И он уже готов был сдать, но в это время в кабинет с лисьей шапкой в руке заглянул поэт-песенник Самарин, исполняющий обязанности партийного секретаря.

Холодно кивнув Рахлину, он спросил Лукина, пойдет ли тот обедать.

– Нет, – сказал генерал, взглянув на часы. – Меня ждут в Моссовете.

– Ну пока, – сказал Самарин и, выходя, взмахнул шапкой, отчего бумаги на столе Петра Николаевича шевельнулись.

И вид этой шапки поднял боевой дух Ефима, потому что Самарин, хотя и парторг, но поэт никудышный и если уж судить по талантам или значению в литературе, то на лисью шапку никак не тянет.

Осмелев, Ефим напомнил Лукину, что на войне он тоже побывал, а кроме того ему приходилось участвовать в различных героических экспедициях, а сейчас время мирное, люди должны свои возросшие запросы полностью и по справедливости удовлетворять. А какая может быть справедливость, если тому, кто отирается около начальства, дают превосходную шапку, а тому, кто ведет себя скромно и самоотверженно, трудится над созданием книг о людях героических профессий, не дают ничего, кроме кошки?

– А где же, – сказал Ефим, – где же наше хваленое равенство? У нас же все газеты пишут о равенстве.

– Ну, знаете! – Лукин возмущенно вскочил и всплеснул руками. – Ну, Ефим, ну это вы уж слишком. Из-за какой-то, понимаете, шапки, из-за какой-то паршивой кошки вон на какие обобщения замахнулись! Причем тут равенство, причем тут высшие идеалы? Неужели мы должны бросаться нашими идеалами ради какой-то шапки? Я не знаю, Ефим... Вы моложе меня, вы другое поколение. Но люди моего поколения... И я лично...

Вы знаете, на мою долю многое выпало. Но я никогда, никогда не усомнился в главном. Понимаете, никогда, ни на минуту не усомнился.

Лукин весь побледнел, задрожал, трясущимися руками полез в боковой карман, вынул бумажник, достал из него маленькую пожелтевшую фотографию.

– Вот! – сказал он и бросил на стол перед Ефимом свой последний козырь.

– Что это? – Ефим взял карточку и увидел на ней изображение девочки лет шести-восьми с большим белым бантом на голове.

– Это моя дочь! – взволнованно прошептал генерал. – Она была такая, когда меня взяли. Причем, между прочим, – он пожал плечами и улыбнулся смущенно, – я ушел совершенно без шапки. А когда я вернулся, она... я имею в виду, конечно, не шапку, а дочку... она была уже большая. И даже замужем...

Он смахнул со щеки слезу, махнул рукой и со словами «Извините, мне пора» бережно положил карточку в бумажник, бумажник в карман и стал одеваться. Натянул на себя плащ, напялил на голову берет с хвостиком.

Ефим снова смутился. Сам себе он казался мерзким рвачом и сутягой. У него было такое чувство, что это из-за его меркантильных устремлений Петра Николаевича в свое время оторвали от маленькой дочки и увели без шапки в промозглую тьму.

Сгорбившись и пробормотав какие-то неопределенные извинения, Ефим прошаркал к выходу.

Только внизу он сообразил, что провел здесь довольно много времени, – в Центральном доме литераторов начиналась вечерняя жизнь. Открылись бильярдная и ресторан, в большом зале наверху телевизионная бригада расставляла аппаратуру для репортажа о встрече писателей с космонавтами, в нижнем малом зале собирались члены «клуба рассказчиков», в знаменитой «восьмой» комнате разбиралось персональное дело прозаика Никитина, напечатавшего в заграничном

издательстве повесть «Из жизни червей», в виде червей клеветнически изображавшую советский народ. Сам Никитин утверждал, что под червями он имел в виду именно червей, и действительно имел в виду червей, но ему никто, конечно, не верил.

Непрерывно хлопали стеклянные двери, Розалия Моисеевна и Екатерина Ивановна расплывались в лстивых улыбках перед входящими начальниками, вежливо приветствовали знакомых, а у незнакомых требовали предъявления членских или пригласительных билетов.

Возле гардероба, натягивая дубленку, Ефим встретил вошедшего с мороза Баранова, тот был в темном пальто и в коричневой кроличьей шапке.

– Старик, – обрадовался другу Баранов, – смотри, я шапочку уже получил. А кроме того, сотнягу отхватил за внутренние рецензии, пошли в ресторан, угощаю.

– Нет настроения, – сказал Ефим, поднимая с полу портфель. – И повода тоже. Гонорара сегодня я не получал, а шапку мне дают из кота средней пушистости.

– Из чего? – не понял Баранов.

– Из обыкновенной домашней кошки, – объяснил Ефим. – Ты написал одну книгу, тебе дают кролика, а я написал одиннадцать, и мне – кошку.

Этот разговор слушал одевавшийся перед зеркалом Василий Трёшкин, но ничего нового не узнал.

– Фимка, – сказал Баранов, – а что ты дуешься на меня? Я распределением шапок не занимаюсь. По мне пусть тебе дадут хоть из соболя, мне не жалко.

Ефим не ответил. Открыв рот, он смотрел на пробежавшего к выходу Лукина, на его пыжиковый воротник, на богатую шапку.

Ефим сперва растерялся, потом выскочил за Лукиным, желая его остановить, но не успел, персональная «волга» с сидящим в ней генералом, плюнув вонючим дымом, отчалила от тротуара. Ефим проводил ее отчаянным взглядом, переложил портфель из левой руки в

правую и поплелся в сторону площади Восстания. Он шаркал по-стариковски подошвами своих гэдээровских сапог, оскорбленно всхлипывал и бормотал себе под нос: «Врешь! Все врешь! Сальские степи, дочь – все вранье! Ушел – ей было восемь, пришел через шесть лет – она замужем. Дурь! – прокричал он в пространство. – Сплошная дурь!»

Занятый своими переживаниями, Ефим не видел, что следом за ним идет, не упуская его из виду, поэт Василий Трёшкин, решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов.

На Садовом кольце все светофоры были переключены на мигающий режим, движением руководили два милиционера в темных полушубках и шапках с опущенными ушами. Оба почему-то нервничали, держали на тротуаре скопившихся пешеходов, свистели в свистки и размахивали палками. Не понимая, в чем дело, Ефим пробился вперед, но дальше не пускали, и он остановился прямо под светофором. Светофор равномерно мигал, и лысина Ефима равномерно озарялась желтым ядовитым сиянием.

Толпа у светофора сбилась совсем небольшая, но и в ней Трёшкин упустил Ефима. Ему даже показалось (и он бы не удивился), что сионист просто растворился в воздухе. Трёшкин занервничал, врубился в толпу, тут же увидел Ефима и обомлел. Он увидел, что сионист Рахлин, стоя у края тротуара, бормочет какие-то заклинания, а его лысина озаряется изнутри и испускает в мировое пространство желтые пульсирующие световые сигналы.

– ...аждане житель ехода! – закричали вдруг потусторонние голоса. – Граждане, воздержитесь от перехода! – прозвучали они яснее.

Милиционер, стоявший недалеко от Ефима, отскочил в сторону, вытянулся неуклюже, поднес руку к виску. Налетели и понеслись мимо черные силуэты, вою-

щие сирены, фыркающие моторы, шуршащие шины и летящий тревожный свет милицейских мигалок.

Ничего вокруг себя не видел Василий Трёшкин. Он смотрел только на голову сиониста Рахлина и видел, как она светилась сначала желтым светом, потом вспыхнула синим и красным и одновременно раздались страшные голоса.

Тут бы, конечно, самое время сиониста зацапать и передать в руки закона, но кому передашь, если проезжавшие правительственные лимузины передавали те же сигналы? Трёшкин вдруг испугался, схватился за голову и закрыл глаза. А когда открыл их, обнаружил, что сидит на обледеневшем тротуаре, прислонившись спиной к шершавой стене, вокруг негусто толпится народ, а склонившийся милиционер вежливо вопрошает:

— Папаша, а папаша! Вы, папаша, извиняюсь, пьяный или больной?

Стоя под светофором, Ефим слышал, что кому-то в толпе стало нехорошо, достигли его уха голоса, обсуждавшие, вызвать ли скорую помощь или перевозку из вытрезвителя. В другое время Ефим посмотрел бы, что там случилось, очень он был любопытен до уличных происшествий. Но на этот раз не посмотрел, погруженный в собственные страдания, и побрел дальше, как только освободилась дорога. У метро «Краснопресненская» людской поток подхватил Ефима, втянул в подземелье и, сильно помятого, вынес наружу на станции «Аэропорт».

Тем временем Трёшкин двигался к тому же конечному пункту совершенно иным путем. Оставленный милиционерами, он не пошел в сторону Пресни, а направился к Маяковской.

Вечер был холодный, небо чистое, но от городских огней оно казалось блеклым и желтым. Все же какие-то звезды пробивались сквозь желтизну, перемещались в

пространстве, перемигивались, намекали на что-то непонятное Трёшкину. Катили машины, торопились прохожие, а сколько среди них евреев и сколько жидомасонов, никому неизвестно. Так он шел, сосредоточенно думая, и вдруг на углу Большой Бронной и Садово-Кудринской его осенила гениальная мысль. «А что, – подумал Трёшкин, – если они все равно уже все захватили, то, может, лучше сразу, пока не поздно, самому к ним податься?»

Дома Ефим поставил в угол портфель, сменил сапоги на тапочки и прошел в гостиную. Кукуша и Тишка ужинали перед телевизором и смотрели фигурное катание.

Ефим сел на диван и тоже стал смотреть, но ничего не видел, не слышал.

– Лысик, – спросила Кукуша, – ты ужинать будешь?

Он ничего не ответил.

– Лысик! – повысила голос Кукуша.

Он не слышал.

– Лысик! – закричала она уже нервно. – Я тебя спрашиваю: тебе пельмени с маслом или со сметаной?

– Одиннадцать, – ответил Ефим.

– Что одиннадцать? – не поняла Кукуша.

– Я восемнадцать лет в Союзе писателей и написал одиннадцать книг, – сообщил Ефим. И, подумав, добавил: – А Баранов написал только одну.

Мать с сыном переглянулись.

– Лысик, – встревожилась Кукуша. – Ты часом не трёкнулся?

– Нет, – сказал Ефим, – я этого дела так не оставляю. Сдохну, а шапку свою получу.

Он вдруг вскочил, выскочил в коридор, вернулся со своей волчьей шапкой.

– Тишка, тебе, кажется, нравится моя шапка?

– Нравится, – Тишка проглотил последнюю пельмень и стал вытирать губы бумажной салфеткой.

– Ну так вот, – щедро сказал Ефим. – Я тебе ее дарю. – Он натянул шапку Тишке на голову. – Смотри, тебе идет.

– А ты будешь носить мою? – спросил Тишка. Он снял шапку, посмотрел на нее и положил на стул рядом с собой.

– Твою? – переспросил Ефим. – Свою ты можешь выбросить, она уже выносилась.

– А ты в чем будешь?

– А я себе получу, – сказал Ефим. – Сдохну, а своего добьюсь.

– Лысик, поешь, – Кукуша поставила на стол тарелку пельменей. – Садись сюда, кушай. И забудь ты про эту шапку. Это я во всем виновата. Я тебя подбила. Но ты забудь это. Бог с ней, с этой шапкой. Я тебе сама куплю такую, каких у ваших говенных писателей вообще нет ни у кого. Я тебе куплю... ну хочешь, я тебе из серебристой лисицы куплю?

– Нет! – закричал Ефим. – Не вздумай! Я их заставлю! Вот Каретников приедет, я к нему пойду и...

Он махнул рукой и заплакал.

Ефим помешался. Я узнал это сначала по телефону от Баранова, потом от встреченного в Доме литераторов Фишкина. Пока я собирался позвонить Ефиму, ко мне утром, еще не было девяти, явилась Кукуша в блестящей от растаявших снежинок норковой шубе.

– Извини, что я без звонка, – сказала Кукуша. – Но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече.

– Ничего, – сказал я, – это неважно. Извини, что я в пижаме.

– Это как раз неважно. Кстати, очень хорошая пижама. Где достал?

– Сестра привезла из Франции.

– У тебя есть сестра во Франции? – удивилась Кукуша.

– Нет, сестра у меня в Ижевске. А во Францию ездила договариваться о чем-то с заводом Рено. Кофе будешь?

– Нет, нет, я на минутку. – И совсем другим тоном: – Мне нужна твоя помощь, ты должен спасти Ефима.

Я растерялся и спросил, в чем дело, от чего я должен его спасти.

– Трёкнулся, – сказала Кукуша. – Не ест, не пьет, не спит, не бреется, зубы не чистит. Он всегда Тишке готовил яичницу, теперь мальчик уходит в институт без завтрака.

– Ну, мальчику, кажется, уже двадцать четыре года, и яичницу он мог бы...

– Дело не в яичнице, – перебила Кукуша, – а дело в Фимке. Он совсем на этой шапке заклинился. Он уже обошел все начальство в литфонде, в Союзе писателей, и ему везде отказали. Теперь ходит, все время бормочет: «Я восемнадцать лет в Союзе писателей, у меня одиннадцать книг, имею боевые награды». Я ему говорю: «Лысик, да что с тобой случилось, да забудь ты про эту шапку, да задержись она в доску». А он мне отвечает, что сдохнет, а шапку получит, и все ждет своего Каретникова. Вот Каретников приедет, вот он вам покажет, вот он вас заставит, перед Каретниковым вы все еще попляшете. А этот хренов Каретников, то он в Монголии, то в Португалии, я даже не знаю, когда он бывает здесь. О Господи! – Она зашмыгала носом и полезла в карманчик за платком. – Это я, я во всем виновата. Я его толкнула бороться за эту вшивую шапку, а теперь не могу остановить. Я ему говорю, ну Лысик, ну дорогой, ну пожалуйста, я тебе десять таких шапок куплю. Он говорит: «Нет, я восемнадцать лет в союзе, написал одиннадцать книг, имею боевые награды».

– Может быть, показать его психиатру?

– Может быть, – согласилась Кукуша. – Но, может, лучше и правда, дождаться Каретникова. Если тот поможет... Но пока... Я к тебе для чего пришла... Сходи

к Фимке, развлеки его как-нибудь, поговори по-дружески, спроси, что он пишет, когда закончит. Такой интерес на него всегда действует хорошо.

Я посетил Ефима и нашел его точно таким, каким его описала Кукуша. Он меня встретил в мятом спортивном костюме с дырой на колене, худой, всклокоченный, лицо до самых глаз заросло полуседой щетиной.

– Здравствуй, Ефим! – сказал я.

– Здравствуй.

Загородив собою дверь, он смотрел на меня, не выражая ни радости, ни огорчения.

– Ну, может быть, ты меняпустишьвнутри, – сказал я.

Он вошел следом.

– Можно сесть? – спросил я.

– Садись, – пожал он плечами.

Я сел в кресло в углу под оленьими рогами, он остался передо мной.

– Я приехал к глазнику, – сказал я, – и вот решил заодно тебя навестить.

Он слушал вежливо, грыз черный ноготь на мизинце, но интереса к общению со мной не проявил. Я рассказал ему массу интересных вещей. Рассказал о хулиганстве детского писателя Филенкина, который в Доме творчества выплеснул свой суп в лицо директора. Ефим вежливо улыбнулся и, покончив с мизинцем, принялся за безымянный палец. Ни расовые волнения в Южной Африке, ни перестановки в кабинете Маргарет Тэтчер его тоже заинтересовали.

Я предложил ему перекинуться в шахматы, он согласился, но, уже расставляя фигуры, перепутал местами короля и ферзя, а партию продул в самом дебюте, хотя вообще играл гораздо сильнее меня.

Мы начали новую партию, и я спросил его, как развивается «Операция».

– Я восемнадцать лет член Союза писателей и написал одиннадцать книг, – сообщил Ефим и подставил ферзя.

Возможно, он доложил бы и о своих боевых наградах, но тут зазвонил телефон. Я переставил Ефимова ферзя на другую клетку, а своего, наоборот, подставил под удар.

– Что? – закричал вдруг Ефим. – Приехал? Когда? Хорошо, спасибо, будь здоров, вечером перезвонимся.

Он бросил трубку, повернулся ко мне и я увидел прежнего Ефима, хотя и небритого.

– Ты слышал, – сказал он мне весьма возбужденно. – Баранов звонил, говорит, приехал Каретников.

Не могу даже описать, что дальше было с Ефимом. Он вскакивал, бегал по комнате, размахивал руками, бормотал что-то вроде того, что кто-то у него теперь попляшет, потом вернулся к шахматам, объявил мне мат в четыре хода и, посмотрев на часы, намекнул, что мне пора к доктору.

Я ушел, радуясь, что Ефим так быстро вышел из своего состояния, хотя моей заслуги в том не было.

Дальнейшее мне приходится описывать отчасти со слов самого Ефима, отчасти полагаясь на противоречивые свидетельства других участников этой истории.

После моего ухода Ефим умылся, побрился, почистил и поставил на место зубные протезы. В перерывах между этими процедурами звонил и в конце концов дозвонился. Жена Каретникова Лариса Евгеньевна начала было говорить, что Василий Степанович нездоров и никого не принимает, но тут в трубку влез голос много больного.

– Фимка! – загудел он. – Не слушай ее, хватай такси и чтоб через пять минут был здесь. Да рукопись захвати.

Каретников жил в высотном доме на площади Восстания.

Дверь Ефиму открыла Лариса Евгеньевна с жирно намазанным кремом лицом, в халате и папильотках.

– Ну, заходи, раз пришел, – сказала она не очень приветливо. – Василий Степанович ждет. Во фраке.

Ефим прошел по длинному коридору мимо домработницы Нади, которая, стоя на шаткой стремянке, шваброй сметала обнаруженную под потолком паутину. Надя была в коротком перепоясанном ситцевом халатике.

– Здравствуйте, Наденька, – дружески поздоровался Ефим, но лицо опустил и отворотил в сторону.

Дверь в кабинет Василия Степановича распахнулась, и сам хозяин явился Ефиму в длинных футбольных трусах и в майке, прожженной на большом животе. Он втащил Ефима вовнутрь, закрыл и прижал плечом дверь.

– Принес? – спросил он громким шепотом.

– Принес, – сказал Ефим и вытащил из портфеля не рукопись, а чекушку.

– И это всё?

– Есть и второй том, – улыбнулся Ефим и, приоткрыв портфель, показал – вторая чекушка лежала на дне.

– Вот молодец! – одобрил Василий Степанович, срывая пробку зубами. Жонглерским движением pokrutyл бутылку, водка запенилась и завинченной струей потекла в раскрытую жадно пасть.

Отпив таким образом примерно треть, хозяин ухнул, крикнул и спрятал бутылку на книжной полке за «Капиталом» Маркса.

– Молодец! – повторил он, отдуваясь. – Вот что значит еврейская голова! Я почему против антисемитизма? Потому что еврей в умеренном количестве полезный элемент общества. Вот, скажем, в моем журнале я – русский, мой заместитель русский, это правильно. Но ответственного секретаря я всегда беру еврея. У меня прошлый секретарь был еврей и теперешний тоже. И

когда мне в ЦК пытались подсунуть вместо Рубинштейна Новикова, я им сказал: дудки. Если вы хотите, чтобы я продолжал делать настоящий партийный литературный журнал, вы мне моих евреев не трогайте. Я вот уже тридцать шесть лет редактор, все пережил, но даже во времена космополитизма у меня где надо всегда были евреи. И они всегда знали, что я их в обиду не дам. Но и от них я требую верности. Я Лейкина к себе вызвал, стакан водки ему поставил: «Ну, Нёмка, говорю, если ты на историческую родину поглядываешь, то от меня мотай по-хорошему не меньше, чем за полгода до подачи. Надуешь, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставляю».

Большой, грузный, Василий Степанович ходил по комнате, заложив руки за спину, выпятив живот, и говорил заплетающимся языком. Иногда в местах своей речи, казавшихся ему особенно удачными, хлопал себя по ляжкам и взвизгивал. Перескочив с одной темы на другую, спросил Ефима, не видел ли то его статью.

– Где? – быстро спросил Ефим.

– Ты что же, милый друг, «Правду» не читаешь? – спросил Василий Степанович не без ехидства. – Видишь, как я тебя подловил. Ну-ну-ну, не бойся, не продам. Вот, – схватил он со стола газету и сунул Ефиму. – «Всегда с партией, всегда с народом». Хорош заголовок?

– Мм-м, – замялся Ефим.

– Мму! – передразнил Каретников, замычав по-коровьи. – Не мучайся и не мычи, я и так вижу, что морду воротишь. Название не фонтан, но зато просто и без прикрас. Всегда с партией, всегда с народом. Всегда с тем и с другим. А не то что там... – Не закончив своей мысли, он застонал, подбежал к двери и, схватив самого себя за уши, трижды головой, как посторонним предметом, стукнув в притолоку. – Ненавижу! – прорычал он и заскрипел зубами. – Ненавижу, ненавижу и ненавижу! – Набычился злобно на Ефима. – Ты думаешь, кого ненавижу? Знаешь, но боишься подсказать. Власть нашу,

любимую, советскую... нне-на-ви-жу. – И опять стукнулся лбом об стену.

Размахивая руками, стал ходить вокруг Ефима и бормотать, словно бы про себя.

– Вот она, человеческая неблагодарность. Власть мне все дала, а я ее ненавижу. Без нее я бы кто был? Никто. А с ней я кто? Писатель! Писатель-депутат, писатель-лауреат, писатель-герой, выдающийся писатель Каретников! А из меня, – остановился он напротив Ефима, – такой же писатель, как из говна пуля. Писатель Васька Каретников. А Ваське быть бы по торговой части, как дедушка Тихон. Тихон Каретников, кожевенные и скобяные товары. Два собственных парохода на Волге имел. А папашку моего Степана Тихоновича за эти-то пароходы и шлепнули. А я в детдоме себе происхождение подправил на крестьянское, да в газете «Молотобоец» стал пописывать под псевдонимом Бывалый. Послал Горькому свой рассказ «На переломе», а тот сдуру его в альманах. Ах, суки, загубили вы Ваську Каретникова, сделали из него писателя. Ненавижу! – и хотел стукнуться в притолоку, но, потрогав лоб, воздержался.

– Василий Степанович! – озабоченно прошептал Ефим и пальцем показал на потолок.

– Думаешь, там микрофоны? – понял Каретников. – Ну, конечно, там они есть. А я на них положил. Потому что то, что я здесь говорю, – неважно. Все знают: Каретников алкаш, чего с него возьмешь. Важно то, что я говорю не здесь, а публично. А здесь, что хочу, то говорю. Тем более, что обидели, суки. Обещали протолкнуть в академики меня, а протолкнули Шушугина. Академик Шушугин. А академик вместо слова «пиджак» «спенжак» пишет, вот чтоб я с этого места не встал. А его в академики. А я обижен. И все понимают, что я обижен и поэтому могу ляпнуть лишнего. Но только дома, потому что партия от нас требует преданности, а не принципов. Когда можно, я ее ненавижу, а когда

нужно, я ее солдат. Ты писатель и должен понимать разницу между словами «можно» и «нужно». Я делаю то, что нужно, и поэтому мне кое-что можно, а ты того, что нужно, не делаешь, значит, тебе можно намного меньше, чем мне. Понял, в чем диалектика? Дай-ка еще глотну!

Василий Степанович сел в кожаное кресло и закрыл глаза. Пока Ефим доставал из-за Маркса бутылку, пока приблизился к Каретникову, тот заснул.

Ефим сел напротив, держа бутылку в руках. Время текло. Часы в деревянном футляре отбили половину двенадцатого. Ефим озибался по сторонам, разглядывая комнату. Стол и кресло старинной работы, современные книжные полки, заставленные собраниями сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и генсека. Впрочем, генсек стоял на первом месте. Когда-то здесь стояли тома Сталина, потом Хрущева. Потом Хрущев исчез, а Сталин опять появился. А сейчас его опять не было, должно быть, задвинут туда, во второй ряд. А на его месте стоит четырехтомник Густава Гусака. Значит, – так подумал Ефим, – в отношении партии к Сталину ожидаются какие-то перемены.

Наконец, Каретников открыл один глаз и недоуменно навел его на Ефима. Затем открыл второй глаз.

– Сколько времени? – спросил он.

– Четверть второго, – ответил Ефим шепотом, как бы все еще боясь его разбудить.

Каретников протянул руку.

– Дай!

Отхлебнул из бутылки, но без прежней жадности, покривился и потряс головой.

– Ну, выкладывай, зачем пришел. Что хочешь: дачу, машину, путевку в Пицунду, подписку на журнал «Америка»?

– Да нет, – улыбался Ефим, всем своим видом показывая, что его притязания гораздо скромнее и выглядят по существу пустяком, из-за которого, пра-

во, даже неловко беспокоить столь крупного человека.

– Говори, говори, – поощрил Василий Степанович.

Наконец, Ефим собрался с духом и изложил суть своей просьбы сбивчиво и бестолково. Василий Степанович слушал его внимательно, после чего еще отхлебнул из бутылки и посмотрел на Ефима по-новому.

– Значит, – уточнил он протрезвевшим голосом, – ты дачу не просишь, машину не хочешь, в дом творчества не собираешься, журнал «Америка» тебе не нужен, тебе нужна всего-навсего только шапка. Причем, не какая-нибудь. Из кошки тебя не устроит. Нет? А из кролика тоже нет?

Ефим улыбнулся и скромно потупился.

– Ну да, – повторил Каретников благожелательно. – Всего-навсего шапку. Из кошки не годится, из кролика не идет. Может, тебе боярскую шапку? Может, соболью? Да ты что! – вдруг закричал он, вскочив и хлопнув себя по ляжкам. – Ты кого за дурака держишь, себя или меня? Ты, может быть, думаешь, что ты умная еврейская голова, а я пальцем деланный и щи лаптем хлебавший. Ты думаешь, что дачу попросить это много, а шапку – это ничего. Врешь! – закричал он так громко, что Ефим невольно попятился.

– Василий Степанович, – пробормотал Ефим испугавшись, – да что это вы... Да как же... Да я просто не понимаю.

– Врешь! – повторил Василий Степанович решительно. – Все врешь и все понимаешь. Ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна, шапку ты у какого-нибудь барыги за сотню-другую можешь купить не хуже. Тебе не это нужно. Тебе нужно другое. Ты хочешь дуриком в другую категорию, в другой класс пролезть. Хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, и чтобы нас вообще уравнили. Тебя и меня, секретаря Союза писателей, члена ЦК, депутата Верховного Совета, Лауреата Ленинской премии, Вице-Президента

Всемирного Совета мира. Так? Та-ак, – с удовольствием ответил сам себе Каретников. – Именно. Умный ты, я вижу, чересчур даже умный. Ты будешь писать о хороших людях, будешь делать вид, что никакой такой советской власти и никаких райкомов-обкомов вовсе не существует, и будешь носить такую же шапку, как я? Дудки, дорогой мой. Если уж ты хочешь, чтоб нас действительно уравнили, то ты и в другом равенства не избегай. Ты, как я, пиши смело, морду не ворота: «Всегда с партией, всегда с народом». Да посиди лет десять-двадцать-тридцать с важной и кислой рожей в президиумах, да произнеси сотню-другую казенных речей, вот после этого и приходи за шапкой. А то ишь чего захотел! Шапку ему дайте получше. А с какой это стати? Ты вот мне, небось, завидуешь, что за границу езжу и тряпки всякие привожу. Это ты только одну сторону моей жизни видишь. А того еще не видишь, что я, помимо тряпок, еще там за мир во всем мире, ети его налево, борюсь. Ты вот тоже в турпоездке в Париже был. Тебе там вопросы задавали? Задавали. А ты что отвечал? Ты отвечал, что политикой не интересуешься, географией тоже и, где находится Афганистан, точно не знаешь. А мне так крутиться нельзя. Я не могу сказать, что политикой не интересуюсь. На вопросы должен отвечать прямо, прямо и отвечаю. Что я думаю об Афганистане? Думаю, что этих душманов надо давить. Что думаю о политзаключенных? Думаю, что политзаключенные есть в Южной Африке, в Чили и на Гаити. А у нас есть уголовники и сумасшедшие. Думаешь, мне приятно это говорить? Нет, очень даже пренеприятно. Я тоже хочу улыбаться и чтобы мне улыбались. Также хочу писать о хороших людях. Также хочу делать вид, что в политике и географии не разбираюсь. Ты думаешь, ты против советской власти не пишешь, а мы тебе за это спасибо скажем? Нет, не скажем. Нам мало того, что ты не против, нам надо за. Будешь бороться за мир, будешь, как я, писать о секретарях обкомов-райкомов,

тогда все получишь. Простим тебе, что еврей, и дачу дадим, и шапку. Хоть из пыжика, хоть из ондатры. А тому, кто уклоняется и носом воротит, вот, нако-ся, выкуси! – И поднес к носу Ефима огромную фигу. Он сделал этот грубый жест, не задумываясь. Даже не предполагая, что из него могут произойти какие-нибудь последствия. Да будь это в другой раз, их бы и не было. Но тут... Ефим потом и сам не мог понять, как это произошло. Увидев перед собой фигу и услышав «Нако-ся, выкуси», Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивши его до кости.

Это было так неожиданно, что Василий Степанович даже не сразу почувствовал боль. Он отдернул руку, посмотрел на Ефима, посмотрел на палец и вдруг завыл, закружился как полоумный по кабинету, тряся рукою и брызгая кровью на персидский ковер.

На вой прибежала в папилютках Лариса Евгеньевна. С тряпкой в руках появилась домработница Надя.

– Что случилось, Вася? – тонким голосом прокричала Лариса Евгеньевна, кидаясь к Каретникову.

– У-у-у-у! – выл Каретников, как паровоз, и тряс истекающей кровью конечностью.

– Фима! – Лариса Евгеньевна повернулась к Ефиму. – Я не могу понять, что случилось!

Фима, как потом говорили, казался совершенно спокоен. Он взял с полки чекушку, допил остатки, поднял с полу незастегнутый портфель и вышел.

Вечером Ефиму позвонил Баранов.

– Привет, старик, – сказал он. – В воздухе неспокойно.

– Что? – не понял Ефим.

– Наблюдается некоторое волнение.

Ефим бросил трубку, включил радио, стал крутить ручку настройки в поисках «Немецкой волны». Нашел, но «Волна», заканчивая передачу, повторила краткое

изложение новостей, в которых ничего интересного для Ефима не было. По Би-Би-Си шел концерт джазовой музыки, а на частоте «Голоса Америки» стоял сплошной вой глушилок. Ефим схватил приемник и стал бегать с ним по комнате, вертя его так и сяк, то прикладывая его к батарее отопления, то переворачивая вниз антенной. Он дважды стукнул приемником о колено, иногда помогало и такое. Сейчас не помогло. Но и время было не совсем удачное – без четверти девять. Ефим выключил приемник, но в девять часов включил его снова. На этот раз «Голос» звучал почти совсем чисто. Ефим выслушал сообщение о новых американских предложениях по сокращению ракет средней дальности, о напряженности в Персидском заливе, о возросшей активности афганских повстанцев, о необычайных ливнях на Филиппинах и вдруг:

– Западные корреспонденты передают из Москвы, что, по сведениям из достоверных источников, ведущий советский писатель Ефим Рахлин совершил покушение на управляющего Союзом писателей Василия Карелина. Причина покушения неизвестна, но наблюдатели полагают, что в нем, возможно, отразилось недовольство советских писателей отсутствием в Советском Союзе творческих свобод.

– Кукуша! – крикнул Ефим. – Кукуша! – завопил он уже вовсе нетерпеливо.

– Что случилось? – вбежала перепуганная насмерть Кукуша.

– Случилось! Случилось! – Ефим был необычайно возбужден и, указывая на приемник, сообщил короткими фразами: – Они. Только что. Обо мне. Говорили.

– Что говорили? – не уловила Кукуша.

– Они сказали: «ведущий советский писатель Ефим Рахлин». А еще называли Каретникова, но даже фамилию его переврали. Ты представляешь, ведущий советский писатель Ефим Рахлин!

Кукуша смотрела на мужа серьезно, его радости явно не разделяя.

– Лысик, – сказала она тихо, но твердо, – если тебя загонят в Мордовию, помни, я за тобой туда не поеду.

Ефим растерялся. Он никогда не готовился к тому, чтобы быть загнанным в Мордовию, и не собирался тащить туда же Кукушу. Но все же ему хотелось знать, что, если вдруг когда-то такое случится...

Он еще не нашел, что ответить, когда вошел Тишка с волчьей шапкой в руках.

– Папан! Если ты не остановишься, мне придется или от тебя отказаться, или просить у Наташки вызов в Израиль.

Тишка положил шапку на стул и вышел.

Ефим опустил на диван и долго сидел, ладонями сжимая виски.

– Ну что ж! – тихо сказал он и улыбнулся. – Сын от меня откажется, жена за мной не поедет, она привыкла жить в столице, она привыкла путаться с маршалами... Проститутка! – вдруг завопил он и, вскочив, сжал кулаки и затопал ногами. – Вон из моего кабинета!

– Фимка! – заволновалась Кукуша. – Одумайся! Ты не смеешь так говорить!

– Вон! – кричал Ефим. – Вон отсюда! Ты не смеешь сюда входить! Здесь живут мои прекрасные герои!

Вечер получился весь всмятку.

Опомнившись, Ефим побежал в спальню, где Кукуша, лежа на животе, давилась в рыданиях. Ефим ее тормошил и просил прощения. Она отталкивала его от себя и выкрикивала что-то бессвязное. Тишка, чтобы не слышать этого, заперся в своей комнате и включил на полную громкость то ли «битлов», то ли что-то в этом духе. Кукуша рыдала. Ефим время от времени покидал ее и в своей комнате снова включал приемник. Все радиостанции говорили о писателе Рахлине, но невпопад. Помимо версии о покушении, было сказано, что он подвергался преследованиям за свою приверженность

иудаизму и за то, что он друг академика Сахарова. Ефиму было лестно, хотя Сахарова он никогда и в глаза не видел.

Беспрерывно трещал телефон. Четыре раза звонил Баранов. Звонили еще какие-то доброжелатели, знакомые и незнакомые. Звонили корреспонденты американского агентства Ассошиэйтед Пресс и немецкого АДН. Мужской голос сказал: «Вы меня не знаете, но я хочу сказать, что все честные люди мысленно с вами». Другой голос (а, может, и тот же самый) весело пообещал: «Мы тебе, жидовская морда, скоро сделаем обрезание головы!»

Кукуша Ефима сперва простила, а потом прибежала и сама стояла перед ним на коленях: «Заклинаю тебя твоими детьми, покайся. Пойди к Каретникову, проси прощенья, скажи, что ты был в невменяемом состоянии».

Ефим сказал: «Ни за что!» – а когда она стала настаивать, опять ее выгнал. И опять бегал просить прощенья. И отвечал на звонки. И слушал радио.

Спать он остался у себя в кабинете, на диванчике. Лег одетый и укрылся шерстяным пледом. А радио поставил рядом и все крутил ручку настройки, перескакивая с волны на волну. Поймал даже недоступную обычно «Свободу». И даже чью-то передачу на английском языке, из которой он понял одну только, но важную для себя фразу: «Мистер Рахлын из ноун эс э вери корейджес персон», то есть мистер Рахлин известен как очень мужественная личность. Что ему, конечно, польстило.

Ефим долго не спал, чесался и думал о славе, которая свалилась на него ни с того, ни с сего. Конечно, положение его стало рискованным, но зато теперь его знает весь мир.

Он поздно заснул и поздно проснулся. Кукуши и Тишки уже не было. Пока он жарил яичницу и варил

кофе, ему несколько раз звонили по телефону. Потом принесли телеграмму с текстом: «ТАК ДЕРЖАТЬ ВСКЛ МИТЯ». ВСКЛ означало «восклицательный знак», а вот кто такой Митя, Ефим вспомнить никак не мог. Пока вспоминал и дожевывал яичницу, завалился перепуганный до смерти Фишкин.

– Фима, что вы делаете! – взывал он свистящим шепотом. – Вы понимаете, что у них в партии восемнадцать миллионов человек? Это армия в период всеобщей мобилизации. На кого вы поднимаете руку?

– Соломон Евсеевич, – возражал Ефим. – При чем тут восемнадцать миллионов? Я же не выступаю против них. Я только хочу, чтобы мне дали шапку. Нормальную шапку, но не из кота пушистого, а хотя бы из кролика, как Баранову. Тем более, Баранова никто не знает, – он подумал и улыбнулся самодовольно, – а я писатель с мировым именем.

– Вы дурак с мировым именем! – закричал Фишкин. – Вы думаете, если о вас говорил «Голос Америки», это что-то значит? Это ничего не значит! Когда они за вас возьмутся, никакой голос вам не поможет. Они раздавят вас, как клопа.

– Ну вот, – криво улыбался Ефим, – то вы меня сравнивали с гадким утенком, а теперь даже с клопом.

Не успел удалиться сказочник, новый звонок. Ефим, мысленно чертыхаясь, пошел к дверям, открыл и отпрянул. Перед ним кособочился, дергал левой щекой и недобро подмигивал Вася Трёшкин, небритый, нечесаный, в засаленной байковой пижаме неопределенного цвета и шлепанцах на босу ногу.

– Вы ко мне? – не поверил Ефим.

Трёшкин молча кивнул.

– Проходите, – засуетился Ефим, отступая в сторону. – У меня, к сожалению, там не убрано. Вот на кухню, пожалуйста.

Трёшкин прошел по коридору, косясь на развешанные по стене высушенные морские звезды – они, к его удивлению, были пятиконечные.

Ефим усадил соседа на табурет и убрал со стола сковородку.

– Хотите чаю? Кофе? Или чего покрепче? – Ефим подмигнул.

– Нет, – покачал головой Трёшкин. – Ничего. Вчера слышал про вас оттуда. – Он показал на потолок. – Стало быть, там вас знают.

– Видно, знают, – сказал Ефим не без гордости.

– Надо же, – покрутил головой Трёшкин и понизил голос. – У вас есть лист бумаги?

– Писчей бумаги?

– И, – сказал Трёшкин и подергал рукой, изображая процесс писания.

– И? – переспросил Ефим и тут же догадался. – И ручку?

Трёшкин поморщился и обеими руками показал на стены и потолок, где располагались возможные микрофоны.

Ефим побежал к себе в кабинет. Он торопился, опасаясь, как бы Трёшкин не подсыпал в кафеварку отравы.

Схватил первый попавшийся под руку лист, но не из стопки совершенно чистой и нетронутой бумаги, которой он дорожил, а из лежащей на краю стола кипы бумажек, которые были либо измяты, либо содержали мелкие и ненужные записи, но были еще годны для каких-нибудь пометок, записок внутридомашнего употребления или коротких писем. По дороге на кухню Ефим увидел, что на обратной стороне листа что-то написано. Впрочем, запись была неважная.

– Вот, – Ефим положил бумагу чистой стороной перед Трёшкиным и положил ручку. Трёшкин опять подозрительно посмотрел на стены и на потолок, задержал взгляд на лампочке, предполагая наличие скрытого

объектива, махнул рукой, написал нечто и передвинул бумагу к Ефиму.

Ефим похлопал себя по карманам, сбегал за очками, прочел:

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ В ЖИДО-МАСОНЫ».

Потряс головой, уставился на Трёшкина.

– Я вас не понимаю.

Трёшкин придвинул бумагу к себе и дописал:

«ОЧЕНЬ ПРОШУ!»

Приложил ладони к груди и покивал головой.

Ефим втянул голову в плечи, развел руками, изображая полное непонимание.

«Не доверяет», – подумал Трёшкин.

Вдалеке затренькал телефон.

– Извините, – Ефим побежал опять в кабинет.

Телефон звонил тихо, вкрадчиво и зловеще.

– Здравствуйте, Ефим, это Лукин.

– Добрый день, – отозвался Ефим настороженно.

– Ефим, – в голосе Лукина звучала фальшивая бодрость. – По-моему, нам пора встретиться.

– Да? – иронически отозвался Ефим Семеныч. – И по какому же делу? Разве что-нибудь случилось?

– Ефим Семеныч, – Лукин начал, кажется, раздражаться. – Вы хорошо знаете, что случилось. Случилось очень многое, о чем стоит поговорить.

Тем временем Васька Трёшкин, сидя на кухне, обмозговывал, как бы убедить Рахлина, чтобы поверил. «Нет, не поверит», – печально подумал он, взял бумагу, хотел разорвать, но по привычке глянул на просвет и обомлел. Там вроде по-русски, но на еврейский манер справа налево были начертаны какие-то письма. Возможно, ответ на его просьбу. Он перевернул бумагу и теперь уже слева направо прочел: «Первые пять букв – крупное музыкальное произведение. Вторые пять букв – переносная радиостанция. Все вместе – хирургическое вмешательство из восьми букв». Трёшкин сложил пять и пять, получилось десять. А здесь написано восемь. «Ев-

рейская математика», – подумал Трёшкин с восхищением, но без надежды, что отгадает. Тем не менее, он понял, что отгадать нужно. Может, только на этом условии в жидо-масоны и принимают. В крайнем случае, если не отгадает, спросит у Черпакова. Он сложил бумагу вчетверо, спрятал в карман пиджака и пошел к выходу.

– Поймите, Ефим, просто так я бы не стал звонить, но я считаю, что вас надо спасать. Понимаете?

– Не понимаю, – сказал Ефим, – меня спасать не надо, я не тону. Перестаньте меня считать человеком второго сорта, дайте мне приличную шапку и никаких проблем не будет.

– Ефим, вы не понимаете. Вам сейчас не о шапке, а о том, на чем ее носят, надо подумать. И я вам в этом хочу помочь. Приходите завтра ко мне, обсудим, как дальше быть.

– Хорошо, – сдался Ефим. – Когда?

– Ну, скажем, завтра, часиков эдак в шестнадцать.

Ефим подумал (и сделал пометку в блокноте) о том, как служебное положение неизбежно отражается на языке. Не будь Лукин начальником, он наверняка сказал бы «часа в четыре», а тут «часиков эдак» да еще и в шестнадцать.

Он еще колебался, может, следует Лукина подразнить, завтра, мол, он не может. Может быть, послезавтра, может, на той неделе.

Мимо раскрытой двери на цыпочках тихо прошел Трёшкин. Он помахал обеими руками, давая понять, что просит не беспокоиться, он выйдет сам.

– Ладно, – сказал Ефим. – Приду.

В кабинете Лукина, кроме самого Лукина, Ефим застал секретаря парткома Самарина, членов секретариата Виктора Шубина и Виктора Черпакова, критиков Бромберга и Соленого, Наталью Кныш и незнакомого

Ефиму блондина с косым пробором, очень аккуратно зализанным.

Каретникова Ефим увидел не сразу. Тот стоял у окна в темном заграничном костюме со звездой Героя Социалистического труда, депутатским значком и медалью лауреата. Правая рука его лежала на перекинутой через шею черной шелковой перевязи, а большой палец умело, но, пожалуй, чрезмерно забинтованный, торчал, как неуклюжий березовый сук.

Увидев столько людей, Ефим слегка растерялся. Из телефонного разговора с Лукиным он понял, что тот приглашает его встретиться с глазу на глаз, а тут вон какая толкучка. Ни на кого не глядя, Ефим направился к столу Лукина, чтобы спросить, не стоит ли ему подождать здесь, пока люди разойдутся, или посидеть в коридоре. Но Лукин, видимо, опасаясь быть укушенным, замахал руками и торопливо сказал:

– Не подходите. Не надо. Там сядьте, – и указал на стул за маленьким, отдельно поставленным столиком.

Ефим сел. Все молчали. Лукин что-то быстро писал. Каретников левой рукой вынул из кармана пачку «Мальборо», потряс ее, зубами вытащил одну сигарету. Потом достал спички и с ловкостью опытного инвалида, зажав коробку локтем правой руки, добыл огонь. Закурили и Соленый с Бромбергом, а блондин достал расческу и причесался.

Вошла секретарша, положила перед Лукиным какую-то бумагу и что-то шепотом спросила, на что Лукин громко ответил: «Скажите, что сегодня никак не могу, у меня персональное дело». Ефим посмотрел на него с удивлением. О каком персональном деле идет речь? Если назначен разбор персонального дела его, Ефима, то почему Лукин ничего не сказал об этом по телефону? Ефим стал нервно озираться и заметил, что присутствующие предпочитают избегать его взгляда, Бромберг потупился, Наталья Кныш торопливо отвернулась и покраснела, Шубин был занят чисткой ногтей,

и только один Черпаков смотрел на Ефима прямо, нагло и весело. Начиналось одно из милых его сердцу действий, когда много людей собираются, чтобы вместе давить одного.

Другие коллеги Черпакова, собравшиеся сейчас в кабинете Лукина, не были столь кровожадны и в других условиях не стали бы делать того, к чему сейчас приступали, но Наталья Кныш собиралась съездить за границу, ей нужна была характеристика, которую, отказываясь от участия в общественной жизни, получить невозможно. Соленый, пойманный на многолетнем утаивании партийных взносов и спекуляции иконами, надеялся заслужить реабилитацию. Бромберг прибежал просто из страха. Много лет назад его обвинили в космополитизме, сионизме и мелкобуржуазном национализме, смысл всех его писаний был разобран и извращен до неузнаваемости. Его зловредную деятельность разбирала комиссия под председательством того же Черпакова. Все его попытки оправдаться воспринимались как проявления особой хитрости, лицемерия, двоедушия, попытки уйти от ответственности, он натерпелся такого страха, что теперь сам готов был кого угодно травить, грызть, рвать на части, только чтобы его самого никогда больше не тронули.

Секретарша вышла. Лукин еще долго смотрел в оставленную ему бумагу, потом поднял голову и, глядя на Ефима, спросил:

- Как дела, товарищ Рахлин?
- Вчера был Ефим, а сегодня товарищ Рахлин.
- Никак, – пожал плечами Ефим, начиная сознавать, что генерал заманил его в ловушку.
- Что значит никак? На здоровье не жалуетесь?
- Не-ет, – Ефим решил держаться благоразумно.
- У психиатра давно не были? – неожиданно спросил блондин и снова достал расческу.
- А вы кто такой? – спросил Ефим.

– Неважно, – уклонился блондин.

Без скрипа отворилась дверь, и неслышной походкой вошел некто в сером. Он каким-то ловким и неприметным движением кивнул всем сразу и никому в отдельности, проскользнул вдоль стены и сел позади Бромберга. Никто не вскочил, не всполошился, все даже вроде сделали вид, что ничего не произошло, но в то же время возникло едва заметное замешательство, перешедшее в напряженность, все словно почувствовали присутствие потусторонней силы.

Как только этот в сером вошел, Каретников загасил сигарету, ткнув ее в горшок с фикусом, Соленый потушил свою о ножку стула, а Бромберг на цыпочках приблизился к столу Лукина и раздавил свой окурочок в мраморной пепельнице перед самым носом генерала. Тот посмотрел на Бромберга удивленно, поморщился, отодвинул пепельницу и, обращаясь ко всем, негромко сказал:

– Товарищи, мы собрались, чтобы разобрать заявление присутствующего здесь Василия Степановича Каретникова, которое я сейчас зачитаю.

Каретников отошел от окна и скромно занял место позади человека в сером, а Лукин снял очки и, заглядывая в бумагу сбоку, стал читать. Ефим немедленно извлек из портфеля блокнот, ручку и, устроив блокнот на колене, стал торопливо конспектировать читаемое. Заявление Каретникова было написано в странном возвышенно-казенном стиле с претензией на художественность. Обращаясь к писательской общественности, заявитель сообщал, как, пользуясь его исключительной доверчивостью и постоянно оказываемым вниманием писателям младшего поколения, литератор Рахлин проник в его квартиру под предлогом ознакомления со своей новой рукописью. Рукописи он, однако, не предъявил, но просил потерпевшего употребить свое влияние для предоставления ему, Рахлину, незаслуженных льгот. Получив решительный отказ, вымогатель пере-

шел от просьб к угрозам, а от угроз к действиям и совершил ничем неспровоцированное бандитское нападение, самым безобразным и унижительным способом, в результате чего Каретников вынужден был обратиться к врачам, утратил трудоспособность и не может заниматься исполнением своих повседневных литературных, государственных и общественных обязанностей. «Адресуясь к своим товарищам и коллегам, – заканчивал свое заявление Каретников, – я прошу разобрать поведение Рахлина, вынести ему соответствующую оценку и тем самым защитить честь и достоинство одного из активных членов нашей, в целом сплоченной и дружной писательской организации».

Заявление было выслушано в скорбном молчании.

– Василий Степанович, – почтительно спросил Лукин, – вы имеете что-нибудь добавить к вашему заявлению?

– Я не знаю, что добавлять, – пожал плечами Каретников. – Палец нарываёт, и меня уже кололи антибиотиками.

– Я бы в таком случае прошел курс уколов от бешенства, – бодро пошутил Бромберг, но его не поддержали, потому что шутка, ударяя по Рахлину, одновременно задевала Каретникова и в целом получилась сомнительной.

– Да, вот так, – уточнил Каретников, смущенно улыбаясь. – Теперь я не могу писать, а завтра у меня районная партконференция, встреча с делегацией афроазиатских писателей, потом секретариат, заседание в комитете по Ленинским премиям, сессия Верховного Совета. Как я туда пойду? Не могу же я там заседать в таком виде. Я, конечно, не хотел писать это заявление. Жена настаивала, чтобы я прямо звонил генеральному прокурору. Вероятно, так и следовало бы сделать, но мне, откровенно говоря, не хотелось выносить сор из избы и выставлять в дурном свете перед общественностью наш прекрасный и дорогой моему

сердцу союз. Я надеюсь, что секретариат может защитить своего товарища и без вмешательства правоохранительных органов, – Василий Степанович бросил вопросительный взгляд на макушку сидевшего перед ним человека в сером и тихо сел.

– Конечно, можем, – решительно отозвался Лукин и тоже посмотрел на человека в сером. – Но прежде, чем разбираться, я должен дополнить заявление Василия Степановича тем, что эта скандальная история стала достоянием враждебной западной пропаганды. Я думаю, что некоторые из присутствующих слышали, что вчера одна зарубежная антисоветская радиостанция передавала...

– Я лично эти передачи никогда не слушаю, – сочла нужным заметить Наталья Кныш.

– Такую дрянь ни один порядочный человек не слушает, – от себя мрачно добавил Соленый.

Лукин посмотрел на Ефима.

– Товарищ Рахлин, вы тоже ничего такого не слышали?

– Простите? – Ефим оторвал от бумаги ручку и посмотрел на Лукина.

– Я вас спрашиваю, – повторил Лукин скрипучим голосом, – вы тоже ничего такого не слышали?

– Это ваш вопрос? Правильно? Сейчас, минуточку, я его запишу. – Записал: «Вы тоже ничего такого не слышали?» – Поднял глаза на Лукина. – Какого такого?

Лукин, слегка теряясь, посмотрел на человека в сером, перевел взгляд на Ефима.

– Вас спрашивают... – начал Лукин...

– Минуточку. «Вас спрашивают...» – старательно занес он в блокнот и поднял голову.

– ...вас спрашивают, что вы можете сказать по поводу заявления... Да спрячьте вы свой блокнот! – вышел Лукин из себя. – Мы вас не диктанты писать пригласили.

– «...не диктанты писать пригласили...» – записывая, повторил вслух Ефим.

– Товарищи, да это же хулиганство! – закричал истерически Бромберг. – Отнимите у него этот блокнот или пусть он его спрячет.

– Ну зачем же, зачем же отнимать? – отозвался Черпаков иронически. – Надо оставить, пусть пишет. Пентагону, ЦРУ, Голосу Америки нужен же точный отчет.

Ефим слышал, что разговор принимает злоеущее направление. Рука его начала дрожать, но он продолжал лихорадочно водить пером по бумаге. Хотя не успевал, потому что выступавшие заговорили одновременно. Кныш упрекала его в неуважении к коллективу. Шубин сказал, что был в Польше и видел следы преступных действий так называемой «Солидарности». Ефим записал это, хотя связи между собой и «Солидарностью» не уловил. Но точнее других был Соленый.

– Товарищи, – встал Соленый. – В повестке дня нашего заседания объявлено, что мы должны осудить хулиганский поступок Рахлина. Но это не хулиганский поступок. Это нечто большее. Ведь вы посмотрите. Василий Степанович Каретников является выдающимся нашим писателем. На его книгах, всегда страстных и пламенных, воспитываются миллионы советских людей в духе патриотизма и любви к своему отечеству. Своим поступком Рахлин вывел из строя руку, которая создает эти произведения. Почему он это сделал? Потому что ему не дали какую-то шапку?

– Челуха! – отозвался Бромберг.

– Тем более, что я никакими шапками не заведу, – с кроткой улыбкой заметил Каретников.

– Совершенно ясно, – закончил свою мысль Соленый, – что Рахлин действовал не сам по себе, а по прямому заданию врагов нашей литературы, врагов нашего строя.

– Правильно! – согласился Черпаков. – Это не хулиганство, а террор. Причем террор политический.

За такие вещи у нас раньше расстреливали и правильно делали.

На этом Ефим записывать прекратил. Он положил блокнот на свободный стул рядом с собой и посмотрел сначала на Черпакова, потом на Лукина, потом на Каретникова, заодно обнаружив, что человек в сером уже исчез, а на его месте сидит блондин и причесывается.

Ведя себя последние дни вызывающе, Ефим готовился к разным неприятностям, но все же не к таким обвинениям. Он вдруг испугался, задрожал и помимо своей воли стал лепетать, что товарищи его не так поняли, что он не действовал по чьему-то заданию, а совершил свой поступок, который признает безобразным, исключительно в состоянии аффекта. Потому что, будучи восемнадцать лет членом Союза писателей и написав одиннадцать книг, причем все одиннадцать о хороших советских людях, о людях мужественных профессий...

– Зачем вы нам все это рассказываете? – проскрипел голос Лукина.

– Виляет! – радостно отметил Черпаков и стал надвигаться на Ефима. – Крутит хвостом, замечает следы. Вот она, сионистская тактика!

– Молчать! – вдруг закричал Ефим и топнул ногой.

– А чего это мне молчать? – Черпаков, надвигаясь, расплывался в наглой улыбке. – Я не для того сюда пришел, чтоб молчать.

– Молчать! – повторил Ефим. Он вдруг весь сжался, задрожал, выпустил вперед руки. – Молчать! – закричал еще раз и кинулся на Черпакова.

И тут произошло невероятное.

Черпаков вдруг испугался, побледнел и с криком: «Он меня укусит!» – полез под стол Лукина. Лукин растерялся и, выкрикивая: «Виктор Петрович, Виктор, ты что, с ума сошел?», – стал отталкивать Черпакова ногами. В это же время Ефим тоже нырнул под стол. В нем

проснулся охотничий инстинкт, и он, действительно, хотел укусить Черпакова, но, когда он нагнулся, с ним что-то случилось. Во рту появился сладкий привкус. Затем перед глазами возникла вспышка, какие бывают в процессе электросварки. Одна, другая, третья... Вспышки эти, следуя одна за другой, слились, наконец, в общее великолепное сияние, а тело стало утрачивать вес. Обратившись в белого лебедя, Ефим выплыл из-под стола и начал набирать высоту, а члены бюро все удалялись и удалялись, задирая головы и глядя на Ефима с широко раскрытыми ртами.

Ефима доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы. В диагнозе сомневаться не приходилось – инсульт с потерей речи и частичным параличом левой руки.

– Положение серьезное, – сказал Кукуше молодой врач с рыжими прокуренными усами и сам весь пропахший табачным дымом. Видимо, ему показалось, что она не оценила сказанного, и он, подумав, добавил. – Очень серьезное.

– А что я могу для него сделать? – спросила Кукуша растерянно.

– Вы? – Врач усмехнулся. – Вы можете только стараться его не беспокоить.

– Да-да, – закивала Кукуша, – я понимаю. Ему сейчас нужен полный покой и положительные эмоции.

– Покой, да, – сказал доктор, закуривая дешевую сигарету. – А эмоции... пожалуй, ему сейчас лучше обойтись без всяких эмоций. Без плохих и без хороших.

Кукуша с врачом, однако, не согласилась, в лечебную силу положительных эмоций она верила безгранично.

Когда ее вместе с Тишкой допустили к больному, она его узнала с трудом. Он весь был опутан какими-то трубками и проводами, а голова от макушки до подбо-

родка замотана бинтами, отчего он казался похожим на пришельца из других миров.

Жена и сын – оба в застиранных казенных халатах – сидели у постели больного, безразлично смотревшего в потолок.

– Врач сказал, что ничего страшного, – говорила Ефиму Кукуша. – Все будет хорошо. Тебе, главное, не волноваться. А у нас все в порядке. Между прочим, вчера звонили из «Молодой гвардии» и сказали, что рукопись твою заслали в набор. А еще пришло письмо от директора «Ленфильма», сценарий отдан в режиссерскую разработку. Ну, еще что? Да, белье из прачечной я получила. У Тишки тоже все хорошо. Правда, Тишка?

– Все хорошо, – подтвердил Тишка.

– А что тебе сказали про твой реферат?

– Ничего особенного, – сказал Тишка. – Сказали, что опубликуют в ученых записках.

– Скромничает, – сказала Кукуша. – Академик Трунов сказал, что реферат стоит иных пухлых докторских диссертаций. Так же он сказал, а, Тишка?

– Да, сказал, – кивнул Тишка.

– Так что у нас все хорошо, ты не волнуйся, ты лежи, выздоравливай. Как только тебе можно будет есть, я тебе принесу чего-нибудь вкусного. Хочешь бульон? А может, тебе чего-нибудь сладкого? Или, наоборот, кисленького? Хочешь, я тебе сделаю клюквенный морс? Нет? Ну, а чего ты хочешь? Если не можешь говорить, ты мне как-нибудь дай понять, чего ты хочешь.

Ефим поморщился и промычал что-то нечленораздельное.

– Что? – переспросила Кукуша, наклоняясь к нему.

– Саску!

– Что? Что? – Кукуша оглянулась на Тишку, тот молча пожал плечами.

– Что ты сказал? Ну, постарайся, ну, попробуй сказать более внятно.

– Фафку, – сказал Ефим.

– Ах, шапку! – догадалась Кукуша. И обрадовалась. – Ты еще хочешь шапку! Значит, у тебя есть желания! Значит, ты еще ничего. Ты выздоровеешь! Ты поправишься. А шапка будет. Обязательно будет. Нет, ты не думай, я не пойду ее покупать. Я их заставлю. Они тебе принесут. Лукин лично принесет, я тебе обещаю.

В палату вошла пожилая медсестра с набором шприцов.

– Ну все, – сказала она тихо. – Прием окончен. У нас с Ефимом Семенычем процедуры.

Я слышал, что Кукуша прямо из больницы поехала к Лукину, который принял ее с большой неохотой. Страстно попрекала генерала, она требовала от секретариата в порядке хотя бы частичного искупления вины все-таки выдать шапку ее больному мужу.

– Он находится в критическом состоянии и нуждается в положительных эмоциях, – сказала Кукуша.

Генерал сидел с каменным лицом, давая понять, что проявлений ложного гуманизма от него ждать не следует.

– Очень сожалею, но сделать ничего не могу. Мы хотели ему помочь, но он вел себя вызывающе и не хотел признать своей вины.

– Да какая вина! При чем тут вина! – закричала Кукуша. – Вы же знаете, что он умирает! Ну да, ну хотел он получить хорошую шапку, ну укусил Каретникова, но он же умирает, умирает, это же получается смертная казнь. Неужели вы считаете, что мой муж заслужил смертной казни?

На это Лукин ничего не ответил. Он смотрел мимо Кукуши, и по лицу его было видно, что ему все равно, заслуживает Ефим смертной казни или не заслуживает, умрет или не умрет.

– Слушайте! – Кукуша покинула стул и приблизилась вплотную к столу Лукина. – Петр Николаевич,

скажите мне, ну что же вы за человек? Почему вы такой жестокий? Ведь вы же тоже в свое время пострадали.

Кукуше показалось, что эти слова его как-то прошибли.

– Да, – сказал он и приосанился. – Я пострадал. Но я пострадал за принципы, а не за шапку. А когда пострадал, то ни разу... – он весь затрясся, – ...запомните, ни разу не усомнился в наших идеалах. Вот! Вот! – закричал он, извлекая бумажник.

– Вот! Вот! – передразнила, разъярившись, Кукуша. – Девочки, бантики... А человека убить – раз плюнуть. Ты, старый козел! – она перегнулась через стол и схватила его за грудки, – Если ты сам лично не принесешь моему мужу шапку, я тебе... Ты даже не знаешь, что я тебе сделаю.

Генерал растерялся, схватил ее за руки, стал отдирать от себя.

– Зинаида Ивановна! Да что это вы делаете! Да как вы смеете! Я вам не позволяю!..

Кукуша опомнилась, разжала пальцы и, обозвав Лукина сволочью, в слезах выскочила из кабинета.

На площади Восстания она схватила такси, плюхнулась на заднее сидение и плакала всю дорогу. Она не знала, что делать. Доставать шапку за свои деньги и сделать вид, что ей выдали в Союзе писателей, было бессмысленно, Ефим этого трюка не примет.

Такси въехало во двор и остановилось за черной «волгой». Кукуша расплатилась и пошла к подъезду. Дверца «волги» открылась, высокий человек в темном пальто и в шляпе с короткими полями загородил ей дорогу.

– Зинаида Ивановна, я полковник Колесниченко.

Кукуша вздрогнула.

– Полковник КГБ?

Человек улыбнулся.

– Нет, что вы, я пехотинец. Адъютант маршала Побратимова. Он приехал и ждет вас в гостинице «Москва».

Это было не лучшее время для свиданий, но Кукуша заторопилась.

– Извините, я сейчас. Вы можете меня подождать?

– Так точно.

Она ринулась наверх, расшвыряла белье и через четверть часа вернулась обратно, полыхая смешанным запахом душа и парфюмерии.

Маршал занимал трехкомнатный «люкс», в прихожей которого на четырехрогой полированной вешалке висели две шинели и две папахи. Владельцы папах сидели в роскошной гостиной за овальным столом, уставленным закусками человек на двенадцать, и пили французский коньяк «Курвуазье» из тонких чайных стаканов. Одна бутылка 0.75 была уже опустошена, а другая почата. Было порядком накурено, сизый дым волнистыми слоями плавал в свете многоярусной хрустальной люстры.

– Зинуля!

Навстречу Кукуше поднялся один из пирующих, крупный бритоголовый человек, похожий на артиста Юла Бриннера.

Побратимов был в зеленой форменной рубашке с маршальскими погонями, но без галстука. Его парадный мундир, отягощенный орденами, висел на спинке стула возле беккеровского рояля.

Не стесняясь присутствием Колесниченко и своего собутыльника, маршал обнял Кукушу и крепко поцеловал в губы.

– Ух! – она невольно отпрянула.

– Видать, от вас, товарищ маршал, довольно сильно разит, – приблизился к Кукуше обладатель второй папахи. Это был бывший адъютант Побратимова Иван Федосеевич, теперь генерал-майор. – Здравия

желаю, Зиновья, – он поднес Кукушину руку ко рту и щедро ее облизывал.

– Должно быть, и правда, разит, я и не подумал, – смутился маршал. Он был пьян, но рассудка не терял. – Сейчас тебе тоже коньячку плеснем, будем вместе благоухать.

Налил по полстакана Кукуше, Ивану Федосеевичу, себе и посмотрел на все еще стоящего у входа Колесниченко.

– Товарищ маршал, мне еще надо сестру посетить, – сказал тот. – Разрешите удалиться?

– Удаляйся, – разрешил маршал.

Колесниченко исчез. Маршал поднял стакан.

– Ну, Зинуля, со встречей! А ты что такая смурная?

– Потом. – Кукуша все полстакана выдула залпом. – У меня беда, маршал. Мужика моего кондрашка хва...а...атила, – сказала она и разревелась.

Ей было налито еще полстакана, потом она была спрошена, в чем дело, и выслушана со всем возможным вниманием.

– И это он, значит, в борьбе за шапку себя до такого довел? – удивился маршал.

– Это бывает, – заметил Иван Федосеевич. – У нас, я помню, один подполковник тоже ожидал полковничьей папахи, а когда не дали, пустил себе пулю в лоб.

– Ну и дурак, – сказал Побратимов.

– Ясное дело, дурак, – согласился Иван Федосеевич. – Тем более, что вышла ошибка. Полковника-то ему присвоили, а в список включить забыли. Так что папаху он получил как бы посмертно, ее потом на крышке гроба несли.

– Тем более дурак, – заключил маршал. – Лучше быть живым подполковником, чем мертвым полковником.

После открытия третьей бутылки был выслушан сбивчивый Кукушин рассказ о злодейском поведении и черствости Лукина.

– А кто этот Лукин? – спросил маршал сурово.
– Это этот что ли, генерал КГБ? – поинтересовался Иван Федосеевич.

– Ты его знаешь? – удивился маршал?

– Так точно, товарищ маршал. Если это он, то очень даже знаю. Он тут ко мне как-то приходил, просил внука освободить от призыва. Внук у него талантливый кинооператор, спортсмен, альпинист и комсомольский вожак.

– Понятно, – сказал маршал. – И ты его освободил?

– Так точно, товарищ маршал. Освободил. Но ошибку можно исправить.

– Дошлый мужик! – сказал маршал Кукуше, кивая на Ивана Федосеевича. – Надо же, какого адъютанта лишился. Вот что, Иван, ты этому сучонку пошли-ка повестку, а когда дедушка прибежит, скажи ему, что внука загоним в Афганистан, а из тебя, скажи, если ты сам лично шапку в больницу не принесешь, маршал Побратимов совет веревку.

– Слушаюсь, товарищ маршал! Слушаюсь! – охотно отозвался Иван Федосеевич. – Прямо не скажу, а намекнуть как-нибудь постараюсь. Вы какую шапочку хотите? – повернулся он к Кукуше. – Из чижики или из пыжика?

Результатом этого разговора стала повестка в военкомат, доставленная с нарочным и под расписку одному молодому кинооператору и аспиранту по имени Петя. Явившись по повестке, Петя, к его удивлению, был принят лично военным комиссаром города Москвы генерал-майором Даниловым.

Генерал был исключительно приветлив. Он вышел из-за стола, поздоровался с Петей за руку, усадил его на диван и сам сел рядышком.

– Значит, вы кинооператор? – спросил генерал, озаряя Петю золотой улыбкой. – Прекрасная профессия. И не такая уж безопасная, как некоторым кажется.

Я помню, у нас на фронте был кинооператор. Человек исключительного мужества. Он иногда, чтобы сделать хороший кадр, чуть ли не ложился под вражеские танки, выходил на пулеметы. Замечательный человек был. – Генерал вздохнул. – Погиб, к сожалению.

Продолжая свои расспросы, генерал выяснил, что молодой кинооператор, помимо профессиональных, обладает многими другими достоинствами: альпинист, каратист, активный общественник и член бюро горкома комсомола.

– Ну, вы как будто специально рождены для нас! – генерал всплеснул руками совершенно по-штатски. – Мы хотим запечатлеть нелегкий труд наших воинов-интернационалистов, и поэтому нам нужен талантливый оператор. Мы хотим показать жизнь наших воинов в горных условиях, и поэтому ваш альпинистский опыт будет как раз кстати. И наконец, нам нужны люди идейно закаленные, преданные нашим идеалам и готовые отдать за них в жизнь.

– Вы собираетесь послать меня в Афганистан? – спросил Петя упавшим голосом.

Улыбка первый раз сползла с лица генерала.

– Молодой человек, – сказал он тихо. – Вы знаете, что в армии лишних вопросов не задают.

Все в жизни взаимосвязано. Если бы Кукуша не встретила с Иваном Федосеевичем, внук Лукина не был бы вызван в военкомат. Если бы он не был вызван, то и его дедушке незачем было б ходить туда же. Если бы он туда не ходил, зачем бы Лукин звонил Андрею Андреевичу Щупову? Результатом всех этих встреч и звонков было срочное изготовление в промкомбинате Литфонда СССР по спецзаказу шапки пыжиковой пятьдесят восьмого размера.

Когда пришла моя очередь посетить Ефима, я уже знал, что шапку он получил. Что Петр Николаевич

Лукин лично доставил ему эту шапку в палату, сидел у него, рассказывал ему о своем боевом прошлом. Этим благородным поступком Петр Николаевич утвердил свой авторитет среди писателей. Все-таки хотя и кагебешник, а человек неплохой, не то что некоторые. Нет, конечно, если ему прикажут расстрелять, он расстреляет. Но сам, по собственной инициативе вреда не сделает, а если сможет, так сделает что-то хорошее.

Ефим лежал в небольшой двухкоечной палате с выздоравливающим стариком, который при моем появлении вышел. Голова Ефима была забинтована так, что открытыми оставались только глаза, рот и нос, с вставленной в него и прикрепленной пластырем пластмассовой трубкой, другая трубка от подвешенного к потолку сосуда была примотана бинтом к запястью левой руки. Я думал, что Ефим полностью парализован, но выяснилось, что правая рука у него все-таки действует, он ей гладил пыжиковую шапку, лежавшую у него на груди.

Не зная, чем его развлечь, я ему для начала рассказывал о шахматном турнире, выигранном его любимым гроссмейстером Спасским. Не видя никакого интереса к турниру, переключился на рассказ о нашем управдоме, который за проценты сдавал проституткам свою контору.

Ефим слушал вежливо, но в глазах его я увидел немой укор и смутился. Мне показалось, что взглядом он спрашивал, зачем я рассказываю ему такую мелкую чепуху, не имеющую никакого отношения к возможно ожидаемому им переходу в иную жизнь.

Устыдившись, я все же никак не мог сойти с колеи и рассказал что-то уж совсем глупое, опять какую-то историю про Маргарет Тэтчер и Нила Киннокка, причем историю, мною самим тут же и выдуманную. Наконец, почувствовав, что все мои потуги не могут вызвать в больном ничего, кроме желания от них отдохнуть, я решил, что пора и откланяться.

– Ну, – сказал я нестерпимо фальшивым тоном, – хватит, старик, придуливаться. Следующий раз встретимся дома, покурим и перекинемся в шахматишки.

Дотронувшись до его плеча, я пошел к выходу и уже взялся за ручку двери, когда услышал сзади резкое и мучительное мычание. Я встревоженно оглянулся и увидел, что Ефим манит меня пальцем здоровой правой руки.

– Умм! – промычал он и пальцем потыкал в шапку.

– Ты хочешь, чтобы я ее положил на тумбочку? – спросил я.

– Умм! – издал он все тот же звук и качнул рукой отрицательно.

И на мой недоуменный взгляд еще раз потыкал в шапку и показал мне два вяло растопыренных пальца.

– Ты хочешь сказать, что у тебя теперь две шапки?

В ответ он уже не замычал, а завыл, затряс раздраженно рукой. Видно было, что его удручает моя непонятливость, а ему очень нужно донести какую-то важную мысль.

– Умм! Умм! Умм! – исторгался из него беспомощный крик души, и два полусогнутых пальца, как две запятые, качались перед моими глазами.

– А! – сказал я, сам не веря своей догадке. – Ты имеешь в виду, что ты победил!

– Умм! – промычал он удовлетворенно и уронил руку на шапку.

Уходя, я еще раз оглянулся. Закрыв глаза и прижав к груди шапку, Ефим лежал тихий, спокойный и сам себе усмехался.

В ту же ночь он умер.

Хоронили Ефима по самому последнему разряду, без заезда в ЦДЛ и без музыки. Был уже конец марта, светило тусклое солнце, и из-под прибитого к стенам морга темного снега выползали медленные ручейки. Ворота морга были распахнуты настежь, похоронный

автобус запаздывал, среди толкущихся вокруг гроба я встретил Баранова, Фишкина, Мыльников и еще не помню кого. В головах стояли Кукуша в черной шляпе и ниспадающей на глаза черной вуали и Тишка, который в заложенной за спину руке держал (я обратил внимание) не пыжиковую, а подаренную ему отцом волчью шапку. Голова Ефима была аккуратно перебинтована, но все лицо оставалось открытым и выглядело умиротворенным. Я положил к ногам покойника свой скромный букетик, обнял Кукушу и пожал руку Тишке. Здороваясь с другими, я заметил и Трёшкина. Он пришел, кажется, позже меня и вел себя страннее обычного. Кособочился, дергался и озирался так, как будто собирался что-то украсть или уже украл. Приблизившись к гробу, он наклонился к покойнику, поцеловал его в забинтованный лоб, а потом долго и пытливо вглядывался в застывшие черты, словно пытался прочесть в них что-то понятное только ему.

Меня кто-то тронул за локоть, я оглянулся – Кукуша.

– Тебе не кажется, что он себя странно ведет? – прошептала она, указав глазами на Трёшкина.

– Он вообще странный, – сказал я и увидел, что Трёшкин быстро перекрестил Ефима, но не тремя пальцами, как обычно, а кулаком, а потом сунул кулак в гроб, куда-то под шею покойного и тут же выдернул.

– Ты видел? – шепнула Кукуша. – Он что-то туда положил.

– Сейчас выясним.

Я подошел к гробу и оглянулся на Трёшкина. Тот внимательно следил за моими движениями. На его глазах я сунул руку под шею Ефима и сразу же нашел сложенный в несколько раз лист бумаги. Я вынул бумагу и стал разворачивать.

– Стой! Стой! – подлетел Трёшкин. – Это не трогай, это не твое. – И протянул руку.

– А что это? – Я убрал руку с бумажкой за спину.

– Неважно, – глядя на меня исподлобья, буркнул Трёшкин. – Отдай, это мое.

– Но вы, – приблизилась Кукуша, – не имеете права лезть в чужой гроб без разрешения и класть посторонние предметы.

Она взяла у меня бумажку и развернула. Я заглянул через ее плечо и увидел слово, написанное крупными косыми буквами и с восклицательным знаком в конце: «Операция!»

Трёшкин смутился, задержался, не зная, как себя вести.

– Что это значит? – нахмурила брови Кукуша.

– Ну, это значит, он мне загадку загадал. А я разгадал, а он помер. Ну, я думаю, надо все-таки положить, может, там прочтет. Может, знак какой подаст. Отдайте! – попросил он страстно. – Я положу обратно. Не мешает же!

За воротами заурчал только что прибывший автобус.

– Все равно сгорит, – вздохнула Кукуша и, вернув Трёшкину записку, пошла к выходу.

Пока автобус разворачивался и сдавал задним ходом, во двор въехала и остановилась в стороне черная «волга». Из «волги» вылез Петр Николаевич Лукин, стягивая по дороге синий мятый берет с хвостиком посередине. Приблизившись, он посмотрел на покойника, пошептался о чем-то с Кукушей, затем стал у изголовья гроба и произнес речь, в которой перечислил все заслуги Ефима, не забыв про его фронтовое прошлое, восемнадцать лет в Союзе писателей и одиннадцать напечатанных книг. А еще сказал, что покойник был человеком мужественным и хорошим, сам был хороший и в жизни видел только хорошее. Я думал, что Лукин скажет что-нибудь про людей, которые видят только плохое, потому что сами плохие, и при этом посмотрит на меня, но он этого не сделал и закончил свою речь

обещанием, что память о Ефиме Семеновиче Рахлине навсегда останется в наших сердцах.

Потом мы ехали к крематорию на двух автобусах, мне досталось место в том, где стоял гроб.

На Садовом кольце мы попали в «зеленую волну» и двигались почти что без остановок. Ефим лежал передо мной с высоко поднятой забинтованной головой, с заостренным носом, закрытыми глазами и таким выражением, словно был сосредоточен на какой-то серьезной и важной мысли. Автобус то останавливался, то снова стремился вперед, солнечные пятна врывались внутрь и скользили по упокоенному лицу, словно отблески того, о чем он думал. И в эти отблески напряженно вглядывался сидевший напротив меня Васяка Трёшкин. Рядом с ним о чем-то неслышно переговаривались Баранов и Тишка, Фишкин безучастно смотрел в окно, а в ухо мне вливался шепот Мыльникова, который, не упуская подробностей, пересказывал мне статью о нем, напечатанную в «Нью-Йорк ревью оф букс».

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

НОВЫЕ СОНЕТЫ

Памяти К. Б.

СВИДЕТЕЛИ

Я – старый кровью пахнувший подъезд
Я – громкий лифт
Я – угол полный пыли
Я – процарапанный на стенке крест
свидетельствуем: тут его убили

Здесь всюду отпечатки пальцев есть
Мы – лампочки в затылки им светили
Что́ это было? суд? расправа? месть?
А ты тихоня замшевый – не ты ли?,,

– А я? Что – я? Гулял с собакой. Пудель
все беспокоился... на коврике напрудил...
(рот чувственный – в глазах собачья грусть)

– Ни сном ни ду... не видел и не слышал...
Днем позже – да! – другим подъездом вышел
вся Усиевича свидетельствует пусть!

СМЕРТЬ КРОТА

Из снега Верный выхватил крота
и выронил – затряс как бы обжегся
Там – талая вода и чернота –
он там – схватил и вновь поостерегся

Как с мышью кошка он играл с кротом...
По-зимнему стучал в деревьях дятел...
Обнюхал шкурку плоскую потом –
и сразу интерес утратил

Мы ближе подошли и удивились
зачем слепой глупыш наружу вылез?
Но видно землю разморило всласть –

вся в корешках набухла засочилась...
И он проснулся... Тут-то и случилось
Горячая как печь собачья пасть!

СТОЛИЦА

Гранитный парапет. Москва – река
С утра такси несутся от вокзалов
Миллионы пришлых тьма провинциалов
кипят как дрожжи в капле молока

Ночная – корпусами облаками –
незрячий взгляд разжатая рука –
раскинулась – и дышит словно Каин
в беспамятстве – уж очень велика

И снова «холодок бежит за ворот»
Для интуриста скучен этот город –
ни супер-шоу ни реклам ни сект...

Но вдруг пустеет Ленинский проспект –
от Внукова как будто ветер вытер
Текут машины – гость или правитель

МОСТ

Бородачи пузаны – малышня
гуляем во дворе нарядных ясель
лепечем и пузыримся: ня-ня
Визжит как смерть! – упал и нос расквасил

Влез на горшок величие храня
Все девочек исследует – мамасик
Обиделся – не поняли что классик
Дым! ссоры! обезьянник! злоба дня!

Когда иду я через Крымский мост
крутые фермы – балки вперехлест
заклепки в два ряда – стальные шляпки

весь в солнце – над рекою – в пустоте
теряя чешую монетки перья тряпки
завидую высокой простоте

БОРИС ГОДУНОВ

Явился самозванец самиздатом
«Тень Грозного меня усынови...»
Мнил – цезарем любимцем меценатом
Отторгнут – чужеродное в крови

Развращены бездельем блудом блатом
ворье и грязь – кого ни назови –
сопливась от усердия и любви
да! – сильного признаем Старшим Братом

И между тем как свиньи жрут почет
толкается – под ребрами печет
и чует правду – прожигает просто

«Тень Грозного?» – Встряхни ж нас царь Борис
да крепче поухватистой берись
чтоб отлетел весь мусор гной короста

ПИТЕР

Ни лошади на Аничковом ни да-
же Летний сад осеннею порой
ни бывшей и стареющей обида
ни бог ни царь ни змей и ни герой

ни в ЕВРОПЕЙСКОЙ лилии модерна
ни ростры – их русалочки хвосты
ни что что всем хронически вам скверно –
в муть – в душу разведенные мосты! –

Другое помню. Утром у вокзала
шла троица – ночной триумвират:
большой как блин дворовый опивало
алкоголичка – косточка рабочья
и рыженький – сомлеешь встретив ночью...

Им двигался навстречу Л е н и н г р а д

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

*при получении похоронного
извещения с черным крестом
из Праги*

Мой тесть – Гуревич Александр Давыдович
и кларнетист из Праги – Глеб Ерохин
солагерники – что вы там навиделись! –
и снова вместе – тени духи вздохи...

И собеседник мой пожалуй с виду лишь
еще живой – он мертв – и ухо в мохе –
кариатида вымершей эпохи
и заново ему себя не выдумать

А в памяти живет и ходит Прага –
в глазах блестит предательская влага –
как бриллиант весь мир омыт в апреле

Вон Циферов идет по тротуару –
с ним Федоров... И эту знаю пару
Кто умер тот живой на самом деле

УРАЛ – зимой 1950

Сугробом кровля – овощехранилище
С зарей приводят женские бригады –
штаны платки бушлаты и заплаты
Внизу – темно и скользко – запах гнили еще

Зато попеть позубоскалить рады
всему научат в лагере – училище
А эта блядь откуда еще вылезла? –
Глаза блестят и губы виноваты

– Тоскует дура по тебе траншея! –
Из-под тряпицы тоненькая шея –
картофелина вроде проросла

Вверху белеют смутные окошки...
Возились двое на горе картошки –
Да это ведь любовь у ней была!

АРМЯНСКИЙ СОНЕТ

Горелым пахнет. Безбородый – Гош
здесь книги прятал. Свод блеснит от копоты
Да! Тимур-ленг пришел в огне и топоте –
и до сих пор здесь дух паленых кож

Внизу деревня: трактор свиный грязь
и дом из туфа – розовый – ДОМ БЫТА
Века назад все орошено забыто –
дымится и живет не торопясь

Но черные небритые мужчины
на площади стоят не без причины
и тот старик похож на книжный знак

Любой из них – придурковатый самый
хранит в себе и смысл и крепость храма
хоть самый храм их – брошенный очаг

ЛЮБОВЬ

Надежде Януариевне Рыковой

Пообещала – значит выйдет скоро
Одну бутылку подобрал в подвале
другие две строители мне дали –
купил трески и пачку БЕЛОМОРА

В окно стучал – играл как на рояли
«май дарлинг» вызывал для разговора
шипел мяукал – приняли за вора
Ушел в подъезд – и там меня прогнали

Что бормочу лишь ей одной понятно
Вон за стеклом – и нос ее и пятна
и вертикальный с золотом зрачок

Отец ее и враг из дома вышел
Зачем сказал он то что я услышал? –
«Влюбленный в нашу кошку дурачок»

ПОЛЯНА В ГОРАХ

Вся в воздухе – стеклянная поляна
лишь тикающий шорох из тумана –
с деревьев тающий и падающий снег

Там – замирающие наши разговоры
и оплывающие кельнские соборы
и осыпающийся псевдо-человек

И если слушать в молоке в лесу ли
и снега хруст и отблеск как бы хруст
то различишь дыхание косули
и глаз ее армянский полный чувств

А если выше выше всей поляной –
всем слухом подниматься в тишину
то станешь белой бабочкой стеклянной
иль просто каплей слышащей весну

КОКТЕБЕЛЬ

Памяти Коктебеля

Меж Карадагом и Хамелеоном
как серая жемчужина залив
Художник на скамье нетороплив –
рисует скалы точек миллионом

Полынным кругом горы очертив
сказал Господь: «Здесь будет хорошо вам»

и в солнце на тычке вином дешевым
упился интеллект как примитив

Где бабочкой в рубаше плыл Волошин
хип «ловит кайф» витийствует взъерошен
– Письменники здесь пишут похабель

И самый цвет махровым их идеям
живую душу сделали музеем
и Планерским назвали Коктебель

Михаил Крепс

ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС

Стихи

Париж - Нью-Йорк, «Третья волна», 1986,
142 стр.

БУТОН ГОЛОВЫ

Стихи

Филадельфия, «Встречи», 1987, 192 стр.

В сборниках представлены лучшие лирические
и метафизические стихи поэта.

Обе книги можно заказать по адресу:

Encounters (Vstrechi)

7738 Woodbine Ave.

Philadelphia, PA 19151, USA

Памяти Виктора Платоновича Некрасова

ПЕРСТ СУДЬБЫ

Не было ни знамения, ни видения, ни голоса. Ни кометы, ни трубного гласа, ни рыбного дождя. Всё было крайне буднично. Но высоко-высоко, в невообразимом эфире пошептавшись, перестроились планеты. Кто обратил внимание на такую ерунду! А уж Витька тем более. Хотя это и были его планеты. И судьба его с этого мига, повинувшись космической воле, начала постепенно закручиваться в спираль, энергично гримасничать, вибрировать и краснеть от натуги. Она готовила себя к перелому.

Ну, а Витька? Он брел по перрону Киевского вокзала и прикидывал варианты. Денег не было. То есть абсолютно не было, даже пятака. Все было прогулено в Москве, а последняя трешка была заплачена проводнику за проезд до Киева. В авоське было только пахнущее псиной вафельное полотенце и полкоробки зубного порошка.. Одет он был модно, но грязно – надежда на продажу барахлашка исключалась. Хотелось есть. Было 28 августа 1962 года.

Подобрав бычок почище и пожирнее, Витька закурил и безвольно, под предлогом, что надо подумать, развалился на вокзальной скамейке. Судьба его плюнула в сердцах – апатия подопечного ее раздражала. «Балбес, балбес, – выходила она из себя, – да глянь ты хотя бы туда!» И подтолкнув Витьку, ткнула перстом в сторону. Он повернул голову и опешил. Возле монументальной урны стояли четыре большие, по 17 копеек, бутылки. Душа его возликовала, развернула знамена, ударила в барабан. Под этот барабанный бой Витька пересек

привокзальную площадь, сдал бутылки и немедленно выпил кружку пива. Купил папирос. Жизнь стала несравненно лучше.

Подсел человек, явно ханыга, и, одарив слабоумной улыбкой, попросил папиросу. Витька угостил. Расчувствовавшись, человек предложил съездить в центр, походить по местам, где люди выпивают, посшибать пустые бутылки.

Витька взглянул на него надменно и промолчал. Мысль была дельная, но компаньон не внушал доверия. «Да что бутылки, – загорелся своей идеей человек, – вполне может, что и угостят. Я вот сегодня оприходовал утром стакан. Люди налили, в скверике, возле Пассажа».

Витька вздрогнул и посмотрел судьбе в глаза. Та довольно прищурилась – мол, наконец-то, дошло до тебя, недотепы.

Пассаж! Да там же Некрасов живет, писатель. Сколько мама рассказывала, написать ему надо, все говорила, а то и заехать. Когда-то дружили, в театре когда-то работали. А сейчас он знаменитость, «В окопах Сталинграда» написал, а дома у него даже домработница. Лет пять назад заезжала мать к ним, не застала, на курорте, сказали, был.

Вспоминая мамины слова, Витька открыл записную книжку. Есть! Некрасов В. Виктор, а по отчеству? Неизвестно, ну да и хрен с ним! Он подбежал к будке, набрал номер и вспомнил вдруг о Боге. Господи, хотя бы дома был, Господи, а то писатели эти знай по курортам шастают, Господи! – молитвенно пришептывал, считая телефонные гудки. На четвертом трубку сняли: «Да!» – «Здравствуйте, это сын Галины Викторовны, помните ее? Я вот в Киев случайно попал, да уехать не могу, не одолжите ли на билет?» – «Ну, зайди. Часам к восьми, – писательский голос звучал даже как-то дружелюбно. – В Пассаж, номер 15. Ты знаешь, что такое пассаж?» – «Знаю, знаю, спасибо, извините, если бы не та-

кая ситуация, я бы не позволил себе...». – «Ладно, заходи».

В уборной на вокзале Витька набил рот зубным порошком, пальцем почистил зубы, умылся, но вытираться не стал – боялся завоняться от полотенца. Но и выбрасывать было жалко. Поаккуратней завернул его в газету, сунул под мышку, посмотрел в зеркало. Небритый, потный, весь мятый. Огорчился – с такой мордой самое большее пятерку можно просить. Да и то, даст ли еще?

Хотелось прийти по-джентльменски, ровно в восемь, как назначено. И у Пассажа был заранее, за час. Рядом с аркой, возле гастронома, кипела малознакомая, столичная жизнь. Одетые, видимо, по-заграничному парни кучковались, переговаривались, банковали. Некоторые суетились. Выходившие уже с бутылками из магазина вели себя сдержаннее, как бы никуда не торопились, не спеша уходили группками. Самодовольные, уверенные в том, что выпьют, мужики вызывали зависть. Витьке стало невмоготу. А времени – всего полвосьмого. Но тут опять не выдержала судьба, психанула: «Что ты, козел, махорку трусишь?! Иди уже, иди!»

Она знала, судьба, о чем говорила. Витька застал писателя на пороге, закрывающего на ключ дверь. Рядом стояла маленькая старая женщина в пенсне, подореволюционному в длинном платье и соломенной шляпе. Писатель бойко поглядывал и, спускаясь по лестнице, расспрашивал – где живете? как мать? а где отец? Внизу приостановились. «Ты извини, мы на концерт идем. Сколько тебе нужно?» Сердце заухало, ярко представилась суeta возле гастронома, от приступа наглости заложило уши. Деловым, в меру просящим голосом Витька сказал: «Тридцать рублей, если можно...» И потупил глаза, дескать, обстоятельства заставляют потревожить, что поделаешь, так бы никогда не посмел... Писатель достал деньги, можно сказать даже пачечку, отсчитал и протянул: «Держи. Если негде бу-

дет спать, приходи». Мама писателя приветливо улыбнулась, покивала головой, да-да, приходите, вам решительно нечего стесняться... Витька расшаркался по-кавалергардски, уверил ее, что непременно, спасибо великое. С достоинством пожал руку писателю, мол, благодарю еще раз, в ближайшее время верну... «Ладно, ладно, валяй, веселись!» – ответил тот с улыбкой. И они медленно пошли в сторону Крещатика, под руку, чинные, все в белом, но писатель почему-то в ветхих сандалетках без носков. Витька же боком-боком, через скверик, в магазин «Вино», и взял стакан роскошного портвейна «Пино-гри»...

Знакомство состоялось. Судьба осталась довольна. Но откуда было знать ей, простой провинциальной судьбе, о чем шептались, перестраиваясь, планеты? Откуда было знать им, Витьке и его судьбе, что в эти минуты все начало поворачиваться по-другому, по немыслимой, невероятной, фантазмагорической траектории, по какой-то поразительной, нерукотворной кривой, с грядущими кошмарными потрясениями и неземными радостями...

Произошло это ровно двадцать пять лет назад.

28 августа 1987 года

КОНДЫРЕВ Виктор Леонидович – родился в 1939 г. в Ростове-на-Дону. Горный инженер. С 1976 г. живет в Париже. За книгу «Сапоги – лицо офицера» получил премию им. Даля за 1985 год.

ОДА
на вступление великого русского человека
Андрея Дмитриевича САХАРОВА
в Москву

Что ни прииму – боян ли, гусли,
Тем паче не университет, а ясли,
Полные сену, сижу где – гусь ли,
Индюк ли надутый, дýши погрязли
Мощь и здоровье зимы в начале,
Коей роптанье земли венчали
Три ипостаси Господа Бога.
Так вот, не возьму в ум, есть ли умение
Воспеть на лире, да пясть убога –
СТОЛИЦУ ТРУДЯЩИХ! –
не свое именье.

Тредиаковский! твоя силлаби-
камнем на шее меня, буяна-
Острова и злоязычна, хляби
Волжских водохранилищ, спьяна
Запроектированных, затопили:
И мы топили – мед-пиво пили –
Печку-буржуйку книгами! –
нишкни,
Василий Кириллыч, сидя на горке
Своего олимпийства, но ведай – Нижний
Новгород переименован в Горький.

Твои ли правила, Михайло Ломо-
носов, постичь наступило время
Медведем на ухо? – но против лома
Нет приема в ОВИР еврея,

Затосковавшего по историческ-
ой родине у электричек,
За колбасой идущих в столицу
Из бедного Горького, с голодухи
Где рабоче-крестьянские лица
Боле походят уже на духи.

Во стихотворчестве, разумею,
Женскую рифму пора с мужской
Чередовать. Горынычу-змею
Железнодорожной башкой
Пора поступиться! Пресечь пристало
Иго любви к!

И сквозь кристалла
Магического, Сумароков, вижу,
А на задворках сподручно лажу
Буквою «Г», Ломоносов, вышку,
Чтоб различить коммунизма лажу.

Три зачинателя русской оды! –
Два академики и директор
Театра военных действий – моды
В изящной словесности вечной: рек-то
Первым который из вас на друга
Хулу непотребну!?

Спившись с круга
В тридцать седьмом, поди, Ломоносов
В Марбурге и затевает свару,
А Тредьяковский у самовару
На Сумарокова шлет доносов.

И возложи тут персты на лиру
Вину пера гусяного, меру
Чтя обстоятельств места! Солируй
На балалайке, блюда манеру
Одическу увековечить **ДЕЙСТВО**
ВСТУПЛЕНИЯ – под барабаны детства

Лагерных пионеров – милици-
я, как говаривал ассенизатор
И говновоз, бережет на завтра –
АКАДЕМИКА САХАРОВА В СТОЛИЦУ!

Но должно осметить семо и овамо, –
По норме новой просодии – в оду
Вогнав, богатство Москвы и яму
Зарыть между делом и словом – в воду
Концы с концами всегда сойдутся
У ИДЕОЛОГА – куда б ни деться
Ему! – **МОСКВЫ КАК ТРЕТЬЕГО РИМА,**
Стоящего на отходе второго
Тысячелетия так, что корова
Последняя вымерла и – незрима!

Чего только нету во стольном граде!
И хлеба нету, и воли нету,
И – Храма Христа-Спасителя, ради
Какого жизнь положить корнету
Голицыну было не жалко в двадцатом, –
Как распевают, Нескушным садом
Идучи не в ногу, подростки,
Не в ногу с веком и не по следу
Воинской славы, напоследок
Разгромив не-есенинскую «Березку».

Москва готовилась к обороне
Не год, не два и не пятилетку
Загодя,
 обнося – вороне
Даже было не уркнуть в клетку,
Крылья ломая, забора колючей
Проволоки – в три полосы из лучшей
В соцлагере проволоки заграждений
Возводила линию обороны,

Работая на полные обороты
Под страхом взысканий и награждений,

Москва! Как много в этом звуков
Глушилок воздухе, ибо тело
Астральное инакомыслия внуков
Наших чревато переворотом. Дело
Защиты столицы нуждалось в плане
Противотанковых рвов. На аэроплане
Полководец, израдно кружа над станом
Противника, проектировал лихо
Ополчение от мала до велика
Народу в бой, как с Афганистаном.

Москва впервые под Волоколамском
И на Калужской заставе бреши
Оставила, рыть кнутом и лаской
Понуждая окопы с востока, реже –
Поощряла ревнителей аэростатов,
Кавалерии, парусников. Супостата
Намереваясь встретить во всеоружье
И наповал в дедуктивном смысле,
Москва, как варягов – при Гостомысле
Новгород, – изготавливала ружья!

К штыку перо прикрутив гусино-
елико возможно, как рекрут, танку
Навстречу мерещамуся, в атаку
На супротивника в роли сына
Отечества велеречивой оды
Иду на-ура сквозь огонь и воды,
Медные трубы гремят, огласки
Неустрашимы и торжества надеясь! –
Бронепоезд 14-69
Вступает исподволь на Ярославский.

Вотще ополченье, народ орущий
Даром, ртачилось устоять – из войска

Рать побежала, лишь – из всех орудий
С плеча духового воспроизводства
Меди литавр – грянул «марш славянки»
Так, что корреспонденты-янки,
Англо-саксы, японцы присели, в оба
Глядя и не понимать балдея:
**ВЫХОДИТ ОТЕЦ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ,
ОСОЗНАВШИЙ ГЛУБИНУ СВОЕГО ПАДЕНИЯ,**

...О, трижды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Стали-
Н-ской премий, Орденосец, Кава-
лер Справедливости-Правды, стали
Несгибаемой, стало быть, Силы Воли,
Высвобождающий из неволи
Узников Совести не оружием –
Единым усилием Великого Духа! –
Летописец прибавил бы, негодуя:
«Бей врага, его же хорунжий!»

Итак, заключаю – не как наследник
Славы тредияковской – в крепость
Оды САХАРОВА, но – как последний
Из бежавших суда за автомобилем, лепость
Момент истины осознавая,
Обгоняя троллейбуса и трамвая, –
За автомобилем с толпой, числом безмерней
На – Красной площади, который – рода
«Жигулей» – увозил на глазах народа
АКАДЕМИКА САХАРОВА В БЕССМЕРТЬЕ.

23. 12. 86 – 03. 02. 87

РОДОСЛОВНАЯ

Воскресенье, 30 мая, вечер

Я дал разъехаться домашним. Зина (жена моя) еще не вернулась с дачи. Наверное, и Юрочка там.

Из комнаты в кухню, из кухни в комнату.

Боюсь подойти к рабочему столу. Душно, все окна в квартире раскрыты. Конец мая. Конец. Всему конец.

Вспомнить страшно. Вот так, запросто, за один вечер – и перечеркнуты 20 лет научной карьеры. Одним махом. Страшно подумать. Кто я теперь? Можно не сомневаться: из института придется уйти. Безлично-обтекаемая формулировка. Формулировочка. Еще бы, не хватало, чтобы меня по-простецки выгнали, выперли. Меня, профессора, доктора филологических наук, начальника над полувековым отрезком местного литературного процесса – от Чехова до раннего Горького! Почти что номенклатурную единицу! А ведь выгонят. Выгонят – и будут совершенно правы.

Я ничего, ничего другого не умею делать, кроме тихих государственных книжно-бумажных дел. Даже электропроводку, как это обычно в таких случаях говорится, починить не в состоянии, кошке хвост завязать...

Хорошо. То есть ничего хорошего.

Хуже всего, конечно, что я лишусь допуска. Тут уж и к бабке не ходи – лишат. Есть за что. А что я буду без института? без отдела редкности?! без архивов? Нуль.

Минутку. Может быть, не поздно поправить. Телефон. Набрать 03. Когда придет машина... бумаги порвать, побить посуду, выпить... что бы выпить такого? чернила? Открыть газ в кухне. Болен, нервный срыв – с кем не бывает? Берите, голубчики, под белы ручки,

Рукопись получена из Ленинграда. – Р е д.

глядишь и обойдется. Они мне: вандализм, а я им справочку из диспансера. Болен был.

Боюсь. Боюсь психиатрической лечебницы. Ничем не мотивированный страх. Там лечат. Этого-то я и боюсь. Вдруг я действительно болен? Нет.

Из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Ван Гог, прогулка заключенных.

Стоп. Вернемся к началу. Попробуем трезво разобраться. Нелицеприятно, так сказать. Словесный мусор. Мерзость.

Вчера. Вчера вечером – что это было? Помрачение ума? Возможно ли, будучи в здравом уме и ясной памяти (так сказать), испортить, измарать, изгадить бесценный чеховский автограф. И если бы просто изгадить! – нет, произвести нечто вроде самодонса, прямиком в партком, простите за раешник, – к Сергей Сергеичу.

Автографы чеховских писем... Хер с ними, с письмами, невелика потеря. Но рукопись! Как-никак беловик «Скучной истории», не хухры-мухры. Скandal неминуем.

Нефилологу трудно вообразить весь ужас, всю чудовищность содеянного мною. «Содеянного!» – ишь ты, так и пахнуло унылым ужасом судебного дела. Пытаюсь представить: вот мне рассказывают, что кто-то из моих коллег... Даже и не представить, воображение отказывает.

Полнобуемся. Подхожу к столу. Наклоняюсь.

«Над рассказами можно и плакать и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, это нужно делать так, чтобы читатель не заметил... Чем обыкновеннее, тем сильнее выходит впечатление».

Знаменитое письмо Чехова к Авилловой от 29 февраля 1892 года. Касьянов день. Поверх чеховского – мой, бисерный, но отчетливый почерк: «Фальшь, везде у него фальшь. Какой к чёрту читатель! Надоели эти игры, надоели безумно. Писатель, играющий в прятки, читатель, делающий вид, что деньги, плаченные за

чтение, получили духовное и надежное употребление. Давайте говорить друг другу комплименты. Карты ваши, деньги наши. Все довольны».

Чушь. Что я имел в виду, когда писал все это?

Попадается другой лист, вглядываюсь.

Чехов – Лазареву-Грузинскому, 13 марта 1890 года:

«Стройте фразу, делайте ее *сочной и жирной* (подчеркнуто автором письма. – Е. К.)... Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня 2 и *обмаслилась* (подчеркнуто мною. – Е. К.)...»

Я, красными чернилами, наискось, поверх когда-то черных, но теперь выцветших и почти коричневых чеховских:

«Лабазник, аптекарь, сука продажная. Жопу подтереть твоими рецептами в сортире совписа. Воротит меня от семги твоей словесной. Впрочем, всем нам, литературным икроедам, урок: главное, чтобы обмаслилось. Сделалось съедобным, а там и на рынок можно, к лотку. В приемную главлита».

Откуда столько злобы? Всегда считал себя человеком незлым, мягким... Не знал себя, стало быть. Не знал.

И вот она, тут, стопкой сложена, бумага приличная, совсем не пожелтела, плакать хочется. Беловик, текстологическая жемчужина – беловик «Скучной истории», а на обороте каждого листа – с новой, параллельной, моей нумерацией страниц – разворачивается записанная без единой пометки история моей жизни, духовная, что ли, биография нашего современника. Убрать, убрать немедленно с глаз долой. Куда? В сортир, естественно. Несу, зажигаю свет, кладу поверх сливного бачка. Красивая стопка. Красивая жизнь.

Самодовольный, якобы эпический тон неторопливого, отстраненного рассказа. Немного иронии, совсем мало. Нет у меня чувства юмора. Зина тоже считает, что нет. Зачем? Для чего написано? Не знаю. Потребность души. Рекорд графомании. А ведь я офи-

циальный писатель, автор трех десятков книг, член союза. Член.

Перечитываю.

«Меня зовут Евгений Владимирович Комиссаров. Отец мой был тоже Комиссаров, правда, не всю жизнь, а лишь последнюю половину. Начальную часть ее он провел под фамилией Сукин. Поэтому по праву не только чувствую, но и осознаю себя сукиным-сыном. Косвенной причиной комиссаризации Сукиных послужила судьба моего деда, а точнее – обстоятельства его смерти. Дед мой прославился как сподвижник Скобелева, служа бессменным адъютантом Белого генерала не только в баталиях, но и в делах более интимного свойства.

Дед убила не революция. До 17 года он не дожил. Он умер не от ран, не на боевом коне. Он скончался в Галиции в чине генерал-лейтенанта. Его убила, если можно так выразиться, любовь, ибо он найден был голым и уже коченеющим в постели рядом с перепуганной до смерти полячкой, тоже, к прискорбию, совершенно голой, что, даже при тогдашнем повреждении армейских нравов (октябрь 16, разгар брусиловского наступления), произвело шокирующее впечатление на великого князя Николая Николаевича – и тот отказался дать ход прошению вдовы генерала относительно пенсионна.

Полячкой не без оснований занялась контрразведка, и впоследствии скандальная история смерти моего деда дошла в искаженной версии до беллетриста Алексея Толстого, который соорудил на ее основе известный порнографический рассказ «Возмездие».

Когда, классе в 9, мы, пятнадцатилетние онанисты, читали вслух наиболее пряные места из «Возмездия», мне и в голову не могло прийти, что описанная там технология французских штучек имеет к моей жизни не только непосредственное, блаженно-тактильное касательство – но и более глубокое, родовое.

Как бы то ни было, Сукины пресекались на моем деде. С отца начались Комиссаровы. Узнав об обстоятельствах гибели деда, отец мой, служивший в то время при штабе Юго-западного фронта, в попытке спасти если не семейную честь, то хотя бы собственную карьеру, обратился непосредственно к министру двора графу Фредериксу с прошением сменить фамилию Сукин на любую другую. Последовал высочайший отказ, который, однако, никакой юридической силы уже не имел, так как был подписан тем же вторым марта, что и более известный документ – отречение от престола последнего русского царя.

Разбирая отцовские бумаги после его смерти в 1956 году, я обнаружил желто-серый номер «Известий Псковского совета рабочих и солдатских депутатов» от 23 февраля 1918 года, где на четвертой полосе, среди других аналогичных объявлений («Залупаев меняет фамилию на Володин», «д-р медицины Бурмистров меняет фамилию на Буров», «письмоводитель губернского совдепа С. Т. Оболенский-Рыло меняет фамилию на Крылов»), прочел и такое:

«Военспец военревотдела совдепа гр. (скорее всего гражданин, а не граф: мы, Сукины, графами никогда не были) В. Н. Сукин меняет фамилию на Комиссаров».

Отец попал в самое яблочко. Когда в 37 году разоблачили помершего к тому времени Брусилова, мой отец, бывший в двадцатые годы ближайшим сотрудником Брусилова по кавалерийской инспекции РККА, теоретически не имел шансов миновать Лубянку, Лефортово и последующую (в лучшем случае) Колыму. Однако руку, подписывающую приказ об аресте врага народа Комиссарова, остановила, полагаю, именно фамилия, которую даже на бумаге опасно было расстреливать. Отца просто-напросто убрали из Главного штаба и перевели в Ленинград, в штаб округа. Мне тогда не было и года.

Самая сочная и аппетитная часть моего детства прошла в эвакуации. Войну мы прожили в Куйбышеве и – сравнительно с другими семьями – благополучно. По крайней мере, я не помню, чтобы в детстве когда-нибудь бывал голоден. Благополучие преследует меня всю жизнь. (Преследовало до вчерашнего дня. – Прим. Е. К.)

Итак, я с гордостью осознаю себя Сукиным-сыном. Нынче родовая гордость – чувство рудиментарное. Но отворачиваясь от настоящего, не нахожу ничего лучше, как обратиться в прошлое. С надеждой.

Да, мы, Сукины, столбовые дворяне. Вещественное доказательство моего дворянства лежит в центральном ящике письменного стола. Это пергамент, чудом уцелевшая грамота с печатью Великого князя Московского Ивана Васильевича (III-го). Из документа явствует, что пращуру моему, беглому ордынцу Сюинбеку, по крещении его в Симона, жалуются деревенька Сукино близ Владимира. Жалуются на прокорм и за службу.

На исторической арене мои предки появляются столетие спустя, во времена опричнины.

Правнук Сюинбека, Василий Сукин, заседал на Стоглаве, а потом прославился при разорении Новгорода в 1570 году. В псковской летописи я обнаружил рассказ о том, как (цитирую по памяти) «царевы люди Васька Сукин и Федька Шибанов хульны словесы изрыгаху на владыку Феофила (тогдашний псковский епископ. – Прим. Е. К.) омофор срываше и панагию, самого же Васька Сукин ногами топта, повалиши наземь».

Изрядно потрудясь на царской службе во Пскове, Васька Сукин вскоре, видимо, после описанных событий крепко осел и укоренился на Псковщине, потому что именно с конца XVI века род наш значится по псковским разрядным книгам. Да и деревенька Сукино, впоследствии сельцо, почему-то оказалась не под Владимиром, а в Новоржевском уезде.

До реформы 61 года мы владели там четырьмя деревнями, из которых три сохранили свои прежние на-

звания и по сю пору – Клопы, Становники и Егори-хино.

Родовое же наше имение Сукино с лица земли стерто было летом 18 года, а одноименное село переименовано волисполкомом в 23 году в поселок Коммунар.

В Егорихине жили старообрядцы рогожского согласия – так рассказывал отец, – и Сукины издревле благоволили им, благо егорихинские были крестьяне выгодные, зажиточные, непьющие и крепкие в нравах, а оброки плачивали тысячные.

В той деревне все мужики звались на одно имя: Егор Егорычи Егоровы, оттого и Егорихино. То ли они конца света ждали, когда Георгий Победоносец объявится на коне с копьем против никонианского дракона – ну, тут сразу своих и узнает, то ли зарок какой существовал, как бы то ни было, сплошные Егор-Егорычи: Егор-Егорыч-косой, Егор-Егорыч-у-запруды, Егор-Егорыч-пасака – кто где жил и чем занимался, тем и различались.

Мои нынешние литературные интересы не случайны, как вы и раньше могли заметить (Алексей Толстой и наше семейное предание). Они уходят вглубь столетий и в своем роде – закономерная дань фамильной традиции. С нашими, сукинскими землями граничили земли Ганибалов. В позапрошлом веке между Сукиными и Ганибалами шла форменная война. Кто-то из них, из Ганибалов, даже Новоржев приступом брал после правильной осады – с подкопами, эскарпами, регулярной артподготовкой и прочими ухищрениями новейшего военного дела. Почему? Пушкинисты до сих пор строят различные предположения. Думаю, что не ошибусь, указав причину, известную мне опять-таки по семейному преданию.

Дело в том, что Ганибалова смертельного врага, полковника Артемия Сукина, уездное шляхетство на съезде своем избрало ехать в Санкт-Петербург сове-

товаться с новой императрицею насчет важных дел внутреннего устройства страны.

Уездная война, естественно, кончилась ничем. Истребивши малое число домашней живности, как то: козу, трех дворовых собак и около дюжины кошек, Ганибал отступил, но зато на возвратном пути его войско поживилось чем придется в Егорихине, что, в свою очередь, вызвало длительную судебную тяжбу, едва не разорившую нас вчистую.

Итак, я веду свою родословную в ближайшем соседстве с пушкинской, греясь в лучах негаданной славы солнца русской поэзии. Сказано высокопарно, однако солнце до сих пор в зените, и палит нещадно.

Родину моих предков посетил я лишь однажды, и вряд ли когда-либо буду иметь счастье осмысленно процитировать хрестоматийное «Вновь я посетил...» Никакого желания. Хватило одного-единственного раза – когда в середине 50-х, студентом третьего курса филфака, попал на практику в Михайловское.

Водили до пяти экскурсий в день. Солнце русской поэзии и тогда уже помещалось в таком сногшибательном зените, что только пот проши...»

Понедельник, 31 мая, три часа утра

Жена приехала. Торопливо прячу рукопись в стол.

В дверях топорщится необъятная охапка полевых цветов. Комната переполняется запахами электрички, прущего сквозь платье душного женского тела, солнцепека.

– Скучал?

Цветы грудю брошены на письменный стол, где только что лежала рукопись «Скучной истории».

Объяты. Высвобождаясь, она ищет глазами на серванте подходящую вазу. Вот. Нашла.

– Куда мы их поставим, милый?

Юрочка тоже, наверное, уже дома. Тоже, поди, с цветами приехал. Любовь к природе: «Мамочка, нет ли у нас вазы повместительней? – Ах, чудо что за цветы, Юрочка!»

Зина стоит спиной ко мне, у шкафа. Через голову стягивает платье. Закрываю глаза и внутренним взором скольжу по голой, подернутой жирком Юрочкиной спине. Ослепителен белый шрам ниже лопатки. Кто это его так? Никогда не спрашивал. Давно ли мы были с ним вместе в сауне? Кажется, месяц назад или раньше. Не вспомнить. Целая вечность прошла.

Открываю глаза. Рядом Зина. Зачем надо было набрасывать халатик, если он все равно распахнут? Трудно дышать. Оттуда, от нее, так и валит дух нагретой, раскаленной земли. Желание. Перед глазами все плывет. Все бледно-розовое, лиловое, больно смотреть. Вот оно: красное овальное пятнышко у нее на груди, около соска.

Она перехватывает мой взгляд, опускает голову, отворачивается, слегка запахивает халат. Ну конечно.

– Давай ляжем. Я безумно устала. Две электрички пропустили...

Осекается. Двойственное число повисает в воздухе. Профессиональный кретинизм. Не могу забыть, что я филолог. Ненавижу собственный голос. Хочется заткнуть уши, когда слышу его. Ножницы, кроющие кровельную жесь. Скрип, визг и скрежет.

– ПропустиЛИ?..

– Не придирайся. Пропустила. Слышишь: «ла». Народу было, народу! Ты не представляешь. Убиться можно, меня буквально внесло в вагон, а там...

Дальше я ничего не слышу. Любовь. Охапки любви. Свежие хрустящие простыни, влажные наши тела. Хищные, моментальные, молниеносные и ослепительные цветы на письменном столе. Генри Миллер.

Выбираюсь из постели, стараясь не разбудить ее. Нет, куда там – спит, как убитая. Нагулялась.

Где мои шлепанцы? Стою голый у письменного стола. Халат в ванной. Осторожно, медленно выдвигаю центральный ящик. Чувствую себя взломщиком из рассказа О'Генри. Шуршание бумаг оглушительно. Оглядываюсь: спит. Часы. Три часа ночи. В комнате светло. Напряженный, невсамделишный свет. Пишу, читаю без лампы. Да, но еле, с трудом. Ага, нашел.

В ванной запираюсь и раскладываю листы на табуретке. Перечитываю начало родословной, стараясь не замечать чеховского оборота. Дохожу до того места, когда она вернулась с дачи.

«Солнце русской поэзии и тогда...» дальше... «уставали безумно» – да, отсюда:

«безумно, и вечерами как-то сама собой образовывалась беспросветная пьянь. Пили весело и легко, вспоминался Языков. Готовили жженку и, когда вспыхивал длинный огонь, кричали: «Кромбамбули, кромбамбули, кромбамбу-ли!» В отвесах огня трепетали бледные пятна – лица будущих филологов, учителей-словесников, люмпен-интеллектуалов.

Лица, фантастически преображенные в сине-фиолетовом дрожании сахарного пламени. Мое поколение вступало в полосу сознательной жизни с радостью – но с радостью, я бы сказал, невротической, едва ли не мучительной. Неужели уже тогда предчувствовали мы обреченность наших социальных иллюзий и надежд? Что ж, теперь мне надо было бы чувствовать себя предателем. Никого из них, моих тогдашних сверстников, рядом нет – они или глубоко внизу, или за границей. Юрочка? Юрочка все-таки человек другой формации, хотя и моего поколения. Он не из наших. Он – их человек. Думаю, что те, кто меня знает сейчас, видит во мне тоже их человека. Своего. До сих пор меня это вполне устраивало. Мне Сорок Семь лет. Зина на 15 лет моложе. Их генерация пожиже, маменькины дети. Если мы обречены были в массе своей, то они – поголовно, сплошь. Зина, пропади она пропадом.

Зина. Бывшая моя дипломантка. Лучшая из моих дипломанток. Лучшая и талантливейшая. Я вел у них семинар по началу века. В какой аудитории мы занимались? Вот уже и память слабнет. Мне сорок семь, однако как мужчина... Вспомнил: в сорок седьмой. Мы занимались в сорок седьмой аудитории, надо же. Люблю случайные числовые совпадения: они всегда что-то означают. Что?

Все же не думаю, чтобы Зина изменила мне с Юрочкой, надеюсь... Почему я вообще подумал об измене? Живу прочно, выбился в большие начальники. Не без успеха начальствую над пятьюдесятью годами местного литературного процесса – от Чехова до раннего Горького. Любимая работа, любимая жена. Были. Теперь это плюсквамперфект.

Что же теперь? Ее дипломная работа обещала стать событием. Как же, «Цветовая символика в „Петербург“»! Тема в то время не только не женская, но и вообще не человеческая. Кафедра не хотела утверждать. Пробил с трудом, со скандалом, промаявшись на крыше «Европейской» с бутылкой коньяка и Сергей Сергеевичем. Тогда еще жили хоть какие-то надежды.

На чем покоится университетская традиция проводить семинары по средам, вечерами, когда нет занятий у вечерников? Как и всё, на песке.

После семинара, в ту среду, мы остались с ней вдвоем в аудитории. Поздравляю. Вашу тему сегодня утвердили. Можете с Богом начинать. Она молчала и смотрела на мои руки. Не отрываясь. Прежде всего, библиография. Я кое-что нашел для вас, вот. Пожалуйста. Протянул ей листки. Не берет. Моя рука преглупейшим образом висит в воздухе. Неловкость. Не показывать вида, обратить в естественный, ленивый и несколько барственный жест. Особое внимание рекомендую обратить на работу Тамары Миллер, тут подчеркнуто. Она писала о цветовой символике в поэзии Блока. Блестящая статья, хотя сейчас о ней мало кто знает...

Вообще внимательнейшим образом просмотрите «Известия Таврического университета» с 20 по 22 год. Чувствую слабое натяжение бумаги. Она пытается вынуть предназначенные ей листочки из моей протянутой руки. Не отпускаю. Бумага натягивается сильнее, угрожающе натягивается, вот-вот разорвется. Игра, замечательная любовная игра. Это же опосредованная форма эротического прикосновения! Посредник-бумага. Сладостный, зигзагообразный звук разрыва. Молодец, умница. Простите, ради Бога, простите, я не хотела... Хотела, милочка, хотела. Похоже, я тоже хочу. Ничего-ничего, я, знаете, заговорился, забыл. Да, насчет вашей идеи о борьбе магического и духоносного отношения к цвету, то, что вы называете трагической раздвоенностью в цветовидении Белого... поосторожнее формулируйте, не дразните наших носорогов. Мягче, Зина, поменьше религиозной лексики. Я знаю, вы заражены Белым. Это неизбежно: материал не должен оставлять исследователя равнодушным, но будьте осмотрительней. Мне бы не хотелось, чтобы на пути к вашей аспирантуре встало обвинение в идеализме.

Может быть, я сейчас не совсем дословно повторяю, что говорил тогда, но общий смысл... Общий смысл был в том, что я поднял лицо от бумаг и посмотрел на нее. В глаза. Я не видел ее глаз: она глядела на мои руки. Я перевел взгляд: руки как руки. Чистые, холеные, бледные до омерзения. И тут случилось странное: я даже не увидел, а ощутил, понял, что она покраснела. Лицо от щек ко лбу пошло красными пятнами. Ее лицо. Я видел его, не видя, не глядя: правильный лик Дианы-девственницы, искаженный стыдом.

Я встал и сунул руки в карманы. Подошел к ней почти вплотную, встал над ней. Видел только ошеломляющий, слабый треугольник шеи в вырезе платья – и стоял, слегка раскачиваясь.

– Едемте ко мне.

Она одно только и спросила, тихо так спросила, обреченно, что ли:

– Сейчас?

Я ничего не ответил. Вернулся к столу, аккуратно собрал бумаги, сложил в портфель, щелкнул замком. Вышел из аудитории. Она двинулась за мной, как привязанная. Я обернулся:

– Свет.

Она, видимо, не поняла.

– Свет не забудьте погасить.

Ехали в такси. Я впереди, она на заднем сиденье, где-то там, в темноте. «Доцент, совращающий студентов, очень мило. До клубнички докатились. Может быть, высадить ее, извиниться?» Последние гуманитарные отговорки, шелуха. Я знал, что не высажу. В конце концов она сама хотела, не маленькая.

Дома стало легче, естественней. Никакой постели. Чай, разговор о литературе. Стихи. Она читала Мандельштама, я делал вид, что внимательно слушаю, и думал: отчего Мандельштам? В те годы это было наиболее престижное литературное явление. Мода? Дань оппозиционным настроениям? Не исключено, что тогдашнее повальное увлечение поэзией Мандельштама носило вообще антилитературный характер. Я не сноб, но убежден, что те, кто декламировал тогда «Петербург, я еще не хочу умирать...», глухи были к стихам, которых никогда не любили и не понимали: им важнее другое, некий якобы эстетический поворот лагерной темы. Мандельштам сделался для них современным заместителем Некрасова – знаком превратно понятой гражданственности в поэзии. Но такой взгляд... что может быть дальше его от изначальных установок и ценностей, значимых для самого Мандельштама.

– Вам действительно нравятся эти стихи?

– Я люблю их. А вы?

– Я предпочитаю Пушкина, благо он почти то же самое, что и Мандельштам, только чище, не погребен

еще под мусором наших... как бы сказать точнее?... пристрастий? Да, пристрастий.

Мы заговорили о «Медном всаднике». Да, вы правы, до сих пор остается загадкой – для меня, по крайней мере. Мы привыкли воспринимать лишь концептуально очевидную поэзию, а «Медный всадник», если можно так выразиться, «поликонцептуален», то есть допускает возможность любой точки зрения, предусматривает любое прочтение как верное. Это ведь единственный в нашей литературе «белый текст». Он не провоцирует никакого однозначного хода в будущее и никак не оценивает прошлого. Он просто раскрыт – и для прошлого, и для будущего. Если бы наша история сложилась так, чтобы плюрализм сделался неотъемлемой частью нашего сознания, – мы бы могли понять пафос «Медного всадника», а так... так он остается совершенно чуждой вещью – чужой и непонятной, даже ненужной.

– Сделать еще чаю?

Со времен Блока ночные чаепития – непременно условие интеллигентного разговора, не находите? Она рассказывала о школе, о матери-учительнице, которая тоже очень, очень любит Мандельштама. Вы знаете, в нашей семье было много репрессированных. Не все вернулись, но с возвращениями возник чуть ли не культ Мандельштама. Когда мы собираемся, то дядя часто читает его стихи. И мама тоже.

Она, оказывается, читала мою монографию «Чехов и символисты» – «еще в девятом классе». Как, неужели не пропустили самые лучшие главы? Изувечили? Как вы позволили? Как они смели! Это замечательная, замечательная, умная книга! Почему они не понимают?... Она полюбила Ибсена и Метерлинка после моей книги. И Блока. А потом Белого – после того, как прочла том переписки в «Литнаследстве». Она что-то говорила о Любови Дмитриевне, кажется, осуждала. Будь я рядом с таким человеком, я бы...

Она бы. Да, забавно.

Ее не остановить: говорила без умолку. Я слушал.

В постели мы оказались только утром, когда рассвело. Оказались, как бы продолжая застольный разговор, безо всякой символической борьбы.

– Вы устали... Зина. Полежите немножко, ложитесь.

Не снимая туфель и платья, она легла поверх одеяла. Я сел рядом. Она говорила и не могла замолкнуть. Говорила все быстрее и невнятнее. Я перестал слушать, различать слова. Ее трясло, словно бы от какого-то нервного восторга. Я наклонился к ней, но она не могла замолчать.

И вдруг, как в плохих пьесах, зарыдав, обняла меня – обняла, на долю секунды опередив мой порыв к ней.

«Зарыдав» – вот написал это слово и не уверен, что именно оно здесь необходимо. Пытаюсь вспомнить все в точности – не слишком ли сильно сказано? Пожалуй, правильно. То, что в середине прошлого века было штампом, сейчас звучит свежо, остранинно и живо. Штампов нашей речи мы, средние читатели, не замечаем и не чувствуем. Ослабленное языковое самосознание – не здесь ли коренится нынешнее убожество русскоязычной литературы? Важная мысль. Если будет время – вернусь к ней.

Нужно ли добавлять ко всему сказанному, что для Зины я был первым мужчиной?

Был? Мы женаты 15 лет. Филфака она так и не закончила, с того утра погрузясь целиком в заботы о моем благополучии, комфорте и успешном продвижении к вершинам филологической власти. Блестящие способности оказались погребены под легким пеплом профессорского быта. Не оттого ли в наших отношениях всегда было нечто пепельное? Тепло, припорошенное пылью.

Ставши душой моей карьеры, она – так теперь мне кажется – ненавидит меня как раз за то, что мне все удалось. Все – как она хотела. Надеялась ли она на то, что

сорвусь? Подсознательно, разумеется. Может быть. Значит, когда-нибудь она отомстит. Сама сорвется или сделает попытку. Возможно, уже сделала. Скорее всего.

Друзей у нас нет. Есть арестантская команда из института. Юрочка, номинальный друг дома, – этот всегда есть. Ну да, Сергей Сергеевич, душа коллектива. Вечерами заходит Д. С. Коллеги. Почти единомышленники. Почти – и здесь-то трещина.

Понедельник, 31 мая, 6 часов утра.

Пишу, сидя в скверике возле нашего дома. Ветер мешает, пытаюсь перевернуть листок и – как вечное напоминание – обнаруживая чеховскую изнанку. Красноречивая демонстрация вторичности всех моих действий. Думал ли я, пируя с сокурсниками в Михайловском 20 лет назад, нет, четверть века тому... думал ли я...!

Ах, к счастью, ни о чем я тогда не думал. Огонь горел в крови, и сумбурные монологи о нашей дружбе, о будущем, общем и, конечно, светлом, когда мы, все вместе – только так, вместе, не порознь! – перевернем науку, оживим, заставим дышать и двигаться, когда... Много было этих «когда», слишком много. Но застолье катилось дальше, и речи о научно-мужской дружбе сменялись стихами о любви, которые, в свою очередь, легко и естественно переходили в рискованные признания, обращенные к немолодым (по тогдашним нашим представлениям) местным соратницам по экскурсоводческому делу.

Огонь горел в крови, дамы горели от выпитой водки, и вечера, к обоюдному согласию полов, кончались углами, сосредоточенным пыхтением, шорохом сена, шуршанием нижнего белья и редким приглушенным вскриком, свидетельствующим о глубоком удовлетворении.

Выходных не полагалось – ни в работе, ни в застолье, ни в любви. Через месяц мой неокрепший юношеский организм взбунтовался. Это был первый и единственный раз, когда я сорвался, сошел с рельс. Случилась пьяная истерика с битьем стаканов.

Кажется, я кричал, что жизнь погублена, что мне уже 21, а я нуль. И ничего не будет, впору вешаться, топиться, пусть все катится к чёртовой матери – и этот кучерявый бес Пушкин тоже, с его бабами и нянями. Подозреваю, что я не на шутку порывался кинуться в речку. Подозреваю, но точно сказать не могу: помню происходящее смутно, отрывочно. Да и прошла уже четверть века.

Отчетливо помню только, что все кончилось блужданием женской утешительной руки по моему сотрясаемому телу. Рука на лбу, на груди, на животе, ниже – на члене.

И – ничего. Бантик.

Эта штука впервые отказалась действовать. Не сработала.

Ясно помню свою растерянность: как же так? Рабле про этакое говаривал: служит только мочепроводом, бедняга, – что, конечно, было при моем тогдашнем состоянии тоже бесполезным, если принять во внимание количество выпитого накануне. Но – малоутешительным, если исходить из общепринятых представлений о мужском достоинстве.

До сих пор в моих ушах стоит слово, которое тогда то ли произнес, то ли проговорил мысленно, а показалось, что оно звучит, как удар бутылкой, разбивая вдребезги окрестную тишину:

ВСЁ. Пиз-дец.

Более омерзительного утра я не знал ни до, ни после. Кроме вчерашнего, может быть. Совершенное физическое и умственное оскудение. Слабость. Стыд.

Хуже всего стыд и отвращение к себе. Ненависть, я бы даже сказал. До сих пор поражаюсь, до чего в таких

случаях женщина может быть чутка и добра. Сейчас я не вспомнил бы лица своей утешительницы и наверняка не узнал бы ее. Но на всю жизнь остался тошнотворно теплый, влажно-молочный запах ее тела, перебиваемый бисерными россыпями пота. Иногда похожий запах исходит от Зины. Вероятно, нитью такого запаха намертво привязан к матери новорожденный ребенок.

Не помню своей матери. Мне и четырех месяцев не было, когда она оставила нас с отцом. Бежала. Бежала в марте 37, потому что узнала: отцу грозит арест, на него есть показания. Ее брат служил на Лубянке. Утром она вышла в молочную кухню – и не вернулась. Не понимаю, почему она оставила меня – могла ведь забрать. Впрочем, сейчас трудно представить силу страха, владевшего этими людьми. Думаю, боялась меня как вещественного доказательства своей связи с врагом народа. Или атрофирована была в ней та животная связь, которая... Да, ведь и у зверей в неволе инстинкты извращены, но сбавываются.

Отец, на мое счастье, уцелел. В противном случае не миновать бы мне детдома, забвения всех родовых корней, жалкого голодного детства, хищной одержимости в погоне за жизненными благами. На первый взгляд, они хорошие товарищи, отзывчивые и все такое. Но когда взглядишься – в каждом из них есть та изначальная обделенность, какой-то душевный суходер, который заставляет их землю носом рыть, лишь бы вырвать у жизни, выклянчить, выцыганить причитающееся по естественному праву.

Как я уже писал, отца спасла фамилия. Мать погубило предательство. Ее брата-чекиста арестовали спустя неделю после ее бегства. Она бежала из нашего дома к брату, она жила у него – я узнал об этом после 54 года, когда отец принес и показал мне справку о ее посмертной реабилитации. Жила в дядиной квартире, когда за ним пришли. Ее тоже взяли. Глупо, нелепо взяли – в порядке не было ее фамилии. Но она бросилась протесто-

вать, кричать, мешать обыску, рвалась к телефону, чтобы позвонить Гамарнику, который когда-то, до замужества, был в нее влюблен. Так рассказывал отец.

Он заговорил о ней впервые в 54 году. До этого времени я знал только, что моя мама умерла. Умерла молодой. Отчего? Болела. Тяжело болела. И все. У нас не было ее фотографии. Теперь я догадываюсь, как она выглядела. Над письменным столом групповое фото. Сидят две смеющиеся женщины – прически делают их похожими, и платья одинаковые. За ними стоят двое военных, один пытается улыбнуться, но улыбка вышла вымученной, кривоватой – это мой отец. Рядом суровый человек, бритый наголо, с ромбиком в петлице, – это мой дядя. Родной брат матери.

Впервые взглянув на фотографию, я сразу же узнал мою мать: вот она слева, та, что красивее, как странно, да, я помню ее, хотя и не должен по логике вещей.

– Это ...мама?

– Нет, это твоя тетя, она сейчас в Кисловодске, главный врач санатория.

Вот и все, что я знаю о своей матери.

Меня воспитывали деревенские девушки, направленные к отцу через военкомат. Они часто менялись, видно, чем-то не устраивали отца, пока не нашлась баба Люба, что-то вроде моей Арины Родионовны.

Баба Люба озабочена была не только моим телесным здоровьем, но и душевным спасением. В Куйбышеве она тайком от отца окрестила меня и по воскресеньям водила в церковь. Отец не жил дома месяцами – шла война, и мы каждое воскресенье ходили причащаться к утренней. Я уже учился во втором классе и боялся, что в пионеры меня не примут, раз я бываю в церкви. Подчеркиваю: шла война.

Я заметил, что у людей моего поколения при слове «война» возникают устойчивые ассоциации с очередями в булочные, землистые хмурые лица, унылая гармошка из-за госпитальной ограды. А у меня – теплая, уютная

полутемная служба, свечи, мощный рык дьякона – откуда же у него происходит голос? сам щупленький, сморщенный старичок – и каменное эхо: «По-о-беду над со-противныя-а да-а-руя...» Вот что такое для меня война.

Не получи я нетривиального для наших дней тепличного воспитания в детстве – был бы, может, физически крепче, не свалила бы меня, как тогда, в Михайловском, месячная гульба. Господи, до сих пор содрогаюсь: как было мерзко!

Но утешительница моя ни словом, ни жестом не обнаружила память вчерашнего. Ни намек, ни даже показного сочувствия. Обращалась, как с ребенком. Отобрала стакан с остатками водки на дне – мы его традиционно оставляли с вечера на опохмелку.

– Тебе сейчас не надо. Выпей лучше меда, это поможет.

Она протянула двухсотграммовую банку, полную.

– Выпей, сколько сможешь.

Я начал пить с отвращением, подавляя тошноту, и не заметил, как всю банку опустошил. Что-то и в самом деле произошло. Не то, чтобы жить захотелось, но о самоубийстве думать перестал.

– Откуда мед?

– Здешний, из Егорихина. Сходи туда завтра, купи литра два. Мед у них дешевый. Ты очень вымотался. Тебе нельзя пить. Пока не придешь в норму – нельзя. Только мед – по стакану в день, хоть несколько дней подряд, – и все будет хорошо. Мы опаздываем, милый, собирайся.

К полудню я умирал над могилой поэта в Святогорском монастыре.

– Товарищи. Вы пришли... (неодолимый приступ тошноты) ...пришли к месту, священному для всякого русского. Это наша национальная святыня... (только не здесь!) ...обнажим же головы перед светлой памятью поэта и вспомним... (не здесь!) ...его бессмертные стро-

ки... (...какие строки? только б на памятник... на памятник только не блевануть!)

Немецкие захватчики... (кажется, проехало) ...они осквернили...

Меня перебивает парень в кепке, замасленной клетчатой рубашке и широченных штанах в полоску:

– А строки-то какие?

Сволочь. Сука. Всё, сейчас прорвет. Из последних сил:

– Извини-те. Экс-курсия закончена. Сбор у столовой через час. Одну минутку. Я сейчас.

Меня рвало желчью. Если публика, окружавшая пирамидку национальной святыни, и не видела, что я делаю, – то не слышать не могла при всем равнодушии к окружающему: меня рвало громоподобно. Месяц вольной жизни исторгался из меня державинским водопадом. Алмазна сыплется гора. Мурло татарское, пидарас, бурдюк! В промежутке между извержениями я внезапно вспомнил надлежащие бессмертные строки:

Душа в бессмертной лире

Мой прах переживет и тленья убежит...

Сочетание «праха» с «тлением» подействовало как новая порция рвотного. Гос-поди! Когда это кончится?

Когда кончилось, моей группы у могилы уже не было. Рванули жрать в столовую. При мысли о столовской жратве началось опять, в открытую, прямо над священным для каждого советского человека прахом.

Мед. Один мед мог бы спасти меня, она права. Больше всего на свете захотелось меда.

Час спустя я был в Егорихине.

Послеобеденная деревня как вымерла. Стучусь в один дом, в другой – никого. В самом конце улицы (единственной в Егорихине), у последнего дома – неподвижная человеческая фигура. Подхожу: сидит на приступочке у крыльца бабка, не шевелится.

– Здравствуйте.

Меня учили: в деревне всегда нужно здороваться, даже с незнакомыми, иначе обидишь. Опыт фольклорной практики.

– Здравствуйте.

Молчание. Не слышит. Совсем глухая, наверное. Кричу, наклоняюсь к ней:

– Здравствуйте, бабушка! Не подскажете, где здесь меду можно купить?

– Ты что, не русский, что ли?

– Почему?

Ничего умнее ответить не придумал.

– А чего кричишь, как нерусский? И выговор не наш.

– Из Ленинграда я. Студент. Ищу, где меду бы купить.

– Студент? Из района, поди, приехал? Дак нету никого, ушли на барщину...

Старуха бубнит, не глядя на меня, словно разговаривает сама с собой.

– ...бригадир поутру пришли, всех, грит, в поле гнать велено. Уборочна у них. Ходит по домам, ругается, грит, опять шиш на трудовень выпишут.

Слушаю, а к горлу подступает тошнота. Еле выдавливаю:

– Не из района я... Из Ленинграда. Меду бы мне купить... Студент я.

– Студент? А здесь чего надо?

Чуть не плачу. Поворачиваюсь, чтобы уйти. Колода трухлявая.

– Постой ты, постой... Меду, гришь? Дак у меня ульев нету. Нету ульев. Были до войны, а теперь не держу. У меня пороса есть. Ульи у Лариных, те за Гремиными живут, во-он там. У Лариных мед хороший.

У меня перед глазами фиолетовые круги, все плывет. Пошатывается. Чушь какая-то. Сплошная опера – Ларины, Греминуны... Соображаю туго, мучительно,

с трудом, но тут что-то уж больно знакомое. Поворачиваюсь к ней:

– А ваша как фамилия, бабушка?

– Тебе зачем-то фамилие мое? Приехал из района – иди, иди себе, милый, проверяй в бригаду, они в поле, а я стара, свое оттаскала.

– Да не из района я, Господи!

Услышав «Господи», бабка успокаивается. Даже голос меняется – был с подвизгом, с фальцетинкой, а сделался чуть не бархатный, мягкий:

– Сразу бы и сказал... Рылеевы мы. Семь лет как Рылеевы. Раньше были Егоровы, вся деревня Егоровы были. А теперь мы Рылеевы.

Так похмельные поиски меда открыли мне одну из ненаписанных, но замечательных страниц отечественной пушкинианы.

В 1949 году праздновалось пушкинское 150-летие. В Егорихино приехал представитель райисполкома. Колхозников собрали в бывшей церкви и публично роздали новые фамилии, по списку, который был составлен каким-то контуженным местным учителем литературы и утвержден в псковском обкоме.

– Хватит нам жить по-старому! – надрывался с полупровальной соли председатель, – чёрт с вами, с егорихинскими, ногу сломит. Будут у вас теперь, товарищи, культурные пушкинские фамилии. Разные. Красивые.

И по сей день обитают, наверное, в Егорихине Вяземские рядом с Онегиными, Бестужевы бок о бок с Волконскими и Гриневыми. Есть и свои Пугачевы, есть даже Кюхельбекер один – пострадавший подростком в войну полуидиот-пастух. Кухлебекер – самая подходящая для него фамилия, пенсия 12 рублей, шея, как у индюка, синюшная и в пупырышках, глаза вечно красные и слезятся.

31 мая, полдень.

Экая все-таки я живучая тварь. Именно тварь – иначе и не назвать. Мир было пошатнулся, но устоял. Выход. Есть выход, хотя бы и на некоторое время. Звоню в редакцию. Набирая номер, вспомнил: меду-то ведь я тогда так и не достал – а ничего, жив до сих пор, даже, можно сказать, процветаю. Процветал.

Длинные гудки. Бездельники, уже одиннадцатый час. Дармоеды: Трубку снимает Зоя Федоровна, секретарь редакции. Главный еще не... ах, извините, соединяю. Она узнаёт меня по голосу, приятно.

– Слушаю.

Пал Палыч дышит тяжело: как же, при его комплекции да на второй этаж без лифта. Еще, поди, и пиджака расстегнуть не успел. Даю ему время отдышаться: май необычайно жаркий, не находите, такого, пожалуй, не припомню. Пал Палыч согласен. Он, видите ли, ждет меня после обеда. С готовой корректурой. Вот оно. Придется его огорчить: обнаружили разночтения с оригиналом, никак не могу. Потребуется минимум дня четыре. Да-да, это я уже слышал: режу без ножа. Выслушиваю еще раз и насчет премии: как я мог забыть, что конец месяца, горит весь полугодовой план, типография... Они вообще откажутся от нашей работы. Но, надеюсь, вы понимаете, что это научное издание? Нажимаю: научное. Любая опечатка – и позора не оберешься, как-никак три четверти тиража идет на экспорт. Было бы политической ошибкой... Пал Палыч ворчит. Ворча соглашается на три дня. Последний срок. Прощается.

Итак, гражданская казнь отложена на трое суток.

Превосходно. Следующий ход. Звоню Боре. Борис Александрович мэнээс из моего сектора: «Голубчик, тут такое дело... щекотливое. Вы не могли бы заехать ко мне? Сейчас. Жду». Думаю, что мой бархатный тон насторожил его.

Корректуру по издательской машинописи вычитает он. Прежде я никому не доверял даже этой безделицы. Но сейчас спокоен, зная Борину немецкую пунктуальность. Что же касается сверки с чеховским рукописным автографом... дудки! Эта часть работы уже проделана мною. Лично. Якобы проделана. Впервые халтурю, но другого пути не вижу. И никаких угрызений совести. Вот чем, наверное, мы отличаемся от интеллигентов прошлого века.

Зина ушла на базар. Когда я, проснувшись, вышел на кухню, меня поразила ее спина. Зина сидела на краешке крохотной кухонной табуретки, спиной к двери, как-то неудобно, скрутаясь винтом. Она не слышала, как я вошел. Смотрела в окно, а мне виден был серый угол ее лица.

Нет, она слышала, что я вошел. Сказала не оборачиваясь, тусклым голосом: «Завтрак на плите. Кофе остыл. Подогрей сам. Мне нужно на рынок». Поднялась, пошла к двери, машинальным движением сняла с крюка продуктовую сумку – разбитая, постаревшая, серая. Не взглянув на меня. Входную дверь не захлопнула – по рассеянности. Я видел из кухни, как она пересекла лестничную площадку, ссутулясь, подошла к лифту. Ее спина на фоне металлической сетки. Шахта лифта.

Боже, как грустно, как все безнадежно!

Пришла кабина, и створки за нею сомкнулись. Ухнуло вниз. У меня есть время.

Узел. Туго затянутый узел моей жизни. Петля. Попытаемся разрубить. Попытка не пытка, Лаврентий Палыч. Хватит об этом. У меня есть время. Боря придет через час. Зина вернется часа через полтора. Отлично.

Достаю рукопись скучной истории с моей родословной. Теперь я знаю, что с ней делать.

Недели две назад пришла в институт заявка из отдела пропаганды: необходим проверенный филолог-

русист, не ниже доктора наук, для долгосрочной командировки в Кабул. Как минимум на три года. Двойной оклад, соответствующие льготы, полные штаны прочих прелестей. Естественно, до сих пор желающих не нашлось: дело все же как бы добровольное. Мы с Сергей Сергеечем уговаривали институтского шута профессора Теткина, он на Некрасове всю жизнь сидит, – да, говорит, конечно, как же... С женой только вот надо посоветоваться. А назавтра справочку тащит из академической поликлиники – сердечная недостаточность, категорически запрещена перемена климата, дескать, рад бы, но врачи. Дурак дураком, а свое туго понимает.

Сергей Сергееч попробовал было предложить Инквизиторову – куда там: ученый секретарь он и есть ученый секретарь, его с кресла не спихнешь никаким Кабулом.

Я вспомнил про Петра Карпыча, тот бывалый смершевец, тому не привыкать. Крепкий мужчина, даже завидую. Из своего сектора не только всех жидов, но и полужидков вывел подчистую, полная военизация: у него поголовно к девяти являются, как миленькие. Все без исключений. Советский сектор должен быть образцовым. Закрываю глаза и слышу его бабий голос: «Что от нас требуется, товарищи... на современном этапе? Дис-цип-лин-ка. Мы не можем позволить роскошь переводить народные деньги на бездельников и лодырей. Мы на фронте, товарищи. На фронте идеологической борьбы».

Кабул, конечно, не фронт. Петр Карпыч обиделся, что ему предложили, такого я не ожидал, что он оскорбится. Он здесь нужен. Позарез. Нельзя без него. Когда идеологическая борьба обостряется и внутри страны... Обострилась настолько, что... Ну, ясно.

Я заикнулся насчет Юрочки, но Сергей Сергееч только рукой махнул: дохлый номер. Как можно было запамätовать: у Юрочки клуб сорокалетних писателей, важное политико-воспитательное дело.

Мне даже и не предлагали. Какой там Кабул, если на моем секторе пол академического темплана висит! Уеду я – кто, спрашивается, будет осуществлять руководство ценнейшим научным изданием – ПССПЧ, или «пососи пэчэ», как мы в дружеском кругу именуем Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова? Вышло 17 томов, осталось столько же. Позади годы титанического самоотверженного творческого труда целого коллектива, впереди – годы и годы того же самого.

До чего же их всех ненавижу! Всех. И милейшего Сергей Сергеича, закадычного своего собутыльника. И Юрочку, неременного партнера по сауне, по лыжам, по судьбам. И Зину. Хорошо все-таки, что она ушла куда-то. Легко без нее. Легче, чем с нею.

Вот министерская мысль, посетившая меня давешней ночью, в миг засыпания: отчего бы не уехать куда-нибудь к чёртовой бабушке. В Кабул, допустим. Добровольцем. Одному, без Зины. Ей ни к чему. Надеюсь, что меня там убьют. Лучше, если убьют зверски – по заслугам, за дело. Скажем, за насильственное вторжение русской культуры в чуждый ей мир. Упоительно представить себя в роли жертвы, под личиной страдальца – предпочтительней обрыдшей мне маски мелкого начальства. По крайней мере, умирая, буду знать, за что гибну, – услышу, может быть, за спиной железную, неумолимую поступь отечественной гуманизированной словесности. Пусть катятся на юг, к Индийскому океану, крутоголовые легионы толстовских периодов, пусть прогрохочет над Гератом небесная артиллерия Тютчева, пусть зажжется в выжженном небе пустыни, в самом сердце Азии ослепительная точка пушкинского ума – ярче тысячи солнц. Красота, дух захватывает! А ведь и правда: в полную силу слово живет лишь там, где проходит последний край жизни, на границе между живым и мертвым. Например, в провинции Валх, так кажется? Жаль, об Афганистане знаю только из Киплинга. Почти ничего. Но это поправимо – все еще впе-

реди. Как бы то ни было, кому-то надо же нести бремя белых!

Сила слова: стоило мне подумать о «бремени белых», как почувствовал в себе... как бы выразиться точнее... личность. Человека. Человека в горьковском смысле, из «На дне». Самое место. Но ежели без пафоса, если по-деловому – отчего ж Кабул не выход?

Кроме своих цепей терять нечего, решайся. Я решил. Сегодня же отвожу испакощенную «Скучную историю» в хранилище, это первое. Маловероятно, что кто-нибудь затребует рукопись в ближайшие полгода. А дальше... Дальше или меня уже не будет в живых, или... пусть они попробуют тронуть меня, когда я пересеку границу за Термезом. Итак, второе.

Придвигаю телефон.

– Сергей Сергеич? Здравствуй, дорогой...

Убедить С. С. труда не составило. Он посоветуется с начальством. Перезвонит через полчаса. Немедленно, как что-то прояснится. Остается ждать.

Жду. Механизм запущен. Скушно. Вот уж, действительно, скушная история. Возвращаюсь к рукописи. Чехов: эпизод с краешком любовного письма, прославленное «Я вас лю...»; обратная сторона письма – моя:

«Дед мой, генерал-лейтенант от инфантерии Николай Николаевич Сукин, известен был предельной солдатской прямоотой в амурных делах, буквально и неукоснительно следуя евангельскому «да-да, нет-нет, а что прочее – то от лукавого». Во дни славного Хивинского похода, будучи еще юнкером, он впервые вкусил прелесть пряного восточного эроса, но, однако, остался недоволен тою легкостью и искушенностью, с какой местные девки уступали его натиску.

Он прожил романтиком и максималистом до конца дней, верил в великую силу страсти и, по мере старения, все более укоренялся в мысли, что армейская молодежь безвозвратно утрачивает навык должного обращения с женским полом.

Незадолго до позорной смерти своей, уже состоя в сомнительной и последней тайной связи с роковой полячкой, дед мой совершенно искренне изумился, когда адъютант, которому он выговаривал за какую-то небрежность в одежде и неподобающе рассеянный вид, вдруг залепетал что-то насчет «упоительнейшей ночи» накануне: «...чистый огонь, ваше высокопревосходительство, аж до печенок берет, ей-Богу...»

Дедушка это выслушал, глубоко задумался и полупропорительно-полунедоверчиво произнес: «Так что же, голубчик, выходит... у вас еще ебутся?» Фраза, впоследствии ставшая классической. Но почему отец мой прочно связывал ее именно с личностью деда, не раз возвращаясь к общеизвестному анекдоту, когда речь заходила о наших родовых корнях?

Простейшее объяснение – эдипов комплекс – не устраивал меня, хотя подозреваю, что отец и вправду жизнь свою строил на отталкивании от прошлого, стремясь навсегда отложиться от семейного древа. Листок, дескать, оторвался от ветки родимой. Если бы так! Не удалось.

Похоже, и мне не удастся. Мы обречены на существование в непрерывном ряду. Впрочем, у нас с Зиной детей нет. Это хорошо, это обнадеживает. Сладостное чувство родового тупика. Дольче.

Ну-ка, кто из будущих офицеров, чиновников или доцентов осмелится назвать мое имя в ряду своих предков?!

В кровавом лесу отечественной истории предпочтительней стоять сухим деревом. Честней. Дольче.

Хотя... Хотя я и непрочь, чтобы у меня родился сын, пусть даже от Зиной. И пусть он с отличием окончит школу, а затем – Императорское ленинградское высшее военно-морское училище имени... не знаю, к его совершеннолетию вполне могут и переименовать, ну, скажем, имени б. (барона) Врангеля.

Пусть он прослужит лучшие свои годы лейтенантом на ядерной субмарине подо льдами Северного полюса или подле берегов Эфиопии, рядом с теми, сердцу памятными холмами, где, по слову Гумилева, «белый флаг поднялся над Харраром...»

Пусть он рано облысеет и в часы, свободные от вахт, займется историей отечественного мореплавания в Индийском океане. Пусть, неисправимый романтик, выпустит он в военном издательстве сборник патриотических стихов с легким декадентским налетом лиловости, что, несомненно, приведет к затруднению служебной карьеры, к длительным воспитательным беседам в политуправлении флота – и завершится ранней отставкой по состоянию здоровья.

После некоторых колебаний я бы даже не возражал, чтобы он обменял нашу ленинградскую квартиру на какой-нибудь южный городишко, предположим, на Ялту. Да-да, именно на Ялту: не знаю ничего лучше зимней, январской Ялты, недаром Чехов так любил ее!

Я вижу своего сына отставным моложавым подполковником, кап-2, говоря по-морскому. Он отлично воспитан, вежлив, неглуп. Служит каким-то средним начальством в порту. На досуге пишет стихи. Печатается в местной курортной газете. Посещает литературное объединение при библиотеке имени Чехова, где пользуется заслуженным авторитетом среди других отставных моряков, пенсионеров республиканского значения, поваров ресторана «Таврида» и десятка бывших учительниц литературы, которые, по мере приближения к последнему рубежу, ощущают все более жгучую и непреодолимую страсть к Пушкину, Лермонтову и Есенину. Страсть не выразимую вслух, разве что поэтически, за пределами цензурной речи – полувопросительно-полунедоверчиво звучащим: «...ебутся?» К сожалению, да, ебутся.

Не сомневаюсь, что мой отпрыск по природному праву избран будет старостой лито при библиотеке

им. Чехова. Нам, Сукиным, не избежать тяжкого бремени власти. Бремни белых.

Любопытно, доставит ли мне удовольствие подшучивать над Зиной, которая – это совершенно очевидно – будет всерьез принимать литературные успехи нашего чада? Чада интеллигентного, любящего, начитанного в Бунине, Гумилеве, Булгакове и – маменькино влияние! – в Мандельштаме и Блоке.

Что?

Ах, да, есть вопрос. Есть один вопрос, самая вероятность которого не просто отравляет мою теперешнюю жизнь, но мешает смотреть в будущее. Не могу думать о будущем не иронически.

Почему?

Ну хорошо, со мной, с «нами», с моим поколением в общем-то все ясно. Мусор. Мусор и перегной. С позволения сказать, почва для будущего. Репрессированные ананасы – вот кто все мы, докучливые гости на празднике чужом.

«Мы» – это я, Сергей Сергеич, Юрочка, Юрочкины подопечные писатели, все прочие. Зина? Зина не в счет. Женщины не подпадают под накат времени. Они вне поколений. Они поросль вечности, темный пух на горных склонах. Яйла.

Но – мы? Что общего между мной и Юрочкой? Я столбовой дворянин, военная кость. У Юрочки двое детей – сын и дочь. Сын, разумеется, буддист и экстрасенс – это игры новой генерации, мне совершенно непонятные. Юрочка держит нос по ветру и делает вид, что понимает. А вот это – уже его игра – игра в понимание, в понимателя и в понимаемое. Для меня, например, оскорбительным было бы чувствовать, что я очередной объект Юрочкиного понимания. И не только оскорбительным, но и опасным. Юрочкино понимание убийственно для того, что он хочет понять. Если он хоть что-то понял, значит, перед нами такая пошлость, которая не то что понимания, но даже беглого взгляда недостойна.

Итак, Юрочкин сын, экстрасенс и буддист, пользуется поддержкой и пониманием отца. Его имя-отчество – Владлен Юрьевич – заставляет меня вспомнить полусумасшедшего московского поэта Валю Сидорова, который убеждал одного литературоведа, что Ленин-де все свои идеи усвоил от гималайских пандитов, от неких тантрийских учителей и что в тотальной индуизации – единственная надежда славянства. Нелепо выглядел бы буддист Владлен Юрьевич в черной униформе флотского офицера!

У меня детей нет, но – шутка ли! – офицеры и воеводы в десятках поколений. И я сам, как ни абсурдно, по родовой инерции продолжаю мыслить и оценивать окружающее в категориях чести и долга – так уж причудливо и помимо воли отпечатлелось во мне пятисотлетнее активное бытие моих предков, их соучастие в родной истории.

История России, стало быть, моя кровная история. Что перед тысячей какие-то 60-70 лет! Нынешний способ правления – явно временный. Они пришли и уйдут. Отлив уже начался – и увлекает нас, тех, кто на поверхности, не отличая меня от Юрочки и Юрочкиного дитяти, щепу, мелкий сор, черные гирлянды гнилой тины.

Сейчас я бы хотел уйти на дно. Я на дне, я печальный обломок. Отяжелеть и кануть – и Бог со мной. Но нельзя. Что угодно – да вот этого как раз и нельзя, словно родовой шлейф сообщает моему социальному телу.(sic!) некую непотопляемость, будто я изначально был привит от общественного самоубийства.

Думаю, что мой гипотетический сын слагал бы такие, примерно, вприси:

Сколько ратного восторга
в нашем любовании страха:
пред полковником высоким
раздувается рубаха!

Подобно деду, отец мой благополучно миновал полковничий рубеж и вышел в отставку, имея чин генерал-лейтенанта. Он умирал тяжело и медленно. Целый день в его кабинете играло и говорило радио. С шести утра до полуночи – марши, целинные песни, сводки с полей истроек. Каждый день в течение целого года. На кожаный диван положили древнюю перину, она постоянно сползала, так что нижний край простыни все время оказывался на полу. Я обычно сидел в изголовьи, держа на коленях чашку с отваром медвежьих ушек. Его голос доносился обрывками сквозь хоровое пение и духовую музыку. То, что он говорил, не имело тогда никакого значения; я со страхом и замиранием прислушивался к голосовым модуляциям – к тому, как меняется сама мелодика его речи. Голос его звучал все глуше, удлинялись пустоты между словами, обнажалось прерывистое свистящее дыхание.

Он говорил, обращаясь именно ко мне, будучи в ясном сознании. Это было завещание, но завещание, растянувшееся на месяцы и месяцы физической муки.

Он обращался ко мне, видя, что я совершенно не улавливаю смысла слов, произносимых им, а я цеплялся за каждую ясно и отчетливо артикулированную фразу, надеясь на внезапный, чудесный перелом болезни – но речь его уходила, утекала, бледнела. Оставался один мычащий тягостный звук, монотонная гаснущая струна жизни.

– Чем, ну чем тебе помочь?

Стыдно теперь вспомнить, что я обращался к отцу с этим вопросом каждый раз, как начинался приступ. Чем помочь? Ясно чем.

Морфий. Пантапон, снова морфий – двойная, тройная доза. Где предел боли?

Выдвигаю нижний левый ящик письменного стола. Где-то там, на дне – плоская картонная коробочка с уцелевшими ампулами – с ампулами двадцатипятилетней давности. Тогда не составляло труда достать любой

наркотик. После смерти отца я находил и пустые, и запаянные ампулы всюду: за диваном, на кухонном столе, в бумагах, среди книг. Мог бы и попробовать – в голову даже не пришло. Еще одна упущенная возможность. Сколько их...

Оказалось: я все-таки услышал от отца многое из того, что он хотел сказать.

Услышал и запомнил. Со временем вспоминается все новое: да, об этом он говорил. Об этом тоже. Память с замедлением проявляет контуры изображения, бывшего первоначально сплошным белым пятном. «Они пришли и уйдут...» – его слова. Впрочем, отец выразился определенной и жестче: «Коммунисты пришли и уйдут... но, Женя, ты не имеешь права уходить на дно, в темную доисторическую массу. Запомни: ты живешь в истории, и она не только твоя история – она история твоего рода. Было бы предательством кануть в неизвестность. Здесь единственная реальность – политическая власть. В здешней истории остаются имена лишь тех, кто связан с политической властью. С властью настоящей, нынешней или с будущей, возможной. Когда у тебя родится сын (а мой отец не сомневался, что сын у меня родится) – воспитай его так, чтобы он усвоил взгляды, противоположные твоим. Он должен быть готов к новому обороту истории, к новому виражу – на случай, если ты сам... если ты не сможешь перестроиться...» – Приспособиться, что ли? Отец не любил слова «приспособление» – «...если ты не сможешь перестроиться. Пусть тогда твой сын, пусть он будет среди тех, кто правит этой страной. Не ради себя – ради нас с тобой, ради наших предков. Почему, ты спросишь?»

Я ничего не хотел спрашивать, я видел только, что он устал говорить. Надо его как-то успокоить. То, о чем он говорил, совершенно не интересовало меня.

– Папа, я ничего не спрошу. Ни о чем. Потому что тебе пора спать.

Радио играло и пело государственный гимн. В ту полночь старые слова гимна звучали в последний раз.

– Почему?

Отец не находил нужных слов. Огромное тяжелое дыхание, с присвистом. Я решил, что морфий начал действовать. Отыграли гимн, и оглушительно тикал будильник в соседней комнате. Впереди, может быть, несколько часов тишины. Задремал.

До сих пор не могу со всей определенностью сказать: снились ли мне слова отца, или же он действительно говорил тогда то, что я сейчас вспоминаю, и то, что в ту ночь я не слышал, вернее, слышал сквозь сон, улавливая лишь мерцанье смыслов – но где-то слишком далеко от меня, словно бы в иной физической среде, отличной от материала, из которого сооружено мое тело.

– Почему... Да потому, что никто, кроме нас, в этой стране... никто, Женя, не знает. Не знает, что такое свобода. Только мы. Только свободный... человек... имеет право решать судьбы других... людей. Двести лет мы были единственным свободным сословием в этой стране, и мы были костяк, скелет российской государственности.

Когда сейчас вспоминаю эти слова, мне кажется, что именно на слове «скелет» я очнулся и посмотрел на отца.

Он так похудел, что и в самом деле сделался как скелет. Выперли и заострились скулы, стал рельефным, голым череп. Я давно уже заметил, когда переносил его с дивана на кушетку, чтобы перестелить постель, – заметил, что он ничего не весит, легок, как семилетний ребенок.

– Женя...

– Да? – Я думал, что он меня попросит о чем-нибудь, но он лишь хотел удостовериться, что я не сплю.

– ...не ради себя ты должен найти место... наверху. И твой сын тоже. В любом случае. Что бы здесь ни про-

изошло. В любом случае. Не ради себя – ради этой страны. Мы рождены и воспитаны свободными – и мы единственная сила, сдерживающая хаос, дух всеобщего разрушения и ненависти. Дух самоубийства – национального и всечеловеческого. Понимаешь?

Тогда я не понимал, но теперь, кажется, начинаю понимать.

– ...он от нигилизма, а нигилизм есть следствие всеобщего рабства. Я видел революцию.

Да, он видел революцию, о чем свидетельствовали еженедельные звонки из Музея истории города: как ваш отец? Не сможет ли он...? Жаль, мы так рассчитывали...

– ...видел. Участвовал. В ней не было ничего блоковского, ничего свободного или, если хочешь, стихийного. Представь себе картину всеобщего душевного обеднения, одичания. Все вдруг упростилось. Сразу. Это самое страшное. На моих глазах люди чуткие, умные, образованные превращались в скотов, жавшихся друг к другу только для того, чтобы... Чтобы ощутить немного животного тепла. В скотов, которые могли говорить только о еде и дровах. Часами. Эти разговоры зимы восемнадцатого года, они всё решили. Ты знаешь, я не примкнул к белому движению лишь потому, что их вожди, исключая, может быть, несчастного барона (отец имел в виду Врангеля), никак не могли взять в толк, что человеческие отношения внезапно упростились. Стали элементарными, простыми. Чем проще, тем меньше свободы. О какой свободе могла идти вообще речь? Разве что о внутренней. А кто на нее способен – много ли таких? Недавно перечитал Шульгина «Двадцатый год» – там всё точно, там честно: у белых ничего, ничего ведь не осталось, кроме чувства обреченности и бессилия. Лучшие из них действовали от сознания этой обреченности, как действует самоубийца, руководствуясь стоической иллюзией, что человек –

хозяин собственной жизни и смерти. Нет. Свобода не в выборе между жизнью и смертью...

Свобода – это отсутствие выбора, это знание, что действуюешь единственно возможным и эффективным образом. Это власть над жизнью и смертью, это господство. Шульгины и деникины стыдились своего господства, не могли решиться на него: их монархизм с падением монархии потерял всякий смысл, оказался еще более беспочвенным, нежели социалистические идеи. Господства и власти не боялся Троцкий, Ленин – тоже: они пришли как власть имущие.

Я был не один. Самые дальновидные из дворян, умнейшая и наиболее жизнеспособная часть ее офицерства... мы пошли к большевикам. Я не жалею. Не жалею даже – теперь об этом можно говорить открыто, – что служил в аппарате Троцкого, в штабе реввоенсовета республики. Ты не поверишь, но большинство моих сослуживцев перешло туда непосредственно из императорского генштаба. Об этом сейчас предпочитают забыть. Но рано или поздно... Начался процесс, Женя. Процесс возвращения к прошлому. Только начался. Ты знаешь о закрытом письме ЦК. Не сомневаюсь, что скоро они реабилитируют Троцкого. Началась новая волна, новый виток истории. Ты должен встретить его подготовленным. Жаль, что ты гуманитар: это наиболее опасная и болезненная область; твои коллеги... они всегда тяготели к либерализму – специфика занятий, но... Но прежде всего – инстинкт. Инстинктивное тяготение к живому. К тому, что выживет и победит. Сознательно, умственно не определишь: тобою должно руководить чувство.

Инстинкт привел меня в Архангельское, в ставку Троцкого и Вацетиса. Инстинкт свободного человека. Умеющего подчиняться – и потому способного подчинять. Одно без другого невозможно. Одной энергии мало. Вожди революции умели подчинять, но им не хватало умения подчиняться. В одно поколение рабской

психологии не изжить, нужно по крайней мере три. Хотя бы три поколения. Отец отца, отец сына и сын. Женщины не в счет. Хотя бы три непоротых поколения мужчин – и все пойдет по-другому. Свобода. А свобода, Женя, это прежде всего живучесть. Способность выжить. Способность выжить – вот что отличает нас, дворян. Чем мы отличаемся от прочих. Выжить не ради себя...»

Отец не верил в смерть. Он говорил: будет встреча.

За день до смерти боли прекратились, он уже ничего не чувствовал. Отказался от укола:

– Не надо. Я сам.

– Что – сам?

И он уснул сам, не прибегая к морфию, а я даже не заметил этого, забывшись в кресле, в изголовьи у него. Последнюю неделю я спал не больше двух часов в сутки, да и то не раздеваясь, сидя рядом с его постелью.

Когда я очнулся, то увидел, что он не спит. Смотрит на меня. Наверное, от его взгляда я и проснулся. За окном светло, часов шесть утра.

– Сейчас. Пойду выключу шприц.

Шприц кипятился в кухне в хромированной герметичной коробке.

– Нет. Хватит. Сиди. Я хорошо спал. Я видел... твоего деда.

– Деда?

– В форме. В форме генерал-лейтенанта. Старой армии. Он шел по шоссе навстречу мне. Ты не знаешь... ты там не был... около Белостока. Тогда я видел твоего деда в последний раз. Перед смертью. За неделю. Мы обнялись. Раньше он никогда не позволял себе быть нежным со мной. Он сказал: это встреча, он ждал меня. Долго... – сказал он.

– Папа, подожди. Я подогрею чай.

– Сиди. Это встреча. Ничего страшного, только не уходи сейчас, посиди немного здесь. Недолго. Три минуты.

Последние слова моего отца. Потом – кома. Всё. Номинально он считался живым еще до вечера. Полковник медслужбы, вызванный по телефону, сказал:

– Я заеду вечером, но это агония, а меня ждут в госпитале. Если это произойдет, звоните прямо в поликлинику.

Он так и не заехал.

Моя родословная. Пусть хоть что-то человеческое останется от меня. И от отца. Я не Юрочка. У меня есть родословная.

Надо бы принять душ. Иду в ванную, включаю воду. Снимаю рубашку, штаны. Ванная наполняется. У меня есть время, хотя, наверное, немного. Не больше получаса. Под шум воды легко думается. Думаю о времени. Не исключено, что теперь историческое время течет много медленнее, чем, скажем, в начале века. Три минуты. Да, жизнь вокруг меня меняется, но меняется мало. Еле заметно. Я не замечаю изменений, потому что старею слишком быстро, быстрее, чем изменяется порядок вещей. Оказывается, отдельный человеческий организм в большей степени подвержен переменам, нежели организм нации, народа, исторического тела. Не поэтому ли мне всегда казалось и до сих пор кажется, что жизнь вокруг всегда более взрослая, чем я сам? Мне скоро пятьдесят, а я продолжаю видеть и осознавать себя подростком, как и в те дни, когда умирал отец. Со дня его смерти я дряхлею, но не становлюсь взрослее. Рифма. Рифма в прозаическом сочинении – свидетельство литературной глухоты прозаика. Как я, со своим чувством стиля, мог допустить ее? Но вымарывать не стану. Нарочно, назло ортодоксальному критику.

Юрочка? С Юрочкой то же самое. Ему около 60-ти, а он всё Юрочка.

Ванна переполняется. Время больше не течет. В таких случаях говорят: времена исполнились. Хорошо. Что же дальше? Почему именно с Юрочкой? Она могла

найти что-нибудь и получше. Боксера, каратиста, красавца с античной кафедры. А тут – смех один: лицо упыря, низкий лоб, глаза навывкате. Чудовищные, тупые, развесистые уши. Каренинские уши. Роль такая. Ампула.

Месяц назад на парткоме разбирали заявление Юрочкиной супружницы. Умница она, инквизиторская школа, его аспирантка в прошлом. Просит посодействовать, вернуть мужа в семью, дескать, поведение, недостойное коммуниста. 20 лет они жили душа в душу, делая одно дело, так нет. Завелась у Юрочки женщина, из начинающих поэтесс, семья трещит по швам. Помогите сохранить ячейку общества и моральный облик. С удовольствием помогли. Юрочке помочь всегда приятно. А теперь Зина. Прямо Казанова, а не Юрочка.

Как и Казанова, Юрочка человек из ниоткуда, из ничто. Нет у него предыстории. Нет и не будет.

Есть мамочка. Трогательная сыновняя любовь к приемной матери. Мне бы следовало написать Мамочка, ибо иначе ее у нас не зовут. Минимально возможная возрастная дистанция между нею и приемным сыном. Ах, двенадцать лет разницы, какие, право, пустяки. По сравнению, скажем, с пятнадцатью годами ее бессменного партруководства нашим институтом. И когда! В самое малиновое время – с 39 по 54. Кто из нас не помнит Татьяну Федоровну, Мамочку? А ведь до сих пор, старая сексотка, до сих пор живет околоинститутскими дразгмами. Ее обязательно нужно подкармливать новыми сюжетами.

Как ни грустно, это одна из моих полуслужебных функций. Обычно по телефону. Что вы, Женечка, долго не звонили? Так уж и ничего нового? А вот Юрочка... И начинается. Полчаса светской беседы на пуантах, глядишь: через месяц появляется комиссия в отделе. Ага, думаю, докатилась мамочкина телега. Впрочем, в последние года два-три случалось, что и не доказывала. Писать-то наверняка она писала, да уж не слу-

шают – другие заботы. Новые песни придумала жизнь. Справедливости ради замечу: ни на меня, ни на мой сектор мамочкиных доносов не поступало. От нас последний иудей исчез лет восемь назад, теперь с этим чисто. Правда, появились славенороссы – язычествующие и православствующиe. Публика малосимпатичная, но пока невредная. Пока силы копят.

У Юрочки кругозор, естественно, пошире мамочкиного. Он почти интернационалист. В духе времени.

Так. Я одет, свежевыбрит, готов к принятию важных решений. Не без удовольствия наблюдаю собственную физиономию в зеркале, что висит над раковиной. Мягкий барственный овал лица. Хозяин жизни. Почему лица хозяев жизни в наши дни приобретают несколько бабье выражение? Потому ли, что власть – существительное женского рода? Ну что ж, тогда приступим, Евгения Владимировна, кисанька, к заключительной части нашей жизненной драмы. К последнему акту. Третий звонок. Звонок. Снимаю трубку, будучи совершенно уверен, что услышу баритональные модуляции Сергей Сергееича. Виолончельную сонату моей судьбы.

– Алло? Я слушаю.

Мне звонят явно из автомата. Отчетливо различим грохот трамвая на повороте, какие-то внешние шумы. Но говорить не хотят.

– Вас не слышно. Перезвоните.

– Это я.

Зина, ее голос. Она опередила меня. Сейчас скажет всё. Нельзя давать ей такую возможность. Не то чтобы я хотел сохранить прежнюю близость – но хотя бы остаться хозяином положения. Решать должен я, а не она.

– Вас не слышно. Позвоните еще раз из другого автомата. Вас не слышу.

Вешаю трубку. Бежать из дома. Бежать, пока она ищет двушку, набирает номер, пока переходит от одного телефона к другому. Звонок. За дверью нашей

квартиры надрывается телефон. Пускай. Я жду лифта. Не выдерживаю и бегу вниз по лестнице. В свои сорок семь. Как мальчишка. Дожили.

Среда, 2 июня, 3 часа ночи.

Пишу, примостясь на кухне чужой квартиры. Громко сказано. На кухоньке в чужой квартирке – так точнее. Приучен к точности. Даже в безумьи остаюсь пунктуален. Вчера, убегая из дому, торопливо сунул в портфель первое, что попало под руку. Рукопись «Скучной истории». Теперь мы с Антон Палычем как сиамские близнецы.

Но зато мне легко. Полупрозрачная пленка существования прорвалась. Хозяйка квартирки спит, как давеча спала Зина. Спит утомленная, но, полагаю, довольная. Вот он, мой тулон, мой кабул. Мой путь в Дамаск. Нет ни прошлого, ни будущего. Легко ли тебе, Евгений, переть против рожна? Тяжко, батюшка, ох как тяжело...

Выработанный с годами автоматизм движений. Прежде чем выбежать из подъезда, я подошел к почтовому ящику, отпер его, вытащил и сунул в портфель целую охапку газет, два больших редакционных конверта, журнал «Литературная учеба» и письмо. Письмо выскользнуло, спланировало на пол. Нагнул: из Союза писателей.

На какое-то время я совершенно потерял себя. Часа через полтора нашел, обнаружил, что стою на середине Литейного моста и смотрю вниз. Голова кружилась. В руках бумажка, конверт. Портфель, где портфель? – первая мысль. Мирно покоился у ног, прислоненный к перилам. Отлегло.

Первые дни июня в Ленинграде всегда ветреные. Посмотрел вверх. Облака. Как флот в трехъярусном полете. Осторожно. Пастернак – шаг на пути к Зине. Назад.

Что за письмо? Собрание у них, что ли? Хотел выбросить, но – сила привычки – аккуратно надорвал конверт слева. Приглашение на вечер подопечных Юрочкиных писателей. Сегодня. Как всегда, в семь. Разжал пальцы. Вот так. Сволочь.

Почему я все же оказался на этом вечере? Из одного ли только злорадного любопытства, вызванного предчувствием Юрочкиного конфуза? Я гибну, я тону, да ведь и он не пробковый. Должен же и он сломаться на чем-то!

Как и большинство моих коллег, к современной словесности я отношусь не то что с презрением, но с такой же брезгливо-высокомерной настороженностью, с тем же чувством дистанции, какая ощущалась в обращении моих предков с однодворцами-приживалами, когда те загацивались в Сукине месяцами, оправдывая свое нахлебничество некими якобы родственными узами.

Не вижу ничего общего между блистательной русской классикой и нынешней убогой словесной продукцией. Разговоры о преемственности и высоких традициях для меня всего лишь минимальная плата за право заниматься тем, что я люблю. Так я оправдываю положенное мне жалование. В остальном же остаюсь совершенно свободен, не в пример теперешним беллетристам, не говоря уж о поэтах.

На вечере преобладали поэты. Но сначала о публикации. Зина говорит... ах нет, ее зовут Катя, а не Зина. Так вот, Катя...»

...Здесь обрывается, вместе с чеховским текстом, рукопись, принадлежавшая перу нашего современника. Что с ним произойдет дальше? Как сложится его судьба, выберется ли он снова на дорогу широкую и ясную, или же окончательно канет где-то на дне водоема нашего? Бог знает! Да и не все ли равно. Что мог он сказать о себе – сказал. Чего не мог – никто другой за него не скажет. Переворачивая последний лист, мы обнаружили лишь финал «Скучной истории».

- ...Я ненадолго сюда. Мимоездом. Сегодня же уеду.
– Куда?
– В Крым... то есть на Кавказ.
– Так. Надолго?
– Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядывается. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

НОВЫЕ СТИХИ

РЕКИ

Часы поставил по Большому Бену,
и тот отбил увесистый о'клок,
заезжему (тут все равно – нацмену)
настроив слух... Чуть не оглох.

...Вестминстерским и министерским боем
с подзвучием зубчато-золотым...
И вздох колом, и площади покоем,
по коим носишь, неприкаян,
за пазухою – Алатырь.

...От пращура наследный камень, –
как выкинуть? Куда? – Вот и Нева...
– Окстись, тут мимо Темза протекает,
ты не на тех берегах, образчик меньшинства.

И, всматриваясь в эти мути,
предтечествуй, припоминай, предвидь.
Какие плыли крупные минуты,
и – ничего; и новые минуют;
а были псалмопевны, как Давид.

Всё ж выпало на кон: 2-3 заката;
пыланий – полная река, по парাপет...
Гналось: туда, еще за мыс, где как-то
судьба исполнится. Но нет.

...Входил в прохладные соборы,
святилища и спальни королев,
решали гиды, скоры-споры, –

куда кидать (напра-, налево?) взоры...
За мзду туда пускали, обнаглев.

Но что помимо черни, это: реки,
текущий вывих двух отдельных Двин,
потоки памяти, которые, как рекрут,
форсируешь один.

Вот Волга... Смысл? Ведь – был, да вышел:
фазанами мазут, пейзажами народ...
Бетонный стоп воде; нет монумента выше:
– Умри за клочок земли, пусть он загажен, выжжен! –
плотина-Мать на осетра орет.

Он – оземь из воды. А было: люд – на гибель
во имя имени... Или – имен? Имян?
Навороти любые глыбы, –
всё в прорву унесет река времен (времен)...

...Как Моцарт сочинял в скрипучих зальцах
солнцестремительный клавир
и вниз в колбасную бежал отведать сальца,
(так и летят из Альп Изар и Зальцах,
зеленоструйные), и ноты не скривил.

Не то – иные... Он величия не ищет.
Гнездо соловье держит детская рука,
сперва касаясь крапчатых яичек,
и клавишей потом, или смычка.

А в наши мути-памяти вместились
Куры и Тибра мели и прыжки,
Гудзона черный блеск, меандры Миссисипи
и Сена серая, за то и всем – спасибо:
закрой глаза, и – у реки.

...А с Эйфелевой верхоты – и вовсе
...до невских кронверков и шпилей – напрямиком
2160 + 8
последних километров. Хоть пешком!

Но сердце белое Монмартра
и холм предсердья – заслонили взгляд.
Туда – наметил я на завтра.
Взобрался. Дождь полил внезапно,
в минуту всё смешал: Восток и Запад...

И я пошел в гостиницу назад.

Ноябрь, 1987
Урбана, Иллиной

ЧЕТЫРЕ

Парк машин подъездной,
проходной полу-сад,
здесь 4 ствола вот так и стоят:
темно-серых, чешуйчатых до самого сростка
там, где хвоя у них наверху,
с виду нежестка...
В облачных перьях над ними,
над местом видны
крыло-лапых 4 сосны.

Размахайны их профили;
патло-лохматое
время отхиповало когда-то...
Их неймет ни сякой снеготай,
и – ни листопад, –
в зелени остовы их, не таясь,
покуда живые, стоят,
черным на небо наляпаны:

четверо сразу
всунуты в воздуха красно-надбитую вазу...

...Старости и зари.
Врозь пока; но уже завелись визави:
закидон сразу двум,
а есть ведь и третий;
покартиниться хочется,
заново,
что упущено – встретить,
вспомнить былые рутины,
ритуалы тщеты...
Или же это 2 остывших четы?

То, что грело, то стало:
прахом и пылью – из пыла.
Видно, с первых примерок
всего-то и было:
рост,
да совместные опыты по добыче блаженств.
А воздетые длани –
не в местных традициях жест...
Им с отвычки бы пере-того эти пары,
чтоб остро и вдосталь...
...Да то же и будет,
за вычетом, разве, удобства!

То же, и – боль невтерпеж
вызвездит обязательно,
если $3 + 1$ у аншлюса расклёш.
Воли – с противоволями
столкновение лобовое;
любовь пожирается ревностью
и – обратно любовью.
Ни единого выхода,
круг и кругл треугольный мирок...
Плюс еще один ежится, одинок.

Одиночество –
вот венец абсолюта,
вот где слезы разводами отольются...
Сладко ль с другими гореть? Сам – сияй.
Одиночество – всех и вся...
Одиночество четверых,
даже с другими рядом,
даже древесное – под и над
пламенными:
Парадизом и Адом.

Ноябрь 87
Урбана, Иллиной

ОБЛИКИ

1

Блеснет высокоскулая раскосо
и – в узости замкнет меня, темна...
Где, зренье поощряя, хрящик носа
отбросит полутень в полутона

под челкой вороной. А с губ, а с лоска,
со, словно месяц, маленького рта –
гляди: взлетает желто-злая оска, –
ужалит враз! А ты-то: та – не – та...

2

А эта вот: не тоже ли оттуда?
Раздваивая образ-абрикос,
я облики рисую, 2 сосуда
так, чтобы светом таял алебастр.

Получится ли? Потому что – гибка
и хрупка с полусолнцем за ушком,
сама: цветок, улыбка и голубка,
по ноздри в злате, ходит босиком.

И то: могла бы плыть, лететь!.. На лире
могла бы мглу: бряцаньем – разменять.
А так серебро-зеленое колибри
высасывает сердце из меня.

3; 4

А смуглая, она (оно), – иное:
в межбровии – навывлет – лепесток...
Сквозь лоб я вижу мозг. И вот что внове:
еще не Запад, ни уже Восток,

но – вместе; и причудливую вазу
невидимо на голове несет
и радужно, и затененно сразу...
И – прыщут пятна красок и красот.

И – юнь юнейшая; а я – на убыль,
ее июля чтец, и лицегляд, –
и нет, и да: я ей не для прелюбы...
Для: образ от безлюбья исцелять.

5

Те были облики легки – кто: вечер,
кто: полумесяц... Лишь вот этот: ночь.
И девий, да, но и не человеческий
(звериный, что ль?) разрез ленивых оч.

Ее весь абрис выписан иначе,
хотя Прообраз – и един, и общ!
Ей, словно: целый мир еще не начат;
вся – лишь о ней – творительная мощь...

6

Куда тебе, гляделец лиц!.. – Младое
навстречу смотрит: из, и сквозь, и чрез
сиреневых, как у Лилит, ладоней
и этих ярких, медленных очес.

7

Взгляд отводя, очнешься: от: чего же?
Свидания, не так ли? Только где?
– В зрачках, конечно, воткнутой до дрожи,
на миг, на переморг ресниц, – нигде...

8; 9

И – вновь уловлен... Чем? Поводкой брови ль,
миндальных, стоп; (скорей, – маслинных) глаз?
Но прям не по медалям этот профиль –
по выгибам краснофигурных ваз.

И – правильно, и хорошо, что склонна,
и вовсе не к чему-нибудь, а от-,
а из – античных мраморов – и в лоно
сиюминутности, мгновеньями живет.

Капризничает... Загляденье, чудо:
запястий тонких, сильных плеч и рук...

Что этот знак? Приязнь? – Да не хочу я:
там – зренью делать нечего; каюк.

Там сердце: тут как тут, – и вспых контакта,
смеженье глаз, приоткрыванье губ,
касания тактильное стаккато...
– А вот и нет! Я – буду: взглядолюб.

10

Как ни хмелён тяжелый винный улей,
не там, не тем утешен водохлёб,
но – лепоте, лепнине всех июлей
предпочитая взгляд. И – лоб, и лед!

И – весь прохладный лад: льняные дали
ее, ея, которую я зрю, –
на выморг ока только, навсегда ли, –
такую не зазорно, как зарю

вос-созерцать! Но пристальные зерна
несносны ей... Ей-ей, наперерез
рванется, передернется озёрно,
и севером обдаст мой интерес.

11

А: вот – какой закончу (ну же, ну же!), –
вся – легкая, а жилами – крепка;
как полдень – рыж, так – солнечно веснуща
(что – с розой, что – с оружием) рука.

Такая встретит прямо все прямое:
взор, вызов. Если вынес – берегись.

С вот этой и в степи тебе – Приморье;
при жизни – чет и нечет. Парадиз.

12

И только с ней благословенна узость,
и – самый низ души – пошедший ввысь.
На полчаса хотя б, замолкни, Муза!
На пол-сейчас, пожалуйста, уймись.

*Ноябрь 1986;
Урбана, Иллиной*

Георгий И в а н о в

Несобранное

*Под редакцией и с комментариями
Вадима Крейда*

Antiquary, 1987

Первое комментированное издание неизвестных
стихотворений Георгия Иванова

Заказы посылать по адресу:
Emanuel Szein
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, CT 06477 USA

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНИНИАНА

Для начала – два вполне пристойных и дамских эпиграфа:

Надежда Крупская – Марии Ильиничне Ульяновой: *«Все же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась»* (1899).

Инесса Арманд (1907): *«Меня хотели послать еще на сто верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается»*.

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпиграфа, но только уже не вполне пристойных.

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален: *«Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе»*. Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами *«не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев»* (в серии *«Жизнь замечательных людей»*).

Инесса Арманд – Кларе Цеткин: *«Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А ну-ка, скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны и в Вашем следующем письме*

признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну, а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он обучился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: *«Париж – город громадный, изрядно раскинутый»*.

Но вот уже в 96-м году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге:

«Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице:

«Получил вчера припасы от тебя, (...) много снеди (...) чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции со здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной».

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь; мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба. *«Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой»* (1896).

А дальше, разумеется, – Шушенское.

«В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом прямо невозможно» (1897).

«Я еще в Красноярске стал сочинять стихи

В Шуше, у подножия Саяна...

но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат:

«А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже.

Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) – 50 земных поклонов» (1898).

И, сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конст-на высмотрит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: „Эк Вас разнесло!“ – отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны – «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1899).

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье. «Глупый народ – чехи и немчура» (Мюнхен, 1900). «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908). «Париж – дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции, вроде: «Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы всё ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909, Бретань). «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал

владельца автомобиля (виконт, чёрт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...') Надеюсь выиграть» (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я собираюсь взяться снова за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа напишет Надежда Конст-на» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Конст-ны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было возни большой с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, лето 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно: «Горький изнервничался и раскис» (1910). «Горький всегда был архибесхарактерным человеком». Или: «Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!» И несколько позднее: «И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И, «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову: «Лозунг мира – это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914).

А милой Инессе Арманд: «„Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов“. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?.. Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете „мимолетную“ (почему мимолетную?) „страсть“ (почему не любовь?).

Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимо-летные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским.

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же: «Требование „свободы любви“ советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей: «Если уж непременно хотите, то и мимо-летняя связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 тысяч ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливались, а **тотчас** были проданы в Скандинавию? Написать ее **тотчас**» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому:

«Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов. Зиновьеву: «Не помните ли фамилию Кобы? Привет. Ульянов» (23 августа 1915).

Тов. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Всё. Февральский переворот в России. Ленин: «Нервы взвинчены сугубо. Нужно скакать, скакать». «Мы

боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». «Нужен отдельный вагон для революционеров». «Я могу одеть парик». «Хорошо бы попробовать у немцев пропуска – вагон до Копенгагена». «Почему бы нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К° – могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инессе Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет. Ульянов» (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских – нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика» в опасности. Необходимы срочные меры. Например, такие:

«Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсенко. Он должен называться просто тов. Овсенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы их удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрить энергию и массовидность террора» (26 ноября 1918).

Тов. Сталину в Царицын:

«Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову:

«Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком:

«Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов. Федорову, председателю Нижегородского губисполкома:

«В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже отдельно – бывших офицеров? И кого стрелять, а кого вывозить? или вывозить уже после расстрела? И что значит «и т. п.»?

«...будьте образцово-беспощадны».

Тов. Шляпникову, в Астрахань:

«Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу:

«Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину, в Петроград:

«Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение [Юденича] со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, что за это председателей губисполкома и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву: *«Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).*

В отдел топлива Московского Совдепа:

«Дорогие товарищи! Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом. Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов:

«Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу М. Кржижановскому:

«Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2-х лекций, обучить не менее 10-и (50-и) человек электричеству. Исполнить – премия. А не исполнить – тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину:

«Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»:

«...организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В ответ на жалобу М. Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции:

«Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околокадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же: «Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками». «Нет, таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестинскому:

«Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник ее редактировал?»

Тов. Сталину в Харьков:

«Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву:

«По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом „критики“» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву:

«Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину:

«Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а т. Чуцкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, – **он совершенно незнаком с военным делом**» (9 марта 1921).

Л. Каменеву, Троцкому, Цюрупе, Шляпникову, Рыкову, Томскому:

«Прошу вас собрать совещание наркомов – об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Оборона:

«Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Серебровскому:

«Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже

малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна моя помощь?» (2 апреля 1921).

Тов. Брюханову:

«Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение. (...) НКПрод должен установить по губерниям и по уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому:

«Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их» (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову:

«Уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому представить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки: «Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечить трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток: «Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову:

«Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно, они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву:

«Почему это задержалось? [Имеется в виду печата-

ние ленинских «Тезисов о внешней торговле».] Ведь я давал срок 2-3 дня! Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть кого-нибудь! Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

«Наши дома загажены подло. Надо в 10 раз точнее и полнее указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки „Наказа СТО“, иначе я их посажу».

«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву: «Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).

«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Из новых книг я получил из Госиздата: С. Маслов. „Крестьянское хозяйство“. Из просмотра видно, что насквозь буржуазная пакостная книжонка, одурманивающая „ученой“ ложью.

Либо дурак, либо саботажник злостный мог только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой:

«Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев».

Наркомату почт и телефонов: «Обращаю ваше серьезное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного

комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности:

«Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).

В комиссию Киселева:

«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919:

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивались мордасы у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши:

«Все театры советуую положить в гроб» (ноябрь 1921).

Или телеграммы: «Какие вопросы вы признаёте важнейшими, а какие – ударными? Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП(б): «Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову:

«Мы еще не умеем гласно судить за поганую воло-

киту. За это весь Наркомюст надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов. Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением **жесточайших** кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину:

«Уволить из МВТУ 20-40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф. Э. Дзержинскому:

«К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.

Не все сотрудники „Новой России“ – кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал „Экономист“. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом Вам и мне» (10 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому поручено было 10-50 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину:

«Прошу немедленно поручить НКинделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (24 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой нервический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе:

«Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК – это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК – это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечитьсь вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом – Г. М. Кржижановскому:

«Я должен носом тыкать в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может» (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина:

«Нашу ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову:

«Я сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и

пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову:

«Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, что он болен и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключение – два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй – тоже.

Тов. Уншлихту:

«Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву:

«Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5-6 февраля 1988

ЯЗЫК ДОЖДЯ

Что сказать нам хочет дождь,
Мы давно не понимаем,
Звукам влажным не внимаем,
Вынимаем макинтош,

Раскрываем на ходу
Зонт, как черную преграду
Между облаком и садом,
С небесами не в ладу.

Не сливаясь, но вдвоем
Мы идем с дождем сердитым,
В перевернутое сито
Превратившим водоем.

Дождь штрихует горизонт,
Словно школьную тетрадку,
Поливает по порядку
Тротуары и газон.

Нагоняет суету,
И блестят от влажной пыли
Лица и автомобили,
Коневоды на мосту.

Как атлант у мостовой
Держит каменную нишу,
Парусиновую крышу
Я держу над головой.

Дождь стучится в крышу ту,
Бьет по крупу и по торсу,

Но, что значит это Морзе,
Нам понять неумоготу.

ОВАЛ

Время проходит сквозь нас, оставляя нас позади, —
Не зацепиться когтем, ни ласточкиным крылом
За прозрачного спутника, а кричать «погоди»
Все равно, что овал рисовать на воде углем.

Но рисуем, в то время как тишина, обнажив шаги,
Забирается в слух и камушком, холодна,
Чертит в светлом воздухе расходящиеся круги
От минуты, канувшей, но не достигшей дна.

Отразит ли полет круговая река времен?
Проходящий весом, но поступь его легка,
Как узор кружевной, слетающих с языка имен,
По колено стоящего в вечности мыслящего тростника.

В мире всякий объект — часы, но неровен ход,
Только в выборе точки отсчета мы и вольны.
Проходя через нас, удаляется пешеход,
Но овал возвращается на колесе волны.

НОЧЬ

Что нам и петь, как не эту ночь?
«Время прочь и пространство прочь».
То, что подскажет Урана дочь,
Глаз отразит точь-в-точь.

Проводом пробежит скворец,
Облаком пролетит Творец,

В синь панорамы вобьет торец
Царствующий дворец.

Пусть не сойдемся на этот мол,
Как предсказал нам поэт-щегол,
Все же сулит золотой прикол
Шпиль, хоть в правах – прокол.

Воздух светлей, чем экран в кино,
Ветки тасуют звезд домино,
Ветер качает осин руно,
Треплет углы панно.

Здесь нас пространство поймало в сеть,
Здесь научились любить, гореть,
Греть, не разменивать время петь
На автоматов медь.

Вновь желтоглаза не спит Нева,
Волны черны и луна нова,
Башня воде говорит «са ва»,
Светятся острова.

Мраморных статуй глаза пусты,
Спрятали белки хвосты в кусты,
Пары расходятся и мосты,
Как на ветру листья.

Песня имеет форму дуги,
Речи родной паруса туги,
Звук нас вернет на свои круги,
Но не подать руки.

Значит, не время нам вместе быть.
Тает в глазах горизонта нить.
Тем, кому выпало петь и плыть,
Стыдно судьбу винить.

ТРАЕКТОРИЯ

Ах, зачем нам входить в горящие города,
Похищать чужеземок, рассматривать хитроумные
чертежи?

Время выдуманно длинным,
как свет карманного фонаря –
Голубая воронка, полая изнутри.

Города и сердца завоевываются из чрева коня,
Не прельстить иноземок
иноходью журчащих строк.

Я лишь место и время, в которое поместили меня,
Сам себе фундамент и сам себе потолок.

То избушка на курьих ножках, то – небоскреб,
Захочу и в окно влечу, а не то, так вылечу и в трубу,
То мудрец-звездочет, упирающий в небо лоб,
То бродяга-философ, прогуливающийся в саду.

Не бывает ни время, ни место ни лихим, ни глухим.
Пышнохвостое существо ловит орех налету.
Траектория сделана из того же, что Элохим –
Конец и начало, соединяющие пустоту.

ПЧЕЛА

Из тесной трубочки цветка
С добычей пятится пчела
С улыбкою у хоботка,
С мохнатой думой у чела.

Не сосчитать пчелиных лет,
Да и какое дело нам,
Не отличившим пустоцвет
От чаши маленьким богам.

Мы, чудом не удивлены,
Природу пробуем на вкус,
Сосуды топчем без вины
И убиваем за укус.

А ты летишь, легка, легка,
Сестра цветка и ветерка,
Опустошенная душа,
В крылатом воздухе шурша.

ГЛЯДЯЩИЕ ГОРОДА

Хорошо бы жить одновременно в двух городах,
Говорить на родном и на другом языке,
И в воде разных лет свое отраженье узнавать,
Одинаково верное и неверное себе.

Научиться бы путать улицы и тупики,
Имена знаменитых всадников на вечнозеленых конях,
И листать страницы, где вечноюные старики,
Говорят (почему-то в рифму) о невеселых твоих делах.

Хорошо бы одновременно вдыхать
Воздух родины и другой стороны
Одинаково сладкий и понимать,
Что любая свобода есть акт вины
Перед ближними.

Хорошо бы одновременно входить
В реку времени, где «лежу» и «бегу»
Неразлучны, как города, глядящие из воды
На свои отражения на берегу.

НАШИ ИМЕНА

В глубине холодных комнат
Опустевшего музея
Бродят грустные кентавры
По паркетным мостовым.

А со стен глядят герои
Из двенадцатого года
На святых и на вакханок
В полупрофиль и анфас.

Иногда проходит мимо
Фрейлина или принцесса
И нашивки на мундирах
Начинают золотеть.

И стареющий фельдмаршал,
Положив ладонь на шпагу,
Смотрит на шуршащий бархат,
Вспоминая дым побед.

Радостные живописцы,
Умирающим искусством
Победившие столетья,
Где же ваши имена?

Наши имена – мундиры,
Складки на атласном платье,
Зайчик на эфесе шпаги,
Живость взоров, дым побед.

КАМИН В ЯНВАРЕ

Марине

Когда-нибудь, когда-нибудь
Остановлюсь я на бегу,
Отправят глаз в обратный путь
Сорочьи стрелы на снегу,
Морозный день над головой
Натянет белое сукно
И вновь оденет в кружевной
Платок окно.

И станет дом на самовар
Похож, когда пускает пар
Дверь черной конскою губой
При встрече с ветром и тобой,
И будет зеркалом луна
На миг отражена.

И вызовет в печном окне
Поленьев праздничный салют
Твой голос, тени на стене
Два абриса в один сольют,
И, вопреки календарю,
Январь не будет знать конца,
И будет жечь глагол «люблю»
Сердца.

Мы будем думать, что иных
Зим в мире не было и нет,
И гирьки ходиков стенных
Скользнут неслышно на паркет,
И впишет в форточный квадрат
Кошачье блюдечко луны
Январь, и свет запляшет над
Лицом жены.

Мы будем слышать по утрам,
Как воздух режет самолёт,
Как оставляет в небе шрам
Его игрушечный полет,
Естественный будильник наш,
Летающий в дальнюю страну,
Где стынет в пальцах карандаш,
Где я живу.

Здесь свет – не ты, и снег – не ты,
Но город в этом не виню,
Блестят наждачные листы
Опустошенных авеню,
Бросает красный блик камин
На скатерть – мол, еще горю,
И на нерусский стук – «come in»
Я говорю.

Соседка входит. Что-то пьет
Со мной. Играет в пустяки.
А между рам сквозняк поет
Надежным стеклам вопреки.
Содружества пример простой
Камина с памятью пустой
Понятней январю.
Рисуют стрелки час шестой,
Стучится утро на постой,
Но ночи я теперь «постой»
Не говорю.

ЛЕВЕНГУКИ

Давайте обменяемся именами
и эпизодами детства,
Мыльными пузырями юности,
вылетающими из ломких соломин,

Ветренными подругами
и уверенными друзьями,
Золочеными шишками
на ветвях новогодних елок.

Давайте обменяемся велосипедными номерами,
Задававшими тон лирической панораме,
С передисидящей ундиной на раме,
Еще не отдавшей должное ленкорани.

Воскресим июльский мокрый асфальт, трамвайные
трели,
Лужи в живых цветах неоновой акварели,
Голоса, наполнявшие на углу стеклянную будку,
Даря маршрут совместной прогулки, как незабудку.

Свидания телефонные, обещания, губы, звуки –
Реквизит нехитрой любовной науки,
Оплели нам невидимой паутиной руки
И глаза. Где вы, бывшие левенгуки?

Нам удастся ль увидеть вчерашних нас,
вокруг еще не стоящих,
Но из будущих состояний уже состоящих,
Еще мало стóящих, но уже таящих
Секрет золоченых шишек и настоящих.

Нам удастся ль поднять глаза,
еще не раненные чужими словами,
На эмалевый циферблат, пролетающий
над бывшими головами,
И на нас, не знавших, что мы и есть стрелки,
Кто секундная, а кто часовая.

ЗОЛОТОЙ СЕЗОН

Золотой сезон бродячих машин
Наступил. Сезон шебуршанья шин
По горящей листве. Мчатъ туда сезон,
Куда позже будет мчатъ не резон.

Знай себе лети, жми на педаль,
Превращая в близъ то, что было «даль»,
Пусть сирены воют чище волков,
Завернул за угол и был таков.

Небоскребов ножницы синюю жечь
Режут, где летает волчья шерсть
Облаков стремительных, как наша судьба
И язык с потерянным словом «ходьба».

Главное в езде – не подставить бок
В те поры, когда, зазевавшись, Бог
Штору задернет на голубом окне
И дыры в сукне станут ярче вдвойне.

За двойную скорость себя не суди,
Не гляди на то, что уже позади.
Обгоняя время, бери города,
Исчезая в будущем почти без следа.

Деревья-панки в аллеях шумят,
Бок небосвода закатом смят.
Мимо листопада лети сквозь судьбу
С ладонью тополя у Тойоты на лбу.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

От жены Аркадий знал, что муж Раи как будто служит в войсках МВД, но когда они вошли в комнату, Рая и он, ее муж, высокий, статный майор с неожиданно простодушным лицом, светловолосый, с ясными, васильковыми глазами, Аркадий понял, что жена его ошиблась, да и погоны на нем были, как у пехотинцев. Аркадий только что проснулся – вероятно, их приход разбудил его – и теперь, сидя рядом с ним на своем диване – военный осторожно опустился на самый краешек его, – сидя рядом с ним, Аркадий весь съежился – не то от прохладного речного воздуха, который они принесли с собой в каюту, не то от чувства неловкости за свою помятую пижаму, а может быть, за то предвзятое мнение, которое он составил о нем. Он весь съежился и превратился в комок, а португеза, перетягивающая фигуру военного, вкусно пахла кожей – не подделкой, не дерматином, а настоящей, поскрипывающей кожей, мысленно перенося Аркадия в далекие детские годы, когда их сосед по квартире, высоченного роста военный, приглашал его к себе в комнату и, вынув из кобуры тяжелый гладкий пистолет с вертящимся барабаном, давал Аркадию на секунду подержать его, а по вечерам крутил пальцем пластинку «Рио-Рита», потому что у патефона была сломана пружина, и в петлицах у него красовалась рубиновая шпала, и однажды он подарил ему свой будёновский шлем с такой же рубиновой звездой – в этом шлеме Аркадий решил специально пойти в церковь, чтобы спугнуть богомольных старух, зашипевших как-то на Аркадия, когда он вошел туда в своей обычной шапке, – а потом он исчез куда-то, и Аркадий решил, что его перебросили на границу, чтобы охранять наши рубежи, и лишь несколько лет спустя он узнал, что

его арестовали. Сжавшись в комок, Аркадий жадно всматривался в его лицо – как мог он хоть на секунду заподозрить его! – оно все светилось простодушием, застенчивостью и вот-вот готово было залиться румянцем – лицо деревенской девушки, впервые переступившей порог Московской консерватории, – лицо его было чем-то похоже на лицо его жены, тоже светловолосой, голубоглазой, приехавшей когда-то в Москву из дальней вологодской деревни и сразу поступившей в институт – там-то она и подружилась с Леной. После окончания она снова уехала на Север, стала завучем какого-то крупного техникума, вышла замуж, обзавелась детьми, теперь уже школьниками, и вот теперь они снова встретились – она почти не изменилась, все так же окала, чем-то смахивала на молочницу, но носила джерсёвый костюм, и он тоже окал, а может быть, Аркадию так показалось, поскольку они были похожи друг на друга.

Неподалеку от причала их поджидал «Москвич», сверкавший в лучах вечернего солнца.

Они ехали по набережной, протянувшейся вдоль широкой холодной реки, тоже сверкавшей на солнце; впереди виднелись баржи, портовые краны, причалы – казалось, стоит доехать до них, и город кончится, но, как только они приближались к ним, оказывалось, что это была излучина реки, и дальше снова тянулась набережная, и впереди снова открывались баржи, грузовые причалы, подъемные краны. Военный сидел за рулем прямо, словно пристегнутый к креслу, почти уперевшись головой в крышу. От набережной уходили боковые улицы – они вели куда-то в город, и Аркадия очень тянуло свернуть в одну из таких улиц, но у их хозяев был, по-видимому, свой план показа города, который они, наверное, выработали заранее, и ему не хотелось лишать их этого удовольствия.

– Для вас надо сделать дыру в крыше, – сказал Аркадий и тут же испугался, не обидел ли он его, но военный засмеялся, и Рая тоже захохотала, и Лена тоже,

и всем им стало весело, но он продолжал все так же прямо сидеть за рулем.

Наконец они свернули с набережной. На одном из перекрестков они притормозили, чтобы пропустить машину, шедшую им наперерез, но машина эта остановилась сама, пропуская их, и Аркадий заметил, что сидевшие впереди посмотрели на них так, словно хотели поздороваться. Теперь они ехали по главной улице города, обгоняя трамваи, мимо универмага, местного драмтеатра, ресторана «Заполярье» и недавно построенной девятиэтажной гостиницы на восемьсот мест. Военный давал пояснения, чуть поворачивая голову назад, впрочем, ровно настолько, чтобы не терять из виду дорогу, и в этот момент вокруг его глаза были видны жесткие морщины, а может быть, Аркадий просто не замечал их раньше.

Возле стандартного блочного дома они остановились и вышли.

Прихожая, как, впрочем, и вся квартира, сияла чистотой. Аркадий топтался на циновке, делая вид, что вытирает ноги. Он уже понимал, что им неизбежно предложат тапочки, но в глубине души все-таки надеялся. Когда надеваешь чужую обувь, всегда теряешь свою индивидуальность. Тапочки, которые ему дали, оказались раза в полтора больше ноги Аркадия – наверное, запасные тапочки военного, – и, шлепая ими по полу, он направился вслед за Раей и Леной осматривать квартиру. Затем, усадив их на диван, стоящий возле стола, напротив большого полированного серванта, Рая побегала хлопотать по хозяйству.

Он так неслышно вошел в комнату, что Аркадий не сразу заметил его. Китель он сменил на домашнюю куртку, на ногах его были тапочки, но галифе его так плотно обтягивали его ноги, что в первую минуту Аркадию показалось, что он по-прежнему в сапогах, но только каких-то особых, бесшумных. Он сел в кресло рядом с диваном, на котором они сидели с Леной, и наступила

неловкая тишина. Он сидел все так же прямо, как в машине, положив ногу на ногу, и слегка барабанил пальцами по ручке кресла.

– Вы уже были в отпуске? – спросил его Аркадий, чтобы прервать это затянувшееся молчание.

– Всего две недели как вернулись, – начал он, все так же постукивая пальцами по ручке кресла, – но, откровенно говоря, я уж и позабыл об отпуске. – Он тяжело вздохнул. – Трудно работать стало, особенно с молодежью. Слабохарактерная пошла, не то что прежде. – На секунду он окинул Аркадия взглядом, словно оценивая степень его благонадежности. – Представляете? За две недели два самоубийства. Один конвоир застрелился, другой повесился, прямо на посту. Нервы совсем измотались, не сплю... – Он снова вздохнул и участливо посмотрел на Аркадия. – А вы, наверное, тоже устаете?

Он протянул руку к выключателю и зажег люстру, висевшую над столом, и сделал он это именно в тот момент, когда это требовалось: на улице еще было светло, но в комнате уже царил полумрак. При ярком электрическом свете лицо его выглядело жестким и совсем немолодым; резко обозначились крутая линия подбородка и морщины вокруг глаз, а сами глаза его казались уже не васильковыми, а стальными, и Аркадий вдруг почувствовал, что этот человек занимает именно то место, которое ему следует занимать, и мысленно увидел его в караульном помещении с зарешеченными окнами: он сидит за столом, нет, стоит за конторкой, высокий, в серой глухо застегнутой шинели, с майорскими погонами и с пистолетом на боку, а за окном метель, и сквозь белесую мглу проглядываются только сторожевые вышки, расположенные по углам зоны, а здесь, в караулке, тепло, топится печка, но что это? Оттуда, снаружи, к полузамерзшему стеклу за решеткой прильнуло чье-то лицо, и взгляд, полный тоски, страха и надежды, обращен к этому высокому военному в серой шинели; человек за окном ловит каждое его дви-

жение, каждый его взгляд, он давно и тщетно пытается пройти внутрь, но часовой, стоящий у входа, не пускает его, но вот наконец он поймал взгляд майора, и тот властным кивком головы приказывает пустить его внутрь, и вот он уже стоит перед военным в своей рваной телогрейке, заочевенные руки по швам, но они дрожат и против воли человека тянутся к его груди, чтобы умоляюще сложиться там, и человек этот – он, Аркадий, к нему приехала мать – она уже три дня здесь, но ее не пускают к нему, и она из милости ночует где-то в холодной избе, и это ее последний приезд, потому что через месяц, ранним апрельским утром, когда в Москве весна уже будет в разгаре, а здесь все так же будет окутано снежной пеленой, ранним апрельским утром она умрет от сердечного приступа, одна в своей комнате, так и не повидав своего сына.

– Устаете, наверное, тоже? – в вопросе его слышалось не только участие, но и как бы подчеркивалась общность их судеб – оба они относились к среднему поколению, много видели, испытали – не то что эта нынешняя молодежь. – Ну ничего, сейчас отдохнете – по нашим северным волнам да морям; говорят, там красивые места, живем, можно сказать, рядом, а побывать не довелось – всё времени нет, – и он, словно извиняясь, развел руками.

– Да, да, – подхватила Лена, – я слышала, что места там потрясающие, – и она стала рассказывать о предстоящем путешествии.

Он внимательно слушал ее, иногда кивал головой и только один раз, извинившись, прервал ее, чтобы предложить Аркадию закурить. Щелкнув крышкой, он протянул ему свой портсигар, и рука Аркадия на несколько секунд в нерешительности повисла в воздухе, но он вспомнил, что даже там, под лучами слепящей лампы, даже там не отказывались от папиросы. Он чуть наклонился к Аркадию, поднося зажигалку, и в его зрачках на секунду вспыхнул отразившийся огонек.

– Представляете, мы увидим настоящие айсберги и даже белых медведей, – говорила Лена.

– Да, это интересно, – кивал он ей, – завидую вам, а мы всё на юг ездим, нам холода своего хватает.

Теперь он снова стоял в караульном помещении, высокий, в серой шинели, и его жесткий, твердый взгляд был устремлен сверху вниз на Лену, его жену, – она приехала к Аркадию и теперь униженно просила у него разрешения на свидание. Она была ниже его ростом, намного ниже, доставала ему только до плеча, и голова ее была запрокинута назад, и глаза ее робко, заискивающе и с надеждой сторожили каждое движение его губ, выражение его глаз – так смотрит женщина, которая только что отдалась – в эту минуту он мог сделать с ней всё, а за дверью, у ног часового, в снегу, утопал ее вещевой мешок, в котором она привезла Аркадию сгущенное какао, шерстяные носки и зубную пасту.

Заметив, что сигарета Аркадия догорела ровно настолько, что пепел мог упасть на пол, он осторожно пододвинул ближе к нему пепельницу.

Зачем все это? И зачем он здесь, в этой квартире? Надо было сказать, что они торопятся, сказать еще в машине и не заходить сюда. Впрочем, еще и сейчас не поздно. Можно себя плохо почувствовать, сказать, что они забыли запереть каюту или что-нибудь еще в этом роде. Но хозяева специально готовились: Рая ушла с педсовета, он тоже раньше освободился. И как это вдруг встать и сказать: «Мы уходим»? Он сразу поймет, да и она тоже, и Аркадий на секунду представил себе растерянное выражение их лиц. Нет, они не поймут. Но тогда зачем уходить? Ради себя. Да, но лично ему он не сделал ничего плохого. Но если так рассуждать, тогда... тогда, что такое зло?

Вошла Рая и, гремя тарелками, стала накрывать на стол. Лена хотела помочь, но он уже сам помогал ей,

расставляя тарелки и рюмки, нарезая хлеб, все так же бесшумно передвигаясь по комнате, в своих галифе, плотно обтягивающих его ноги, неожиданно, словно из-под земли, вырастая именно там, где требовалось его участие.

«Встать и уйти, встать и уйти», – мысленно твердил Аркадий, хорошо сознавая в то же время, что он этого не сделает.

Военный откупоривал бутылку коньяка, аккуратно срезая перочинным ножиком полиэтиленовый колпачок. У Аркадия никогда не хватало на это терпения, и он всегда раздирал его в клочья.

«Неужели я буду с ним пить? В конце концов есть же люди, которые не пьют. Откажусь и всё», – решил Аркадий, но военный уже разливал коньяк – сначала Лене, потом ему, потом Рае и в последнюю очередь себе. Детям, мальчику и девочке, он налил лимонада – смущенные, похожие друг на друга, на своих родителей и на всех детей в мире, они чинно уселись за стол, уставившись в свои тарелки.

– За встречу! За знакомство!

Военный привстал, потянулся через стол и чокнулся с Леной и с Раей, Аркадий тоже чокнулся с ними и тут же стал потихоньку, незаметно уводить свою рюмку, но военный нагнал руку Аркадия, и рюмки их соприкоснулись.

Что могло быть хуже? Он выпил с ним и вдобавок еще чокнулся. Теперь уходить, если бы он даже и решился на это, было бы не только бессмысленно, но и смешно: все равно что женщине подавать в суд на отца ее ребенка за то, что он лишил ее невинности. Единственно, что ему оставалось, – это снять тапочки, но кто увидел бы это под столом?

– Рыбка у нас отменная, северная, – военный протянул Аркадию тарелку с красноватой сочной семгой. Щеки его порозовели, и на секунду Аркадию показалось, что лицо его снова стало похоже на лицо деревен-

ской девушки. Он, конечно, заметил, как Аркадий пытался увести свою рюмку, не мог не заметить.

Он снова стал наливать коньяк, и, когда наполнял одну из рюмок, рука его чуть дрогнула, и немного вина пролилось на скатерть. С Аркадием это тоже случалось, особенно после первой рюмки.

Военный привстал и поднял рюмку, чтобы что-то сказать, но на секунду замялся – может быть, не знал, что придумать, а может быть, боялся, как бы Аркадий не повторил своей выходки. Рюмка его одиноко повисла в воздухе, и Аркадию показалось, что от него, Аркадия, все чего-то ждут.

– Ваше здоровье! – сказал он и, приподнявшись, чокнулся с хозяином дома.

– Ваше здоровье!

Дети тоже подняли свои рюмки, и, когда они пили, лица их сделались серьезными и сосредоточенными, словно они пили не лимонад, а настоящее вино.

Они ехали по вечерним улицам города. На мостовой блестели лужи – наверное, только что прошел дождь, и из-под колес машины разлетались искрящиеся брызги. Аркадий сидел впереди, удобно откинувшись на спинку кресла, голова его приятно кружилась, женщины о чем-то там сзади оживленно болтали.

Они неплохо провели вечер, не то что остальные «пароходники», которым некуда было приткнуться в чужом городе, и в ожидании отплытия они стаями или поодиночке слонялись по ветреной набережной, в сотый раз фланируя мимо памятника основателю города. Володя был не дурак выпить, и, когда женщины, смеясь и отказываясь, стали прикрывать ладонью рюмки, они вдвоем прикончили бутылку. Подмигнув в сторону Володи, Рая шутя пожаловалась, что в последнее время он стал частенько прикладываться, правда, слава Богу, дома, а потом, погрозив ему пальцем, добавила, что когда они с приятелем смотрят телевизор, то об-

суждают женские ножки, и Аркадий подумал, что Володя, наверное, так же, как и он, верен своей жене, хотя и не прочь изменить ей, а может быть, даже и изменяет, но как-нибудь невинно, так же, как и он. Щеки его покраснелись, глаза светились не то весельем, не то озорством, он исчез из комнаты, но тут же вернулся, неся на блюде огромные яблоки, больше похожие на муляж, – таких Аркадий не видел даже на ВДНХ – наверное, они были припасены для какого-то особого случая, а может быть, хозяева просто забыли про них, и теперь Володе было приятно удивить гостей. «Вот это да!» – ахнула Лена. «Откуда такие?» – не удержался Аркадий, и Володя рассказал, что это давали там у них, в штабе, и воображению Аркадия предстала небольшая огороженная площадка со спецларьком, в котором выдавали яблоки, и Володя держал авоську, а продавщица сыпала ему туда яблоки, и вокруг не было никаких заключенных, а если они и были, то уголовники, те самые хулиганы, которых боялся Аркадий, потому что они могли ударить, а Володя держал их в узде, в постоянном страхе, и поэтому защищал его, Аркадия, весь город и всю страну...

Машина лихо проскочила перед самым носом трамвая, и откуда-то сверху на них бенгальскими огнями с шипением посыпались искры.

Как приятно было бы жить с ними в одном городе и вот так вот ездить друг к другу в гости!

Теплоход светился всеми своими иллюминаторами и огнями, словно новогодняя елка, а здесь, на пристани, было полутемно, не торопясь прогуливались или стояли группами пассажиры, словно приглашенные перед началом костюмированного бала, и, когда приехавшие, победно и лихо отстучав дверцами машины, проходили мимо них в сопровождении высокого майора в форме войск МВД, Аркадию стало обидно, что здесь полутемно и никто не видит формы и знаков различия военного, но все-таки ясно было, что он – военный и высо-

кого роста, а вахтенный и толпившиеся на палубе уже безусловно различили, кто он, потому что вахтенный даже не спросил у них туристских книжек, а остальные молчаливо расступались, давая им дорогу и провожая их почтительными взглядами.

В каюте было жарко и показалось тесно.

– Садитесь, – сказал Аркадий и стал опускать окно.

– Давайте лучше осмотрим теплоход, – предложила Лена.

– Мысль хорошая, – поддержал Володя, и они вышли в коридор, но у Аркадия куда-то запропастился ключ от каюты.

– Я сейчас догоню вас, – бросил он им вслед и, вернувшись в каюту, стал рыскать в поисках ключа.

На столике лежала Володина фуражка – войдя, он снял ее и, наверное, забыл надеть.

Фуражка была очень представительная, с бордовым околышем и с рубиновой звездочкой – точно такой, как та, на буденовском шлеме, который Аркадию когда-то подарил их сосед по квартире.

Аркадий защелкнул дверь на предохранитель, надел фуражку и подошел к зеркалу. Она была ему очень к лицу, только, пожалуй, чуть великовата.

ЦЫПКИН Леонид Борисович (1926 – 1982) – доктор медицинских наук, автор около 100 научных работ, скоропостижно скончался от инфаркта после четырехлетнего ожидания и окончательного отказа в выезде и одновременного увольнения с работы. Писать он начал в начале 60-х годов, но его произведения так и не были опубликованы в СССР. Автор романа «Лето в Бадене», повестей «Мост через Нерочь» и «Норртакир», напечатанных в журнале «22».

Россия и действительность

Николай Б у х а р и н (?)

ИБО Я – БОЛЬШЕВИК!!..

Тем, которые придут

Вступление, публикация и примечания А. Рубинштейна

Где стирается призрачная грань между
«Wahrheit» и «Dichtung»? Там, где нет
лжи.

Что такое правда? Путь к Богу.

Если бы не ненавидел, то не было бы во
мне и Любви...

И. Б.

Königstein im Taunus

Летом 1924 г.

Несколько лет назад я купил у парижского букиниста небольшую книжицу, озаглавленную «Ибо я – большевик!» Автором этой брошюры значится Илия Британ, вышла она в Берлине в 1924 году тиражом 3000 экземпляров. Имя этого писателя было мне известно по сборнику стихов «Полдень» (Берлин, 1925), хранившемуся в моей библиотеке. Его любовная лирика, слегка окрашенная славянофильской мистикой, идеализирует рыцарскую любовь и представляет Россию как «сердце Христово» и «Божью Невесту».

Россия – это не место:
Его не видит глаз.
Россия – Божья Невеста,
О ней тоскует Спас.

Направленность и само заглавие брошюры резко дисгармонирует с пафосом поэтического сборника. Поэт, для кого

Русский текст под именем Н. Бухарина печатается впервые.

Россия – Сам Христос, вряд ли завершит свое писание восклицанием: «Ибо я – большевик!»

Уже при первом просмотре брошюры замечаешь некоторые несуразности. Текст этот, фактически являющийся весьма пространном письмом, открывается словами «Москва, Кремль, ... 1924 год». А в сноске к последней странице сказано: «Автор письма был предусмотрителен: оно напечатано на машинке и без подписи. И. Б.»

Выходит, что Илия Британ отрицает свое авторство, оглашенное на обложке.

Кто же является подлинным автором этой книжечки? Чтобы разгадать его имя, я стал искать сведения о Британе. Несколько других его поэтических сборников, хранящихся в Британской библиотеке, не содержат никаких сведений о поэте.

На ловца и зверь бежит. Но всегда ли? Многолетние искания редких книг и документов заставили усомниться в правоте этой пословицы. В этот раз повезло. Когда я уже перестал искать, случайно наткнулся на французский журнал в серовой обложке – «Ревю универсель» за март 1928 года. В оглавлении, на обложке, фигурировала статья Н. Бухарина, озаглавленная «Документ о большевизме» (публикация Ж. Удара и Г. Новика, стр. 513 – 539). Она оказалась переводом брошюры Британа «Ибо я – большевик!».

Приводим наиболее существенные пассажи вступительного слова Жоржа Удара:

«Русский текст предлагаемого документа был опубликован в Берлине незначительным тиражом. На обложке значилось лишь имя Илии Британа. Британ скрыл имя настоящего автора по понятной причине. Господин Британ, ныне проживающий в Германии, бывший член Московского горсовета, недавно был вынужден выехать из России, потому что выступил в защиту Троцкого. Ему было неудобно сказать правду, т. е. признать, что письмо принадлежит перу Бухарина, главному редактору «Правды», автору различных советских законодательных документов. Заявить об этом было неудобно, но, с другой стороны, он считал, что письмо это достойно публикации.

Небольшая хитрость, на которую пошел Британ, была не в состоянии ввести в заблуждение посвященных. Манера письма Бухарина, который, к тому же, не раз вполне откры-

венно выдает себя, легко узнаваема. Осведомленный русский читатель, которому Британ (несомненно, без согласия отправителя. – А. Р.) адресовал эту брошюру, прекрасно понимал, что к чему. Этот прием не нов: вызвать любопытство читателя, побудить его самого раскрыть тайну, которая так и рвется наружу.

Но французский читатель, мало смыслящий в этих вопросах, не способен оценить эту игру. Вот почему предпочитаю называть – без обиняков – автора. Ведь я, в отличие от господина Британа, вовсе не обязан щадить этого высокопоставленного большевика. Не я же принимал господина Бухарина у себя дома пред иконами, освещенными лампадой. Не я открывал ему свою душу. Не мне его благодарить за то, что он помог устранить из библиотеки компрометирующую книгу. Я-то никогда не яхшался с московскими товарищами и прекрасно отличаю свои интересы от их интересов. Поэтому я, нисколько не колеблясь, воздаю руководителю III Интернационала то, что ему причитается. За возвращение этого добра он, конечно, спасибо не скажет. Однако, если судить по его письму, ложь ему столь ненавистна, что он не решится опровергнуть мое утверждение.

(...) Никто еще никогда не читал исповеди одного из коммунистических вождей. Перед нами психологический документ первостепенной важности.

Чтобы лучше понять этот документ, следует объяснить его происхождение. Господин Британ до 1922 г. был одним из руководителей московских беспартийных. Этот необычный революционер являлся в то же время патриотом. Его тревожили судьбы России, что тогда весьма забавляло Бухарина... Британ и Бухарин в России были близкие друзья. Они часто спорили. Публикуемое письмо как бы продолжает их прежние споры».

К сожалению, французский журналист в своем сопроводительном слове умалчивает о том, откуда и как ему стало известно, что под именем И. Британа скрывается Н. Бухарин. Надежна ли эта атрибуция?

Мы уже знаем, что письмо было напечатано в «La Revue universelle». Главным редактором этого журнала был писатель и публицист крайне правых взглядов Жак Бэнвиль. Ж. Удар не скрывает своего антибольшевизма. Уж не антисоветская ли фабрикация? Не секрет, что враги большевистской

революции в своем желании скомпрометировать ее вождей прибегали к фальсификации. Приведем лишь один пример. В 1937 году издательство «Бодиньер» выпустило книжку А. Бэклера и Г. Алексинского «Тайные любовные связи Ленина, по воспоминаниям Лизы де К.». Почти четверть века спустя американский ученый Роберт Мак Нил, проанализировав содержание этой книги, доказал, что никакой Лизы де К. и в помине не было и что авторы сочинили эту книгу с целью очернить Ленина, выдавая его за такого Дон Жуана*.

С другой стороны, многие документы, объявленные советской печатью сфабрированными, были подлинными. Захоти какой-нибудь чудак опубликовать в 1952 г. завещание Ленина, его бы заклеили как фальсификатора – дальнейшее известно: весной 1956 г. миллионы людей узнали из уст Хрущева, что предсмертные слова Ленина, уже давно известные на Западе, были действительно им продиктованы. В книге П. Терюэля-Манья «От Ленина до бронетанкового коммунизма» (Париж, «Масперо», стр. 119) можно прочесть: «Наш друг Хасфельд, один из основатель партии и „Либрэри дю травай“, был исключен за то, что напечатал завещание Ленина»**.

Итак, каким образом Жоржу Удару удалось установить авторство Бухарина? Ларчик открывается просто. Сам адресат сообщил французу, кто автор письма. Несколько строк о личном знакомстве Ж. Удара с И. Британом находим в книге, которую Удар и Новик выпустили в том же 1928 г. Речь идет об очерке «Странствующие рыцари» («Les chevaliers mendians»), рассказывающем о буднях белой армии в годы гражданской войны. В главе «Москва! Москва! (Октябрь 1919 – март 1920)» утверждение о том, что, когда армия Деникина стала приближаться к Москве, кремлевские руководители начали готовиться к отъезду в Туркестан, сопровождается следующей сноской:

«Эти сведения, полученные через информационное бюро Добровольческой армии, были подтверждены бывшим членом Исполнительного комитета господином И. Б., который был вынужден уехать из России в 1923 году. С н и м ы

* Robert H. MC Neal. Lenin and «Lise de K...»: A Fabrication. – «Slavic Review», 1969, sept., p. 471 – 474.

** P. Teruel-Mania. De Lenin au panzer-communisme. – Paris, Ed. Maspero, 1971.

встретились в Берлине (разрядка наша. – А. Р.). Среди его бумаг еще хранятся распоряжения о подготовке к эвакуации. Он нам поведал, что в октябре 1919-го он встретил в Москве, на Пречистенке, главного редактора «Правды» Бухарина, который ему сказал: «Мы начали укладывать чемоданы. У меня в кармане уже лежит поддельный паспорт с аргентинской визой. В Аргентине я буду ловить попугаев. Я только что был у Ленина. Он один не теряет хладнокровия. Он мне заявил: „Мы в говне. (Nous sommes dans la crotte.) Положение хуже губернаторского. Но нам всегда везло, и в этот раз повезет, я уверен“»*.

Нетрудно догадаться, почему в одном случае, в «Ревю универсаль», факт личного знакомства вовсе не упомянут, а в другом, в книге «Странствующие рыцари», завуалирован (Британскрит под инициалами И. Б.). Берлинский адресат Бухарина – хоть и неявно – в 1924 году выдает человека, который ему доверился в пространном письме. Несколько лет спустя он прямо сообщает настоящее имя своего корреспондента французскому журналисту. Рискую не собой, а Бухариным. Нам неизвестно, какую роль сыграли эти две зарубежные публикации в гибели Бухарина.

Отмечая пятидесятилетие со времени расстрела только что реабилитированного «любимца партии», мы воспроизводим – впервые под именем Н. Бухарина – его письмо-исповедь, письмо-пророчество.

А. Рубинштейн

Москва, Кремль** 1924 г.

Мой дорогой Изгнанник!

Вы совершенно неисправимы: ни тяготевший над вами расстрел, ни долгая ссылка к чёрту на кулички, куда мы упекли вас три года тому назад, не стесняясь вашим громким званием „члена Московского Совета“, ни, наконец, высылка за-границу, где мы хотели проучить вас прелестями „гнилого Запада“ и тоскою по дорогой вам Москве, – увы, ничто не

* Georges Oudard et Dmitri Novic. Les chevaliers mendiants. – Paris, Plon, 1928, p. 136.

** День и месяц неразборчивы. – И. Б.

заставило образумиться вашу буйную никчемную голову. С одной стороны, говоря откровенно, мне эта ваша последовательность даже нравится, но зато, с другой – теперь для меня совершенно ясно, что обоим нам нет места под русским солнцем и что вы сможете его увидеть только в том случае, если капризу истории (а по-вашему: богу!) угодно будет вышвырнуть нас туда, где сейчас пребываете вы и вам подобные.

Помните, как часто я беседовал с вами „по-душам“ (хотя никакой „души“ не существует: вздор!), отлично зная, что вы – отъявленный, никем не превзойденный „к-р“, и что моя глупая откровенность нарушает „партийную дисциплину“? Но я все-таки не мог отказать себе в удовольствии еще и еще раз прийти к вам в ваш тихий потусторонний уголок, озаренный лампадками под образами, и поглядеть на вас, углубившегося в мистическую чепуху какого-то Федорова, Владимира Соловьева и даже Якова Беме, которого, вероятно, никто другой в наши дни и в руки взять не решится. Помните, как я рассказывал вам о наших делах и делишках, сообщая самые невероятные случаи из советской и партийной действительности, которые, к сожалению, не были анекдотами, хотя и звучали хуже „скверного анекдота“. Как печально вы улыбались, например, тогда, когда я повествовал о наркомздраве опереточной Туркеспублики товарище Дешевом, который намеревался, в целях охраны красноармейцев от неприятных заболеваний, устроить советские публичные дома по последнему слову медицинской науки и получил от партии выговор „за подачу явно некоммунистического проекта“, к тому же еще украденного им у известного героя некрасовской поэмы; вы улыбались, а вот эротоманки из женотдела Ц. К. партии (так называемая „Центробаба“), они были в колонтаевском восторге...

Подолгу, иногда до рассвета засиживался я в вашей келье, находившейся вне времени и вне пространства, и не раз, признаюсь, побаивался, как бы наши чекисты, коль они нагрянут к вам с очередным обыском и приглашением „на Лубянку“, не застали бы одного из „вождей мировой революции“ в этом столь не подходящем для него обществе... Где-то до обалдения трещали телефоны, разыскивая меня для того, чтобы потащить на ночное заседание Ц. К.; где-то в три этажа большим боцманским загибом ругался Ильич, коему докладывали, что меня „нигде нет“, – а я продолжал вы-

балтывать вам такие вещи, о которых никогда не решился бы, да и сейчас не решусь сказать ни одного слова никому на свете...

Очевидно, это было с моей стороны простой человеческой слабостью, в чем я потом (и не один раз!) упрекал самого себя; но разве ваш Достоевский (смотрите: наизусть помню... Не даром, видно, вы прозвали меня „мальчиком из Достоевского“!) не говорит устами пьяненького Мармеладова: „Ведь, надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!“

Эх, все мы такие же „пьяненькие“ (одни – от вина, другие – от мечты, третьи – от крови...), все мы – люди, хотя вы, с высоты своего псевдохристианского лжесмирения, не раз отказывали мне в этом малоуважаемом мною звании, – несмотря на то, что тоже любили меня (я это чувствовал!), сами не зная за что.

Теперь, когда наш общий друг, которого тоже раздрает „русская злая тоска“, едет за-границу отдохнуть от советского рая, мне хочется „пойти“ к вам, вероятно, в последний раз, и я умолю этого питомца Маркса, Лермонтова и Бодлэра передать вам в собственные ваши ручки сие письмецо, дабы хоть его не узрело всевидящее око Феликса, – кстати сказать, – пребывающего в состоянии мрачной коммунистической ипохондрии, эпидемически среди нас свирепствующей после окончательной смерти Ленина и убившей хорошего славного Лутовинова^{1*}.

Итак, поговорим в последний раз и, как всегда, – на разных языках...

Как хорошо, что вас здесь нет! В эти дни никакое и ничье заступничество не спасло бы вас ни от Устюга и Нарыма, ни от более неприятного путешествия – „на луну“...

Паршивое времячко: приходится, *volens-nolens*, бросать жирные кости диким и ненасытным „низам“ партии, которые, впрочем, здорово отощали в период „нэпа“, спасшего нас от неминуемого краха; но иначе поступить, поверьте, невозможно, ибо в противном случае это коммунистическое быдло разом опрокинет всю постройку, и мы рухнем в бездну вместо того, чтобы творить социальную революцию, кото-

* Примечания – в конце текста.

рая, на самом деле, чертовски запоздала... Мы здорово обманули тех, кто по глупости или по жадности к легкой наживе поверили в наше: „всерьез и надолго“, хотя не мы ли (и так недавно!) обобрали их и расстреливали, как бешенных собак. Мы обрекли в жертву коммунистическим илотам тех, кого сами же, и — с таким трудом, создали, чтобы их доить и стричь, а отнюдь не резать. Мы одной рукой манним к себе заграничный капитал, ибо иначе казне нашей — каюк, а другой — мы душим его у себя, ибо иначе... нас задушат.

Паршивое времячко! Но — встань сейчас сам Ленин, с телом которого у нас такая досадная и прибыльная для ученой шатии возня, и он, вероятно, только выматерился бы почище десятилетнего комсомольца и уехал бы на охоту или удрал обратно, не зная, что делать.

Ах, нет: может-быть, он и только он придумал бы выход из этой дьявольской паутины! Ведь вы-то знаете, чем силен и, поэтому, велик был наш Ильич, которого вы совершенно зря величали слепым пророком третьей величины. Правда, вам известно, что Ленин был лиговым теоретиком, и его, с позволения сказать, марксизм, ныне именуемый ленинизмом (слово — почти неприличное!), действительно представляет из себя дурную мешанину из Бланки, Бакунина, пугачевщины и, как вы добавили, чего-то от Федьки-каторжника²; правда, вам ясно, что его философские познания были смехотворными, а книжка: „Материализм и эмпириокритицизм“ навсегда останется образцом крайней тупости в абстрактных вопросах; знаете вы и то, что даже политической экономии он смело мог бы поучиться у моих „свердловцев“, и я не раз публично и к ужасу партийного синода разоблачал его невежество в этой области... Видите, как резок я сам и как искренен, когда речь идет о правде (но не... в „Правде“: простите за дурной каламбур, к тому же и не новый!), — все это так, и только по дешевке купленные нами академики, сменовеховцы и прочая гредескуловщина должна думать и, разумеется, писать о нем иначе.

Но не вам ли я, и так часто, рассказывал о том, о чем говорится даже у Зиновьева, коему, как известно, при всем моем коммунистическом пиетете, я никогда не подам руки, чтоб не запачкаться, хотя бы за это неуважение само политбюро пригрозило мне долгосрочным отпуском...

Вспомните! Когда летом 1917 года среди нас раздавались голоса о том, что надо идти к Керенскому „арестовываться“ и, опровергнув на публичном суде сказочку о немецком шпионаже, доказывать со скамьи подсудимых истину большевицкого корана, — кто, как не Ленин, остановил нас, изругав дураками, и предсказал переход к нам государственной власти через пару месяцев?

Вспомните! Когда все, а в особенности — Троцкий, настаивали на неприемлемости мира с немцами, кто, как не Ленин, заставил нас подписать „похабный мир“ в Бресте, предсказав гибель Вильгельма и революцию в Германии?

Вспомните! Когда все мы, как бараны, стояли за крайний военный коммунизм и расстрелами заставляли проклятых крестьян отдавать нам весь их хлеб, — кто, как не Ленин, увидав, что мы не сегодня — завтра загремим и негодяй Пахом отвинтит нам башку, закричал нам: „Стой! Хватит, болваны: воротите оглобли!“ и в последнюю минуту заставил нас перейти к „продналогу“, как, между прочим, и называлась изруганная мною брошюрка Ленина, в теоретическом отношении — совершенно бездарная?..³

Кто, как не Ленин, осмелился, к ужасу „чистых“ коммунистов (а, следовательно, — и к моему ужасу!), провозгласить „нэп“ и, тем самым, спас положение всей партии?

Кто, как не Ленин, обокрав сначала эс-эров, а потом и меньшевиков, стукнул им всем по голове, взял в руки дубинку и даже с нами разговаривал лишь после того, как он сам все решит? „Не хотите? В таком случае, чорт с вами: вы мне надоели, и я на дачу уеду“, громыхал он. И мы этого: „на дачу уеду“ боялись пуще Деникина; и молчали; и подчинялись; и все, вопреки теории да программе, получалось великолепно!

А не припомните ли вы, кстати, как однажды ночью мы встретились с вами на погруженной во тьму, — тогда даже Ц. К. заседало при лампочке в 16 свечей, — Пречистенке: Деникин был под Тулой, мы укладывали чемоданы, в карманах уже лежали фальшивые паспорта и „пети-мети“, при чем я, большой любитель птиц, серьезно собирался в Аргентину ловить попугаев. Но кто, как не Ленин, один только Ленин, был совершенно спокоен и сказал, и предсказал: „Поло-

жение —* Хуже — не бывало. Но нам всегда везло и будет везти!“

А когда сатанинское кольцо блокады сжалось до такой степени, что мы подумывали о полной сдаче на милость победителей, — кто, как не Ленин, говорил о том, что кольцо лопнет, и что он скоро побеседует с европейскими дипломатами за общим столом?.. Ах, да что там! Таких озарений и пророчеств было без числа, и в этом мы почерпали веру в нашу работу и нашу победу даже тогда, когда глупые факты подкладывали нам свинью двадцать раз в сутки.

Да... если бы Ленин и теперь был с нами! О, я всегда говорил вам, что самое ужасное и самое контр-революционное существо в мире (контр-революционнее даже... вас!) это — Смерть: пока мы работаем тут над освобождением пролетариата от экономического рабства, немец должен, — слышите: должен, — скажите ему это от нашего или, по крайней мере, от моего имени, — выдумать средство против этой курносой меньшевички; иначе, право, будет мало и толка, и смысла даже в осуществлении за земле Мирового Союза Социалистических Республик. Бессмертие — это хоть и не написанный, но главный пункт нашей программы: говорю вам сие, как ее автор.

Итак, мы — в пустыне и — без вождя!

Посудите сами...

Сталин — нуль, и все спасение видит еще в одном (котором по счету?) миллионе трупов.

Каменев — нуль и поучает нас, как удобнее всего сидеть между двух стульев.

Крупская — нуль и просто — дура⁴, которой мы, для очередного удовольствия „низов“ и для пущего бума да шума, разрешили геростратничать, сжигая библиотеки и упраздняя школы, будто бы по завету Ильича: на мертвых все валить можно, ибо они, как известно, сраму не имут.

Зиновьев... о нем разрешите не говорить.

Рыков — нуль и даже разучился острить (единственная его способность: будь он трезв или пьян!), к бесконечному удовольствию Луначарского, которого он прозвал Лунапаркским и Лупанарским, а вместо наркома совершенно правильно величает наркомиком.

* Слово — неудобопечатное. — И. Б.

Дзержинский — нуль, если, разумеется, дело не касается Г. П. У., в филиалы коего он превращает все решительно ведомства, куда бы мы его ни послали.

Я? — Ах, голубчик, и я — тоже нуль, если свести меня с трибуны или с кафедры или вытянуть из-за письменного стола да приставить к „делу“: отлично зная себе цену, я, поэтому, сроду никаких „должностей“ не занимал тем более, что при моих спартанских вкусах — наклонностей к воровству не имею.

Знаю: вы ждете моего слова о Троцком. Но и он всегда был политическим нулем, правда — большим нулем, и останется им до конца дней своих, даже если судьба все-таки сделает из него коммунистического диктатора.

Прежде всего, в Троцком, который поплелся в нашу партию лишь накануне „октября“, когда, конечно, это было для него единственным путем в карьере, — в нем нет ничего истинно коммунистического; и поэтому, как всегда, прав был Ленин в своей нелюбви, в своем недоверии к нему.

Троцкий создал красную армию? Полноте: во-первых, если хотите знать правду, никакой армии у нас не существует, если не говорить о парадах, о демонстрациях против мирового милитаризма (!) и об усмирении всяческих восстаний внутри страны, а один виднейший немецкий генерал, коему мы предложили взять на себя верховное инспектирование этой самой „армии“, приехал в Москву, поглядел и махнул рукой, сказав нечто весьма нелестное и только рабфактовцами произносимое; во-вторых, не сам ли Троцкий выразился, что его армия это — редиска, красная снаружи и белая внутри; и недаром С. С. Каменев, ее фактический вождь и царский служака, все еще не коммунист, загадочно крутит свои великолепнейшие усы и внушает нам неподдельный страх своим молчаньем, которое таит в себе, чорт знает что...

Нет большего труса, чем Троцкий, и поэтому он так любит громкие хвастливые (и всегда — холодные и фальшивые) речи и демагогические словечки, хотя часто и путает в них, — когда-то, например, к стыду нашему, процитировав в одном из своих знаменитых приказов по армии и флоту не более и не менее, как фразу Христа, обращенную к Иуде-предателю: „Что делаешь, делай скорей“; не правда ли, даже для коммуниста — не удобно?

Помните, когда пресловутая дискуссия о профсоюзах угрожала и расколом партии, и заменой Ленина Троцким (в этом и была вся сущность дискуссии, скрытая от непосвященных под тряпьем теоретического спора!), Троцкий, имевший за собой на съезде большинство, потому что секретариат не доглядел, и были „выбраны“ не те представители с мест, — Троцкий в последнюю минуту испугался власти и ответственности и постыдно скрылся в кусты, как провинившийся Трезор.

А возьмите, наконец, последнее „выступление“ Троцкого, так дорого обошедшееся его легковерным друзьям и сторонникам, коих он просто на просто предал („что делаешь, делай скорей“?) Зиновьеву и Сталину за 30 серебряников: без всякого труда он мог сесть на освободившееся, за смертью Ленина, место партийного диктатора, ибо и „низы“, и, так называемая, армия были в этот момент за него, — но он опять-таки постыдно струсил, по приказу „тройки“ заболел, отправился на „погибельный Кавказ“, где, подражая Николаю II, — он всегда кому-нибудь подражает, — стрелял ворон, а в Москву вернулся тихой стриженой овечкой, спевшись с кем надо, и теперь вновь фрондирует на словах, которым уже никто не верит, угрожает войной всей Европе, подражая на сей раз, кажется, Павлу I.

Троцкий? — „И хочется, и колется, и маменька не велит...“

Он холодный, как ледышка, и только наивные люди его фальшивый пафос и наглость (наши партийные юдофобы давно это подметили!), бесконечную наглость принимают за святой огонь революции. Помните, как эта говорящая машина стояла у рампы Большого Театра, принимая овации присутствующих дураков: задранный нос, лицо как у мумии, ни кивка. Чурбан, „голем“...

Ах, покойный Ильич говорил так просто, — как дитя: так, мол, и так, мои милые; это мое мнение, и оно, я знаю, правильное; не согласны? тем хуже для вас, но все равно я поступлю по своему, а не по вашему; прощайте... Да, так говорят, с одной стороны, дети, а с другой — некоторые из мужичков, которые не любят витиеватости, и не даром внутренний облик Ленина во многом напоминает Тургеневского Хоря. А Троцкий? Все — фальшь, все — ложь, все — поза (хуже Керенского!), все — самореклама и — еще раз — наглость...

Троцкий? Нуль – ваш, то-бишь, к сожалению – наш товарищ Троцкий!..

Ну, стоит ли после этого говорить о четвертом сорте, – о Красине, о милом Крестинском (не доглядел, розиня, за нашими молодцами в торгпредстве!), о Сокольникове, который помер вместе с Кутлером, о Преображенском и других сынах старой гвардии? Ведь, эдак, чего доброго, придется испачкать бумагу именем Стеклова...

Да, да, все – нули, а молодая гвардия, мои „свердловцы“ да комсомольцы, „ленинский набор“ и перебежчики из чужих партий плюс наши иноземные содержанки (у нас их – до чорта!) – это уже не нули, мой милый, а такие минусы, с которыми – головы не приложишь, как разделаться!

Нуль, умноженный на нуль, – это даже красные студенты знают, – есть нуль; вереница нулей, хоть тянись она от Кремлевских стен до Тихого Океана, – тоже равна нулю, если слева нет другой цифры, а у нас и справа, и слева – шиш на граблях...

А воруют... Donnerwetter, как воруют! Вор на воре взятой погоняет...

Тут – какая-то чортова загадка: почему люди, которые совсем недавно жертвовали собой, жили не хуже дорогих вам „подвижников церкви“ истинными аскетами, вдруг полюбили особняки (непременно – особняки: квартиры, хоть в 20 комнат, им мало!), шампанское, кокоток, да которые подороже, из балета, собственные поезда, „тридцать тысяч курьеров“, а жены их – бриллианты в орех („нельзя ли с царицы?“), альфонсов и, конечно, десяток новых платьев в месяц, если не из Парижа, то хотя бы (с кислой миной!) от Ламановой... В чем тут дело? Отчего, например, Иван Иванович, который раньше десятки лет жил впроголодь со своей некрасивой женой, но тоже большевичкой, который, получи он завтра миллионное наследство, все до копейки отдаст его партии, – отчего это теперь он залез в особняк на Поварской, жену прочь, „расписался“ с девочкой в 17 лет, раскрашенной да раздушенной, и бессовестно торгует своими визитными карточками: „Милый Коля, сделай такому-то, – он всегда был другом революционеров, – то-то и то-то“, „Милый Феликс, освободи, пожалуйста, таких-то, коих знаю, как честнейших“ и т. д. Ведь чуть ли не вся страна управляется такими дружескими „записками“, покупаемыми подчас за

такие деньги, на которые можно купить самые ценные автографы величайших гениев мира...

Фу, от партии пахнет „жареным“ на расстоянии от земли до солнца!..

Ну, пусть Демьян Бедный пьянствует с буржуями, если ему кремлевского спирта мало для его вдохновения: тут хоть для революции пользы. Но как это у наших лучших товарищей, которые стоят за беспощадный расстрел взяточников, рука поворачивается делать то же самое, за что они час тому назад казнили другого? Разве не раздаются голоса за то, что „самоснабжение“ (по старому – „кормление“) – не грех, что с буржуа за „честное“ дело, в виде подарка, разрешается получить, ибо это не взятка, где за деньги делают что-то „незаконное“...

О, диалектика революционного марксизма! Вот до чего ты докатилась...

И недаром, поэтому, „глас народа“ всех нас валит в одну кучу жуликов, куда однажды сунули даже бескорыстнейшего Жоржика⁵, а завтра, чего доброго, спихнут и меня, а вы знаете, что для меня деньги, комфорт – звук пустой, что для меня революция – все, и, потребуй она от меня жизни моей любимой жены, я спокойноенько утоплю ее в умывальном ведре – медленно и мучительно...

В чем же тут дело? Отчего воруют? Право, тут какой-то закон...

Ваше объяснение я знаю: вы дали его, обвиняя шантажиста и взяточника Малышева, который проделывал всякие гнусности, будучи следователем М. Ч. К.: „Где грязно, там всегда заводятся клопы“, изрекли вы трибуналу...

Позвольте, это же не так: революция не грязь, а священный огонь, и вы, которого, если уже говорить правду, я всегда считал революционером (да, да: не обижайтесь!), вы не смеете так обобщать единичные и случайные факты...

Ах, но дайте мне большого, честного революционера-коммуниста!!!

„Такой нэ бывает“, скажете вы словами армянского анекдота...

Лжете! И вас все-таки надо расстрелять!..

Нет, шучу, шучу...

Вот, значит, каковы у нас теперь дела...

„Россия гибнет!“ воскликнете в свою очередь и вы, славнофил наших дней, верящий в „свет с востока“ и в божественную миссию неблагодарного отечества. Известное дело, вы – поэт, а мы, хотя тоже романтики, по мнению некоторых, – но мы творим наше дело не только пером и не только на бумаге, а также огнем и мечом и на скрижалях проклятой суровой действительности...

Да, я, пожалуй, тоже романтик и, подчас, – сентиментальный щенок, отравленный ядом иронии: до сих пор в Копенгагене дети вспоминают обо мне, как о своем лучшем друге, а как-то в заседании политбюро я совершенно серьезно отстаивал одного из сильно провинившихся товарищей, который был мне дорог, потому что у него была... ручная галка, им самим, представьте себе, выдрессированная... Скажете, дурака валяю? Не знаю; и знать не хочу...

Но при чем тут дети да галка? Давайте говорить о вашей России.

Помните ли вы, как вы однажды выгнали меня из своей комнаты, когда я – это было под утро – в жарком споре с вами открыл вам все наши карты, признав, что у нас нет никакой „советской власти“, никакой „диктатуры пролетариата“, никакого „рабоче-крестьянского правительства“, никакого доверия к нашей дурацкой партии, а есть лишь очень небольшой орден вождей грядущей в мир социальной революции (на подобие тех „масонов“, в которых вы, хоть и не по Нилусу⁶, но все же верите!), в ответ на ваше надоевшее мне сравнение нас с „бесами“ выпалил, потеряв остатки хладнокровия, что Д о с т о е в с к о г о , к с о ж а л е н и ю , н е л ь з я р а с с т р е л я т ь ?

Вы, добрый друг Франциска Ассизского и „Христов рыцарь“, не могли простить моего плевка в вашу святыню: хорошо еще, что, изгоняя меня из своего храма, вы не имели в руках христианского бича... Не то я, пожалуй, за револьвер схватился бы!

Ах, я и сейчас, несколько лет спустя, с удовольствием повторяю: Достоевского мы, конечно, пальнули бы, да и Толстого прибрали бы к рукам, если бы он снова „не мог молчать“, при виде нашей работы.

Но – зачем отвлекаться: очень рад, что их нет, и я вас огорчаю лишь платонически.

Да выпалил я тогда здорово, и... что за лицо у вас было в эту минуту...

Но теперь я выпалю, – предупреждаю вас, – нечто похуже.

Россия? Что такое Россия?

Для вас даже в самом слове кроется тут некая „тайна“; для вас оно горит где-то в раю (но не в коммунистическом!) на престоле у вашего бога, который, разумеется, в ваших глазах представляет из себя космического монарха без намеков на конституцию; для вас это

Шесть букв из пламени и крови
И царства божьего ступеней...

Ну, а для меня, для нас это – только географическое понятие, кстати сказать, нами, без малейшего вреда для революции, с успехом упраздненное; для меня это – тоже слово, но – старое, никому не нужное и сданное, поэтому, в архив мировой революции, где ему и место.

Для меня современная Россия, т. е. С.С.С.Р. это – случайная, временная территория, где пока находимся мы и наш Коминтерн, которому (это в скобках!) ваш глупый Запад с его близорукими, безмозглыми правительствами денег все-таки даст, ибо, как ни как, а социалисты скорее наши, чем ваши, – даст, не понимая, что мы на эти самые фунты и франки зажжем Европу, пролоим всем им их приспособления для цилиндров...

Помните (я нарочно так часто напоминаю вам о прошлом!), как вы, став членом Московского Совета, лидером „беспартийных“, которые, будучи взяты нами для декорации в количестве 30% всего состава этой говорильни, ни разу, конечно, не поддержали вас... даже тогда не поддержали, когда вы имели наглость потребовать от нас созыва учредительного собрания (это в 1921 году? Чудак!), – помните ли вы свое громовое послание к Ленину, написанное вами, как „народным депутатом“? Мы все ужасно смеялись, читая ваши искренние благоглупости, которыми вы хотели поучать нас, объясняя, что такое Россия, и в чем ее истинное назначение. Ах, тогда вы сами верили в Ленина и думали, что царь-батюшка не видит того, что видите вы, и что злые слуги-советчики скрывают от его ясных очей горе и муку любимой вами и близкой сердцу цареву – России... Вы, в своей визан-

тийско-московской романтике, были так же, мягко выражаясь, наивны, как и все русские люди, питавшиеся подобной пищей на протяжении целого ряда веков их глупой, глупой истории.

Нет, мой птенчик, Ленин и все мы (мы, т. е. „орден“!) понимаем русскую действительность не хуже вас, а знаем, — во всяком случае, больше, — знаем все, потому что от нас вездесущий Феликс, поставивший за спиной каждого советского гражданина по паре чекистов, не скрывает и не смеет скрыть ничегошеньки...

Знаете ли вы, что сказал Ильич, имевший терпение (гордитесь!) до конца дочитать ваше послание, „полное яду“? А вот что, — теперь открою вам: „Хороший он, повидимому, человек и жаль, что не наш“. Потом, откашлявшись, добавил: „И — умный, очень умный, но — дурак!“

Как вы не понимаете, что то, что дорого вам *an und für sich*, как некая абсолютная самоцель („Россия“, „Русь“), нас интересует лишь постольку, поскольку речь идет о материале и о средствах для мировой революции? Нам нужны, — прежде всего, более или менее прочный кров, а затем — деньги, как можно больше денег.

Для того, чтобы получить денежки, мы не только дважды обобрали (и еще двадцать два раза оберем!) девяносто процентов России, но и распродадим ее оптом и в розницу, потому что, господин патриот, вся она к нам с лихвой вернется в желанный час мировой революции, во имя которой „все дозволено“, — нет-с, мы для этого не постеснялись открыть работающие круглые сутки государственные игорные притоны, организованные нам мужем жены нашего Левушки⁷, „красным Распутиным“, Мишкой Разумным. Ну, его самого мы ликвиднули и за ненадобностью (у нас в нашем финансовом ведомстве нашлись арапы не хуже!), и в виду того, что он больно зазнался, скупив половину наших вождей, — кого за деньги, а кого за девочек. Конечно, знаем: „что прежде было распутно, то ныне стало разумно“, но и это — тайна коммунистической диалектики, до которой немецки-тяжеловесный Карлуша Маркс дойти, в виду своей явной буржуазности, разумеется, не мог. Сие — прогресс!

Игорные дома? А почему нет! Мы, может-быть, и прозкотиком товарища Дешевого воспользуемся: то-то смеху бу-

дет, и Гришке найдется, наконец, самый подобающий ему пост завгоспубдомами!

Э, мы и водочкой заторговали бы пуще покойника⁸, и, сами знаете, к этому готовились („Главстекло“ посуду работало; самогонке священную войну объявили!), да, скажу откровенно, — испугались того же самого Пахома, который в трезвом виде смиреннее телка, а в хмелю — уж больно буен и за вилы хватается...

Ну, а картишки да рулетка, лото и тотализатор — вещи невинные, детские, причем, ведь еще кто-то из римских цезарей (ужасно люблю этих ребят до „рыжебородого“⁹ включительно: всякие дураки от добродетели, вроде Тацита или Светония, ни черта в них не поняли!) правильно сказать соизволил, что деньга не пахнет... А хоть бы и пахла: революция не нервическая барышня, которой непременно нужны тонкие ароматы, и не Гоголевская городничиха, мечтающая об „амбрэ“... Она и священной проституцией брезгать не смеет!..

Но, синьор, погибает ли Россия? Я ведь все к одному клоню; я — все о том же...

Да, ваша Россия, конечно, погибает: в ней теперь нет ни одного класса, коему когда-либо и где-либо жилось пакостней, чем в нашем совдеповском раю (кстати: если это — рай, то каков же совдеповский ад? Любопытно...); мы не оставили камня на камне от многовековой постройки „государства российского“; мы экспериментируем над живым, все еще, чорт возьми, живым народным организмом, как первокурсник-медик „работает“ над трупом бродяги, доставшимся ему в анатомическом театре... Но вчитайтесь хорошенько в обе наши конституции: там откровенно указано, что нас интересует не советский союз и не его части, а борьба с мировым капитализмом, мировая революция, для которой мы жертвуем и будем жертвовать и страной, и собою (жертва, конечно, на Зиновьевых не распространяется!) без малейшего сожаления и сострадания к тем, кто нужен в качестве удобрения коммунистической нивы для ее будущего урожая...

А на все выкрики и упреки западного пролетариата, если он вдруг преисполнится любовью к вашей России и обрушится на нас за наши „зверства“, мы сумеем ответить ему, что в ужасах русской жизни виновна мировая буржуазия,

то – насылающая на нас Колчака и Деникина, то – „мирно“ подкапывающаяся под устои русской революции отказом в кредитах, чем она мешает возродиться нашему хозяйству, в развитии которого так заинтересован весь мировой пролетариат; мы сумеем ответить ему, что наша страна находится в длительном переходном периоде, что лес рубят – щепки летят, что, наконец, отсталость и мелкобуржуазность русского народа требуют этих суровых методов борьбы, – но что, конечно, западу, где все давным давно созрело, социальная революция, поэтому, не угрожает русскими прелестями... Ах, аргументов у нас сколько угодно: чем другим, а этим – богаты и сумеем очки втереть по всей линии со ссылками и на Маркса, и на французскую революцию, и... на что угодно, – хоть на библию, если английские товарищи этого, например, потребуют, ибо они – народ странный...

А кого нам бояться? Не вас ли, которым уже давно никто не верит, ибо... верить не хочет: буржуазия запада, которую вы ненавидите, друг мой, более меня, думает (дура!) содрать с нас шкуру, колонизируя советский союз; а социалисты, пацифисты, гуманисты и прочая дряблая интеллигентская сволочь находятся под обаянием наших громких лозунгов, которые эти кретинам кажутся похожими на их сладенькую чепуху, – при чем шум и треск, подымаемый нашими резолюциями, протестами, воззваниями и другими изобретениями коммунистической режиссуры, так велики, что заглушают собой стоны и вопли наших жертв и разоблачения странствующих дон-кихотов по поводу „московских палачей“.

Повторяю, вы нам не опасны; ну, а если уж очень здорово будете безобразничать, станете нам поперек дороги и в последний момент мы вас не сумеем купить, как это мы делали не один раз и не только со сменовеховцами, то Феликс сумеет убрать вас с нашего пути, ибо его заграничные ребята – не хуже московских. Я вам и фактик расскажу, и не про какое-либо сожжение неугодной нам книги (помните эту историю?), а куда серьезней и позанимательней. Однажды нашлась такая молодая особа, которая, поехав за границу по нашему делу, там изменила, а документы, характера очень пикантного, продала, кому не следует; выдать нам ее, конечно, отказали тем более, что хитроумная особа сия, в целях перемены подданства и укрепления своей позиции, срочно вышла замуж за иностранца. Однако, наши ее

разыскали, подкупили домовую хозяйку, подсунули под кровать этой синьоры бомбы, литературу, а затем донесли местной полиции, что, мол, такая-то – искусный агент III Интернационала. Не буду обременять вас подробностями, но скажу, что особу выслали к нам, а мы... сами понимаете, с каким удовольствием и „сердечным вниманием“ Феликс помог этой молодой особе переселиться за границу этого мира!..

Так-то вот: запомните, на всякий случай – тем более, что казус преинтереснейший...

Ну, а тут, у себя, нам и подавно бояться некого: тут мы – полные хозяева...

Страна, изможденная войнами, мором и голодом (средство, конечно, опасное, но зато – великолепное!), и пикнуть не смеет под угрозой чеки и, так называемой, армии, которые, поверьте, нами довольны, потому что приласкать преторианцев и гончих собак, насытить их по горло всякой всячиной это – наш революционный долг.

Да, забавная комбинация – эта самая ваша Русь! Мы и сами часто диву даемся, глядя на ее пресловутое „долготерпение“... Чорт знает, что делаем, а все благополучно сходит в рук, как-будто бы все так и надо! Ну, конечно, – Леонтьевский переулочек, Урицкий, Володарский, пуля в Ленина, убийство Воровского, кой-какие там восстания, – но, право-же, это пустяки, дешевка, а не серьезные издержки революции. О всяких там „социалистах“ говорить, сами понимаете, не приходится: это жалкие банкроты, импотенты, слизь и трусы, которым мы, к общему для всех удовольствию, дали по башкам да так здорово, что они раз и навсегда забыли про Балмашевых и Каляевых. Но объясните мне совершенно другое: ведь, почитай, нет в России ни одного дома, у которого мы прямо или косвенно не убили мать, отца, брата, дочь, сына или вообще близкого человека, и... все-таки, Феликс спокойненько, почти без всякой охраны пешечком разгуливает (даже по ночам: помните, как мы однажды встретили его около Манежа?) по Москве; а когда мы ему запрещаем подобные променады, он только смеется презрительно и заявляет: „Что?? Не посмеют, пся крив!..“

И он прав: не посмеют... Удивительная страна!

Вот, вы все бормотали мне своим исступленным шепотком о церкви да о религии; а мы ободрали церковь, как липку, и на ее „святые ценности“ ведем свою мировую пропа-

ганду, не дав из них ни шиша голодающим; при Г. П. У. мы воздвигли свою „церковь“ при помощи православных попов, и уж доподлинно врата адовы не одолеют ее; мы заменим требуху филаретовского катехизиса любезной моему сердцу „Азбукой коммунизма“¹⁰, закон божий — политграмотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон повесили „вождей“ и постараемся для Пахома и „низов“ (*mundus vult decipi — ergo decipiatur!*)¹¹ открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом... Все это вам известно, и... и что же?

Дурацкая страна!

Что касается почтенного обывателя, то он, дело известное, — трус, шкурник и цепляется за нас из боязни погромов, анархии, которые чудятся его паршивой душонке и которые действительно настанут, если нас, чего доброго, чудом каким-то прикончат. Но народ, народ??

„Народ безмолвствует“... И будет молчать, ибо он, голубчик, не „тело Христово“, а стадо, состоящее из скотов и зверей. Сознаюсь вам теперь в том, что однажды рассказанная мною история — не анекдот, как я тогда уверил вас, а — самый настоящий факт: клянусь... Не понимаете, о чем я говорю? Забыли? А вот о чем: Ленин действительно изрек, что он боится, как бы ему в шутку не подсунили на подпись декрет об обязании всех граждан обоего пола в определенный срок целовать его на Красной площади в срамное место; он, по рассеянности, подмахнет этот указик, и вся страна... станет в очередь, да еще, добавлю я, появятся и такие, которые (не только сменовеховцы, но и поприличнее!) найдут в этом акте величайшую государственную мудрость, при чем, конечно, Демьян Бедный и Валерий Брюсов разразятся гимнами, а всякие профессора и академики из бывших людей, просто так, за бесплатно, от избытка собственной подлости завопят о гениальности, о новом откровении обожаемого „учителя“!.. Ну, что-ж: очевидно, так и надо, и государство не есть какая-то там „нравственная идея“, как поучали меня в Московском университете, и не станет „*Civitas Dei*“, как полагает ваш любимец, а, извините, — нечто вроде чортова болота, где один класс непременно и с наслаждением душит другой, изредка снисходя до временного компромисса. А „человек“ — это вовсе не звучит так гордо, как думает блаженный Максимушка, который, несмотря на свои петербургские гадости (кормление ученых при помощи

господ Родэ¹²: мы еле замяли скандал в сем „родэвспомогательном“ учреждении!), не взирая на московские истерики и заграничное юродство, все-таки остается нашим, босяком и посылает Ильичу свои запоздалые поцелуи... Нет, человек это – страшная сволочь, и нам с ним – хлопот полон рот, особенно теперь, когда, вместо того, чтобы голодать во имя будущего, он, чорт его подери, изредка брыкается, заставляя нас тратить много сил, а, главное – золота, на его околпачивание и на ежевые рукавицы.

Человек? вне нашего ордена нет никаких человеков, а есть только „вриды“, т. е., если вы уже забыли наш „великий русский язык“ – временно исполняющие должность сих существ.

Но – ничего; сойдет, все сойдет, раз палочка и все командные высоты коммунистического отечества находятся в наших малопочтенных, но крепких руках...

Да, Россия, народ, которых вы никогда не понимали в своем сахарном идеализме, принадлежат нам: только мы, да еще, может-быть, (как это ни странно!) самые крайние правые, разные Говорухи-Отроки, только мы разгадали русский сфинкс...

„Народ безмолвствует“ и... несет налоги: что и требовалось доказать.

Заговорит? Восстанет? Разин? Пугачевщина? – Заставим умолкнуть, утихомирим, дадим ему „panem et circenses“... наконец, – перепорем, перестреляем хоть половину страны, не щадя ни детей, ни стариков!..

Ну-с, а если не удастся, и мы все-таки загремим, то... скажите, пожалуйста, что мы теряем? Те, кто нам действительно нужны для великого дела мировой революции, останутся целы, ибо исчезнут они во-время; а сотни тысяч сырого материала „низов“, ягнят российского коммунизма... подумашь, какая важность: этого добра нам не жалко ни капельки, а чем страшнее и ужаснее будет реставрация и въезд на белом коне нового „царя“, – тем скорее мы вернемся (такова диалектика истории!), вернемся, и т о г д а... – не уставай Феликс, работайте Лацисы и – „патронов не жалеть“!!!..

Да, терять нам почти что – нечего: Россия далась нам даром, еще с приплатой, а уйдем из нее, – если уйдем, – с такими богатствами, на которые можно купить полмира и

устроить социальную революцию на всех планетах и звездах солнечной системы. Подполье нас не пугает: не новость, и в нем есть свое обаяние для масс, а, повторяю (приятно повторить!), средств у нас – без конца, при чем, на всякий пожарный случай, они давным давно находятся за пределом досягаемости тех, у кого мы их отняли...

Ах, впрочем, – к чему эти мрачные мысли: „нам всегда везло и будет везти!“ –

А русская свинья-матушка, которая терпеливо пролежала три столетия на правом боку, с таким же успехом пролежит еще дольше – до прихода Мировой Социальной Революции и на левом боку: на то она и свинья...

Теперь вам ясно, что я хочу выпалить? Нет еще? Фу, какой же вы, на самом деле – дурак! Не ясно? Ну, в таком случае, – получайте: на Россию мне наплевать, слышите вы это – наплевать,

ИБО Я – БОЛЬШЕВИК!!*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ю. Лутовинов (? – 1924). Карл Радек в некрологе «Памяти Лутовинова» (К. Радек. Портреты и памфлеты. М.-Л., 1927, стр. 49-51) вспоминает: «Неравенство социального и партийного быта, бюрократические язвы причиняли ему громадные страдания».

² Бухарин имеет в виду персонаж романа «Бесы» Ф. М. Достоевского.

³ Речь идет о брошюре «О продналоге».

⁴ Дура – это, может быть, слишком, но реакция Бухарина вполне понятна: лет 20 назад я наткнулся в Центральном справочном отделе публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде на брошюру Н. К. Крупской, содержащую список книг, подлежащих изъятию из общественных библиотек. В нем фигурировали крупнейшие русские и зарубежные писатели и философы. Книжечка, которую я держал в руках, была не плодом воображения злостного антисоветчика, а итогом педагогического глубокомыслия самой Надежды Константиновны.

* Автор письма был предусмотрителен: оно напечатано на машинке и без подписи. Вместо подписи очень мастерски изображена советская пятиконечная звезда, внутри которой сидят, как в клетке, попугаи, и написано: прилетайте и соединяйтесь! Символика – понятная... – И. Б.¹³

⁵ О ком идет речь, установить не удалось. Предположительно, о Плеханове.

⁶ Сергей Нилус впервые опубликован в 1905 г. на русском языке «Протоколы сионских мудрецов» в своей книге «Великое в малом и Антихрист». Подробнее о нем см.: Norman Cohn. Histoire d'un mythe. Paris, Gallimard, 1967.

⁷ Имеется в виду Л. Д. Троцкий.

⁸ Имеется в виду Николай II.

⁹ Бухарин имеет в виду Нерона.

¹⁰ Эту книгу Бухарин написал в соавторстве с Преображенским.

¹¹ Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают (лат.).
Выражение приписывается Папе Павлу IV.

¹² Родэ был владельцем знаменитого ночного ресторана в Петрограде. После революции это заведение по инициативе Горького было превращено в столовую для ученых. Рассказывают, что в ней происходили довольно пикантные сцены. «Родэвспомогательное учреждение» – учреждение г. Родэ, помогающее ученым, и в то же время, если заменить «э» буквой «о», – родильный дом.

¹³ К сожалению, И. Британ не поместил этого рисунка в конце брошюры. Зато мы располагаем другими рисунками Бухарина, свидетельствующими о его незаурядном таланте рисовальщика. Они хранятся в личном архиве Жюль Эмбер-Дро в муниципальной библиотеке швейцарского города Ла Шо-де-Фон (La Chaux de Fond) и воспроизведены в сборнике документов «L'Oeil de Moscou à Paris» («Око Москвы в Париже»), выпущенном парижским издательством «Жюй-яр» в 1964 году.

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

По моему убеждению, письмо-статья «Ибо я – большевик» не могла быть написана Н. Бухариным. Тексты Бухарина известны – несоответствие их тексту письма настолько очевидно, что достаточно лишь бегло сравнить то, что писал «любимец партии», и то, что ему приписывается. Невозможность принадлежности Бухарину «Большевика» и психологическая. В 1924 г. он твердо верил в то, что делал, думал и писал. Грубый цинизм был ему несвойственен.

Думаю, что брошюру составил какой-нибудь эмигрант-антибольшевик, отлично знавший большевистскую среду.

15. 12. 87

Михаил Геллер

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не беремся ни утверждать, ни отрицать факт принадлежности публикуемой статьи перу Н. Бухарина, но, на наш взгляд, ее пафос и содержание довольно отчетливо отражают психологию большевизма.

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии

по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,

**94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S.Tictin, Greenspan Str., 12/6,
Misrakh Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.**

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Восточноевропейский диалог

Георгий К о н с т а н т и н о в

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

Заметки по поводу одноименной статьи А. Зиновьева

Даже неполный список уже рассмотренных или предложенных для обсуждения проблем дает представление об их серьезном значении:

1. Участники оппозиционных движений в СССР названы ничего не означающим словом – **диссиденты**.

2. Новые методы борьбы, которые власть, не отказываясь от «классических», использует против них. Манипуляции КГБ и партии против оппозиции.

3. «Либеральные» пособия диктатуры в этой борьбе – псевдодиссиденты.

4. Общественная пассивность русского рабочего класса и ее причины.

5. Созревание и рост новых оппозиционных настроений в СССР, их многообразие и мотивы.

6. Будущее оппозиции вообще и социальной в частности.

7. Необходимость в научной идеологии оппозиции и ее принципиальное отличие и несовместимость с официальной марксистской идеологией.

8. Сочетание научной идеологии оппозиции с настроениями и интересами тех классов и слоев общества, которые являются объектом эксплуатации и манипуляции со стороны государственной власти.

9. **Структура советского общества** – его классы и прослойки.

10. Партия и диктатура в советском обществе. Возможность существования партийного или профсоюзного плюрализма или же самоуправления.

11. Тезис Зиновьева о непригодности ныне существующих оппозиционных лозунгов о демократических свободах,

свободных профсоюзах, политических партиях и самоуправлении, поскольку реализация этих лозунгов приведет к образованию гангстерских шаяк.

12. Интеллектуальный уровень идеологических концепций и программ, выражающих идеи оппозиционеров. Использование властями теперешних диссидентских критических выступлений и требований. Непригодность или неосуществимость этих требований позволяет властям демагогически включать их в свои программы, дискредитируя и обессиливая путем официального признания их «справедливости», «законности» и т. д.

13. Требование немедленных перемен в этом обществе, без учета объективных возможностей таких перемен, а также времени, необходимого на их осуществление, выхолащивает эффективность самой идеи борьбы, содействуя тем самым власти.

14. Является ли СССР империей?

15. Роль национализма и религии в оппозиционной идеологии и борьбе.

16. Запад и борьба на Востоке. Взаимоотношения между Западом и Востоком – с властями и оппозиционными течениями. Роль западного общественного мнения, идеологии и идеологов. Их враждебное отношение к любой научной идеологии и анализу советского общества.

17. **Объективное научное исследование коммунистического общества** как идеологическая основа оппозиции. Выводы из этого анализа, обращенные в будущее, а не в прошлое.

18. Искать способы распространения оппозиционной идеологии среди тех прослоек и масс, которые из-за своего места в социальной системе обречены оставаться непрерывной «органической» оппозицией по отношению к этой системе.

19. Сознание нового «**подобщества**», независимого от официального и направленного против него, – в качестве основы для долговечной и преемственной оппозиции.

20. Неизбежность принесения жертв и самопожертвования со стороны тех, кто будет первыми в этой бескомпромиссной борьбе.

Как мы видим, все эти вопросы имеют отношение к борьбе против власти и общественной системы, которую

Зиновьев называет коммунизмом. Каждый из них заслуживает самостоятельного рассмотрения в статье, брошюре или книге. Наибольшего внимания заслуживает вопрос, который Зиновьев-социолог в своем анализе пропустил: **социальная оппозиция или социальная революция?** – со всеми последствиями, вытекающими из революционного выбора: стратегия, тактика, программа, организация, методы борьбы с диктатурой и т. д. Проблематика оппозиционной и революционной борьбы имеет общий знаменатель, на рассмотрении которого мы и остановимся в этих заметках. Это необходимость идеологии – теоретической или практической (американцы сказали бы – прагматической), которая объединит и облегчит усилия тех, кто вступил на путь борьбы с созданным в СССР обществом. Этот вопрос является основным для любой пропаганды, в том числе и нашей.

Невозможно не согласиться с большинством из выводов Зиновьева – когда речь идет о фактах, об «очевидном». Но наши точки зрения (моя и его) расходятся, когда мы начинаем делать выводы из этих очевидных фактов, составлять прогнозы или искать методы и средства для решения проблем, созданных советской властью.

Какая причина? В чем дело?

Очевидно, расхождение является результатом разницы в **«первичной системе аксиом»**. Объясняя эту мысль, привожу пример: каждый знает, что в геометрии существует аксиома о параллельных прямых. В евклидовой геометрии, той, которую мы изучали в школе, аксиома звучит так:

через одну точку А в пространстве, которая находится вне прямой (а), можно провести только **одну** прямую (б), параллельную (а). Более 2000 лет теоремы, следствия и выводы на основе этой аксиомы считались «абсолютной», неоспоримой и доказанной истиной. Однако в XIX веке оказалось, что достаточно изменить только эту аксиому (как известно, аксиомы не нуждаются в доказательствах), чтобы допустить, что через точку А можно провести бесконечное множество прямых, параллельных (а), или, наоборот, через точку А невозможно провести ни одной прямой, параллельной уже существующей. Так изменилась вся структура, и на месте традиционной евклидовой геометрии появились известные только специалистам геометрии Лобачевского и Римана. Геометрии, чьи «странные» теоремы и следствия имеют такое же формальное право

на существование, как и «очевидные» утверждения Евклида. Более того, развитие таких наук, как физика, механика, астрономия и т. д., показало, что «странные» теоремы реальнее «очевидных». Таким образом, разница в принципах построения или разница в основных характеристиках и параметрах одной теории (нам этот термин предпочтительней термина «идеология») могут привести к разным и даже противоположным выводам, следствиям и заключениям из одних и тех же «теорем».

Прежде чем остановиться на тех «аксиомах», с которыми работает Зиновьев (они систематически рассмотрены в его книге «Коммунизм как реальность»), и на тех, которые предлагаем мы (**роботронная революция, государственный капитализм, империализм и социальная революция**) для «построения» идеологии и организации борьбы против создавшегося общества в СССР, а также на разнице в «теоремах» и последствиях наших «геометрий», необходимо сказать несколько слов о научной ценности всех идеологий.

В одном из своих выступлений («О социальном статусе марксизма») в испанском университете Зиновьев говорит, что марксизм не является наукой. То же самое можно сказать и об идеологиях, господствующих в «свободном мире».

Официальные идеологии и религии имеют свои апологетические цели, и их роль – сохранение статус-кво. Направленность оппозиционных идеологий – критическая. То обстоятельство, что оппозиция – в том числе и социальная – вынуждена бороться в рамках своего общества, не является чем-то новым. Это характеризует любую оппозицию, включая «оппозицию Ее Величества Британской Королевы». Суть в другом. Оппозиция стремится принудить существующее общество к реформам или забрать в свои руки власть обычно легальными способами. Оппозиция является тенью власти, а сами оппозиционные партии – ее резервом. Власть и оппозиция равно враждебны социальной революции широких масс. Однако в СССР государственный капитализм и его диктатура исключают демократические правила игры оппозиции. В СССР и других так называемых «коммунистических» странах мира существует только один властелин, один хозяин и один официальный и легальный агитпроп! Поэтому обстоятельства, созданные политической и полицейской системой советского общества, любую серьезную социальную оппозицию

превратят в **социальную революцию**. Цель революционной идеологии в сегодняшнем советском (и западном) обществе может быть только одна: мобилизация низших классов для разрушения статус-кво и изменения цивилизации или общества в направлении, **принципиально отличающемся от настоящего или прошлого!**

Следовательно, если возможно, чтобы любая идеология была научной, она обязана проникнуть в суть современного общества, охватить происходящие в нем процессы и эволюции и определить их объективные тенденции и направления, плюралистичные, далеко не однозначные и не всегда обратимые.

Только тогда, когда историческая проверка подтвердит анализ общественного организма и сделанные из него выводы, идеология может претендовать на некоторую научность, поскольку ее «теоремы» и прогнозы станут соответствовать тенденциям, доминирующим в развитии современного советского общества, а также всего человечества.

Подобный подход, очевидно, оставляет в стороне вопрос о **свободе и справедливости**, которые в разных формах присутствуют в любых идеологиях, и, если принять во внимание их многозначность и трудность четкого определения, можно сказать, что они не являются **научными понятиями**. Эти предпосылки логически приводят к важнейшему для любой – и особенно для революционной – идеологии выводу: между научным исследованием человеческих обществ и доминирующими в них тенденциями развития и стремлениями эксплуатируемых классов к справедливости и свободе **не существует автоматической или фатальной связи**.

Можно допустить, что в ближайшем будущем научные предсказания и развитие общества станут соответствовать друг другу, но они могут оказаться также взаимно противоположными и несовместимыми. История полна таких примеров. Существует очень мало исключений, их можно пересчитать на пальцах одной руки, – это так называемые «звездные часы» в истории народов – их социальные революции, в процессе которых простой народ получал (или, скорее, завоевывал) возможность самому решать свою судьбу. Эти «звездные часы» продолжались не более нескольких часов или дней, потом они уступали место старым «традициям», только с новыми актерами. Это только часть соображений, которые надо принять во внимание, когда обсуждается научность идеологии, не забы-

вая при этом, что даже «чистые» науки в составе идеологии, которые исследуют социальные и исторические процессы, независимые от воли людей (классов) и даже независимые от их участия, чаще служили механистически-догматическим и фаталистическим теориям, защищающим статус-кво, чем его революционному разрушению. Достаточно вспомнить Гегеля, который нашел вершину развития «абсолютной идеи» в абсолютной монархии императора, или его поздних «правых» и «левых» интерпретаторов, для которых, начиная с Третьего Рейха и кончая чекистской диктатурой сталинщины и андроповщины, не нашлось более подходящего места для воплощения абсолютного духа.

Все вышесказанное подтверждается особенно сегодня, при современном развитии математического моделирования и компьютерной технологии. Теоретически уже не существует принципиальных трудностей при моделировании социальных и исторических процессов в современном обществе: кризисов, войн, революций и их последствий.

Несколько слов для тех, кто не понимает, что такое математическая модель. Для ее построения необходимо выделить существенные факторы, которые влияют на развитие данного явления, события или процесса (физический, биологический или социальный), раскрыть связи между этими факторами и все это описать при помощи формул или систем математических уравнений. Таким образом может быть построена математическая модель, в которой *время* существует в явной или неявной форме, в виде переменной данной, которая и дает возможность прогнозировать.

«Надстройка» проверяется с помощью данных прошлого, а результат сравнивается с уже совершившимися событиями.

Построение модели требует хороших специалистов по математике, социальным наукам, международным отношениям, политической экономии, истории. Необходимо также огромное количество, по возможности, не фальсифицированных данных на протяжении больших исторических периодов и мощные компьютеры, на которых можно «проиграть» модель. Прогноз с помощью модели уже известной **подобной ситуации** позволяет ввести корректирующие коэффициенты и новые факторы, которые не существовали раньше, но в сегодняшней (и завтрашней) ситуации имеют место и могут приобрести намного большее значение, чем классические фак-

торы в социальных процессах, которые изучали идеологи прошлого века.

Такие модели, не выражая «абсолютной истины» Гегеля и ее марксистской производной – «исторической необходимости», будут очень близки образам данной системы и совершенствующимся в ней процессам, которые подчиняются **законам вероятности** и имеют **многозначные исходы** или **«решения»** (что особенно важно для свободы воли или волюнтаризма в революционной борьбе). Их непрерывное улучшение, обогащение и уточнение могут помочь нам в расширении наших знаний о реальных общественных процессах и их сложности. В этом смысле они могут облегчить революционную борьбу, если «история стоит на нашей стороне».

Но построение такой модели стоит очень дорого. Нужны специалисты и средства, а они в сегодняшнем обществе находятся в руках классов, капитал и власть имущих (как в СССР, так и на Западе), которые, конечно, заинтересованы сохранить их для себя и для своих потомков. Поэтому даже те модели, которые разрабатываются в институтах типа «Ранд Корпорейшн» или в различных академиях социальных наук, имеют своей целью «научно» ориентировать социальные процессы по направлению удаления от революционных вспышек и на продолжение чередования «хороших эпох». А ввиду того, что в товарном хозяйстве «серое вещество» продается и покупается так же, как и любой другой товар, вероятность создания революционной науки очень невелика. Это возможно, только если в сегодняшнем классовом обществе родятся бескорыстные гении, которые откажутся превратить в капитал свою одаренность и знания и будут готовы раздать их бесплатно ради освобождения человечества и даже взойти на костер, подобно Джордано Бруно.

В промежуточные эпохи, на заре любого Ренессанса, бывают такие чудеса. Сам Зиновьев является одним из примеров, подающих такую надежду. Ожидая этой зари, мы обязаны работать в более «скромной» области «прикладных наук» и практической войны с диктатурой. Эта война является непрерывной, но в каждый из ее моментов и этапов надо выдвигать **оптимальные** лозунги, действия, объекты для разрушения или захвата, не позволяя властям брать инициативу в свои руки, определять поле сражения, цели, оружие, моменты начала и конца боя и способы его ведения.

Короче говоря, нужно работать над созданием **«науки разрушения государства»** – антипода юриспруденции и существующей социологии, а также выработать методы **научной политики** с другой стороны баррикад и теорию военных игр и стратегии.

Эта более ограниченная цель (по сравнению с поиском «формул» исторического развития или моделей социальных систем и процессов) не является легкой интеллектуальной игрой и требует нравственной и физической отваги, так как ее острие направлено прямо в сердце «конституционного порядка». Больше всего отваги нужно для практического разрешения задач, но зато это единственные задачи, на которые стоит тратить революционную энергию. Все остальное – «прах и тлен». По поводу «чистых» и «прикладных» наук и теории революционной борьбы это пока всё.

На вопрос: **«С чего начинать?»** Зиновьев отвечает: с создания научной идеологии, которая принципиально отличается от существующей – марксизма. Если это так, то началом всех начал теоретической работы должен быть ответ на важнейший вопрос: **в чем суть этого общества?**

Этот вопрос занимал множество умов. Намного раньше 1917 года, когда акушеры этого общества – партия русских марксистов – большевики захватили власть, в анархистской литературе был дан ответ на этот вопрос. Ответы Прудона, Бакунина и Кропоткина создателям марксистской доктрины и программ организационной и парламентарной практики марксистских партий в Европе в конце прошлого и в начале нынешнего веков являются гениальным обобщением философских и исторических концепций.

Они не исследовали «революционную» деятельность марксистов, так как таковая **не** существовала в тот период. В отдельных статьях, брошюрах и на десятках страниц их основных трудов мы находим фрагменты ответов на вопрос, **что такое марксизм**, еще не превратившийся в официальную идеологию и в «руководство к действию» государственной власти. Но даже тогда, в этот ранний период, более века тому назад, Бакунин видел в лице Маркса и марксистов начало новой контрреволюционной реакции в Европе, намного более опасной для рабочего класса, чем прусская реакция Бисмарка.

Эти тексты могут служить исходной точкой для любой критики марксизма и теории борьбы с «советским общест-

вом» в России, построенным в соответствии с марксистскими программными принципами. Однако сегодня этого недостаточно, несмотря на глубину и пророческий смысл высказываний наших мыслителей прошлого века. Потому что, если в прошлом марксизм был только проектом и его творцы имели весьма слабое представление о созданной ими *одной из доминантных тенденций развития капитализма – навстречу централизму и государственности*, то сегодня реальный марксизм распространился как раковая опухоль. В России он одержал военную и политическую победу 70 лет назад, а начиная с 1945 года – еще в двадцати странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Вот эта реальность должна стать объектом исследований, а не прогнозы, несмотря на их пророчества. Необходимо критически изучить различные работы по анализу этого общества. Их формулы и выводы следует сопоставить с исторически сложившейся формой «реального социализма», с его экономикой, социальной структурой и внешней политикой. Нужно научно ответить на вопрос: **куда идет советское общество** и выросшая на его почве империя? Только таким путем мы окажемся достойными принять наследство, оставленное Прудонем, Бакуниным и Кропоткиным, добавив при этом к их теоретическим обобщениям анализ марксистской практики и его результаты.

После того, как в России установлена большевистская власть и по ее образу и подобию построено «новое» общество, у нас есть огромное количество исследовательского материала. Ответ на вышеуказанный вопрос «Что такое советское общество?» искали и ищут многие: социологи, экономисты, политические мыслители и вообще «кремленологи» и «советологи» всех мастей.

Сокращенный список (полная библиография может заполнить тома) течений этих критических или апологетических исследований дает представление о накопившейся литературе по этому вопросу:

Марксистская социал-демократия между двумя мировыми войнами – особенно немецкая и австрийская – не пренебрегала теоретиками русского меньшевизма. В этот раздел следует включить некоторые тексты Энгельса и Плеханова. Первый занимался этатизмом собственности в буржуазном и феодальном обществе, высказываясь по поводу анархистской критики

марксистской идеи о национализации капиталистической экономики, Плеханов же – в рамках спора с Лениным – говорил о последствиях преждевременного захвата государственной власти социал-демократами. Преждевременно – в смысле: до того, как имеются необходимые экономические, социальные, культурные, идейные, внешнеполитические предпосылки для социалистической трансформации России.

Глубоко этими проблемами занимались также и внутрипартийные критики ленинизма, после того, как он превратился в государственную религию: «левые коммунисты», «демократические централисты», «рабочая оппозиция», а также сам Ленин, весьма изумленный обществом, рожденным с его помощью.

Среди многочисленных мнений и течений следует систематически рассмотреть следующие:

Троцкий и троцкисты,
Милован Джилас («Новый класс»),
Мао и маоисты,
Восленский («Номенклатура»),
Зиновьев («Коммунизм как реальность»),

различные школы буржуазной советологии и «кремленологии», начиная с либералов и консерваторов и кончая фашистами, и наконец, несмотря на смертельную скуку, необходимо остановиться на аргументах и апологетике разнообразных «полезных дураков» или строящих из себя таковых ради хорошего гонорара. Эта работа будет тяжелой, утомительной и очень часто неприятной, но для ознакомления с советским обществом, а также для создания теории его разрушения другого пути нет. Все остальное: сказки о «реальном коммунизме», о «государственном социализме», о «большевистском рабстве», о «красном феодализме» или «красном фашизме» – свидетельствует об идейной бедности и интеллектуальной немощи «борцов» против марксизма и диктатуры среди эмигрантов. Их интеллектуальный уровень не превышает (за очень редким исключением) уровня обскурантов марксистского агитпропа и не заслуживает иного отношения, чем то, что есть у нас к идеологическим паразитам, которых не меньше, чем попов и схоластов средневекового мрака.

Следуя нашей дорогой, мы всегда должны помнить: **сила теории определит результат борьбы – оппозиционной или революционной!**

Почему в этой теории мы придаем огромное значение вопросу о природе советского общества? Для этого есть ряд причин, среди которых –

выбор нашего поведения, зависящий от определения сущности СССР, его места среди классовых цивилизаций и степени созревания в нем конфликтов:

1. Интеграция в советской системе и поддержка СССР – условная или безусловная (вопрос, который и сегодня является объектом спора среди троцкистов).

2. Безразличие к системе и СССР (позиция, невозможная для живущих в СССР).

3. Организация революционной борьбы, интенсивность, направление, перспективы и итог которой продиктованы классовой структурой русского общества.

Определение сущности СССР является необходимым условием для любой систематической пропаганды и воздействия на общество. Социальная война против него и победа немыслимы без глубокого знания политических, экономических и социальных структур, их сильных и слабых сторон, без четкого разграничения классов и групп, их интересов, стремлений и психологии. Без ознакомления с «анатомией» и «физиологией» общественного организма, его происхождения, развития, болезней, старости и условий смерти.

То обстоятельство, что этот, на первый взгляд, простой вопрос: **Что представляет собой СССР?** – вызывает совершенно разнообразные, противоречивые и даже противоположные ответы, свидетельствует о его сложности. Тут нам следует согласиться с Зиновьевым, что объект исследований элементарным не является. Ценность и глубина этих многочисленных ответов неодинакова. Многие из них искажены корыстолюбием исследователей и нажимом, которому они подвержены со стороны официальных точек зрения – как на «Западе», так и на Востоке. Кроме денежной и профессиональной заинтересованности официальных советологов и идеологов в существовании идейного болота, намного большим препятствием для серьезной теоретической работы является заинтересованность тех, кто платит. Они инстинктивно чувствуют, что любая научная критика марксизма как идеологии практики государственного капитализма автоматически направлена против их господства. **Такая критика является водоразделом между нами – революционерами, с одной стороны, и ре-**

ставраторами или реформаторами советского общества – с другой. Непонимание этой стороны вопроса есть результат идейной тупости, умственной лени или глупости чистой воды.

Конечно, наши критерии ни к чему не обязывают врагов социальной революции или людей, боящихся ее; они свободны в выборе своих «аксиом», но мы вправе требовать, чтобы они, по крайней мере, придерживались элементарной логики и научных методов, если мы говорим о научной идеологии. Зиновьев может себе позволить называть социальную систему, образовавшуюся вследствие русской революции, гражданской войны и последующей диктатуры в сфере политических, экономических и социальных отношений, – коммунистической или социалистической, как это делают ее хозяева и противники. Но понятие, которым мы определяем суть системы, должно быть адекватным или, по крайней мере, близким к тому. Иначе мы повторяем официальную ложь, которой маскируют эту суть, наделяя ее качествами, являющимися ее противоположностью, – процедура, которая не имеет ничего общего с настоящей наукой.

Тут уместно напомнить, что даже четыре буквы СССР, которыми поименована бывшая русская империя, содержат четыре вида лжи. Это не **союз**, в нем нет никаких **советов**, в человеческих отношениях нет даже намек на **социализм**, и, наконец, власть так же далека от **публики (рес-публика)**, как и сам класс государственных капиталистов, осуществляющий диктатуру. Мы еще не раз вернемся к выяснению этих основных понятий: **капитал, государственный капитализм, класс государственных капиталистов, диктатура государственного капитализма** и т. д. Так же, как и к термину **коммунизм**, который является их противоположностью и означает **общность и равенство**. **Общность** имущества и **социальное равенство**, т. е. **равное** участие в различной трудовой деятельности и **равное** распределение произведенных продуктов, обслуживания и т. д. до тех пор, пока автоматизация и неограниченно растущая мощь экономики не будут под непосредственным и прямым контролем всех членов общества (отдельная община, союз общин в одной стране или мировой союз всех общин всего мира, являющийся нашей конечной целью). Такой союз предполагает добровольное и сознательное участие всех граждан в решении общественных проблем на основе солидарности и взаимной помощи. Но предварительным условием для этого

должна быть ликвидация любой эксплуатации – неважно какой – в пользу частных капиталистов или в пользу государства.

Коммунизм как идея родился в борьбе с капиталом и государством, и он не может существовать **вместе с ними**. Выход только один – **или коммунизм, или государство**. Бакунин пишет: «Тот, кто говорит – государство, подразумевает власть, иерархию, привилегии, неравенство, классовое разделение и эксплуатацию». Капитализм состоит именно в эксплуатации наемного труда, а не в **форме собственности!**

Эксплуатация, т. е. экспроприация половины, двух третей или трех четвертей «национального дохода» партийной и административной верхушкой и ее преторианцами и лакеями, является основой советской системы, сущность которой мы и хотим определить. Основой, которую не хотят видеть западные критики, диссиденты и – менее всего – казенные реформаторы. Во имя сохранения и расширения грабежа и господства, привилегий и «вечного праздника» новый класс осуществляет диктатуру внутри страны и проводит экспансионистскую имперскую внешнюю политику.

Защищаясь против этих обвинений, госкапиталисты утверждают, что они не хозяева «средств производства». Не входя в юридические тонкости определения **государственной собственности**, мы повторим, что капитализм определяется не формой собственности, а только наличием эксплуатации наемного труда классом, паразитирующим благодаря этой эксплуатации. Каждый рабочий, крестьянин, техник или инженер в «коммунистическом» обществе знает, что его эксплуатируют. Все знают, что за образ жизни партийной верхушки: дворцы, дачи, огромные апартаменты и противоядерные убежища вокруг любого города для сохранения их драгоценных жизней во время мирового пожара, приемы, путешествия по стране и по миру, неподотчетные фонды, привилегии, огромные зарплаты и гонорары, торжества и пиры, раздача и получение подарков, коррупция, законные кражи, спецснабжение, больницы, ясли и кладбища, охрана, слуги, шоферы и содержанки – за все это уплачено «прибавочной стоимостью» труда стомиллионного русского пролетариата, и это не принимая в расчет колониальных заработков империи.

Чтобы не быть ограниченным «субъективной» точкой зрения эксплуатируемых и нищенствующих масс, их чувства-

ми, несмотря на то, что они неопровержимы, обратимся к официальной статистике и глобальным цифрам.

В качестве примера возьмем родину Тодора Живкова, где рабовладельцы и надсмотрщики зрелого социализма, начиная с генсека и кончая последним председателем сельсовета, все как один и кто как может выжимают соки из народа. Так это происходит в любой из колоний Кремля и в самой метрополии тоже.

Согласно данным, которые власть Живкова представила баранам из ООН, доход на душу населения в Болгарии в 1985 году дошел до 6000 долларов. Если имеется в виду семья, состоящая из четырех человек, – это значит 24 тыс. долларов. По самому низкому официальному курсу (1 доллар = 1 леву) – это 24 тыс. левов; по курсу, по которому банк продает доллары своим благословенным подданным, получившим паспорт и визу, эквивалентная сумма доходит до 48 тыс. левов; по курсу черного рынка – 120 тыс. левов. То же самое получается по официальной цене в банках Италии и Австрии, где можно купить 1 доллар за 5 болгарских левов.

Давайте теперь сравним эти официальные данные со средним жалованьем при «высокоразвитом болгарском социализме». В тот же год средняя месячная зарплата составляла 200 левов, и если в семье из четырех человек работают двое, то годовой доход равен 4800 левов.

Каждый рабочий, крестьянин или мелкий служащий (80% активного населения) может подсчитать, попали ли в его дом эти 4800 левов... Даже если это правда, то вот что нам дают элементарные арифметические вычисления о реальной политике воображаемого социализма:

$$4800 : 24\ 000 = 20\%$$

$$4800 : 48\ 000 = 10\%$$

$$4800 : 120\ 000 = 4\%$$

т. е. по самому низкому курсу доллара каждая из семей, имеющих 4800 левов годового дохода, получает 20% положенной им доли «национального» дохода. По официальному курсу Болгарского народного банка они получают 10% и, наконец, по самому реальному – лишь 4%!!!

Иначе говоря, эксплуатация равняется:

$$24\ 000 : 48\ 000 = 500\%$$

$$48\ 000 : 48\ 000 = 1\ 000\%$$

$$120\ 000 : 48\ 000 = 2\ 500\%$$

О таких нормах английские капиталисты времен Маркса могли только мечтать, и напрасно самый терпеливый читатель будет терять время, ища в Марковом «Капитале» упоминания о таких процентах эксплуатации.

Куда идут, на что потрачены остальные 80, 90 или 96% национального дохода, до сих пор является **государственной тайной**. Ответ на этот основной вопрос о «социалистической» политической экономии знают только хозяева. Но, чтобы заставить их ответить, нужна железная рука революционной организации. Нужно, чтобы самая сознательная часть молодежи заводов и деревень, казарм и учебных заведений, институтов и лабораторий начала умно и смело действовать против власти партийной мафии и ее «атрибутов»: распространять листовки с вышеуказанным подсчетом, организовывать саботаж на каждом рабочем месте. Без всякой пощады наносить индивидуальные и групповые удары, пока не начнет расшатываться диктатура, пока не раскрепостятся рабские души наших отцов и матерей, братьев и сестер, пока страх не проникнет в души жандармов и доносчиков, пока на улицы не выйдут миллионы униженных и оскорбленных, вооруженных оружием, которое находится в арсеналах, казармах и участках, пока от диктатуры не останется камня на камне, пока государственные гангстеры не предстанут перед революционным трибуналом, чтобы ответить за свои баснословные расходы и бесчисленные преступления, которые они совершили в период своего неограниченного господства.

В этих трибуналах вооруженный народ решит их судьбы: или отправить их в общую яму в назидание всем желающим получить их посты и славу, или выслать их на самые тяжелые объекты, чтобы они своим трудом возвратили частицу того, что разбазарили, прогуляли и растратили за время их длинной и ненужной жизни.

Нет другого способа для радикального разграничения власти и ее официальной идеологии – марксизма, кроме определения этого общества как государственно-капиталистического, следовательно – **классового**, следовательно, требующего **полицейской диктатуры над эксплуатируемыми классами, империалистической экспансии и стремления к господству над другими народами**.

Для нас государственный капитализм означает, что государство взяло в свои руки функции, места и доходы «королей

индустрии», «финансовых гениев», рыцарей мошенничества и спекуляции, всех героев либерального капитализма, начиная с наследственных паразитов и кончая сводниками и содержателями домов терпимости, и, таким образом, превратилось в **«совокупного»** капиталиста. Разумеется, все это надо показать ясно и однозначно – исторически, экономически и социологически, с помощью фактов, документов и статистических данных.

Начиная с этой «аксиомы», следует идти гораздо дальше – в суть социальной системы. Суть, которая, кроме классового господства, порождает **государственно-капиталистический империализм и колониализм**. Их тоже нужно изучить. Необходимо понять механику их действия, причины экспансии, сходство и различия со старым русским империализмом, с «классическим» колониализмом Британии и Франции, с неоколониализмом США.

Наконец (по порядку, а не по важности вопроса) нужно изучить отношения с остальными «великими» и «сверхвеликими» державами, которые также не являются вечной мерзлотой и неизменными данными.

Вся эта совокупность внутренних и внешних факторов ведет «советское» общество к кризису, пока оно не превратится в «больного человека» планеты, пока не наступит ситуация, которую Горбачев называет... **предреволюционной**.

Мы уже рассматривали социальные, структурные и экономическо-технологические причины этого кризиса в другом месте. В связи с тем, что заметки и без того оказались слишком длинными, мы не будем повторять эти причины, и остановимся только на моментах, имеющих отношение к вопросам, которые затрагивает Зиновьев.

Советский империализм существует не как лабораторный эксперимент. Он конфликтует и конкурирует с другими хищниками, его колониализм побуждает массы старой и новой периферии к сопротивлению. Первые серьезные столкновения с западным империализмом начинаются теперь в заморских владениях Москвы – в Третьем мире. Сегодня, да и в обозримом будущем, экономический и военный потенциал Запада и его цитадели – США является гораздо более мощным, чем потенциал СССР. Опираясь на свое финансовое и технологическое превосходство, Вашингтон ставит перед собой ограниченные цели: поддерживать статус-кво, унаследованный от

Ялты и Потсдама, т. е. восстановить **относительное равновесие**, установленное в конце Второй мировой войны. Преследуя эти цели и из страха перед мировой гражданской войной (предвестия которой очевидны – это непрерывная война в разных концах мира), американский империализм оказывает на Кремль нажим, чтобы принудить его оберегать выработанные на Уолл-стрите и в Пентагоне правила «мирного сосуществования» между государствами. Одним из основных правил в этой мировой игре является «мирное», «более справедливое» и контролируемое распределение прибылей, которые дает так называемый Третий мир. В этом проявляется смысл новой американской стратегии «ограниченных войн», «локальных конфликтов», «борьбы с терроризмом» и «двусторонних встреч на разных уровнях». Обосновывая свою стратегию, Вашингтон ссылается на «торжество разума» и взаимную выгоду сотрудничества с советским государственно-капиталистическим классом. Но нет никаких гарантий, что сегодняшние договоры завтра не будут нарушены, особенно если спазмы кризисов в СССР и США усилятся. Для империалистической алчности и страха **нет границ**. Такая международная атмосфера усиливает внутреннее напряжение в кремлевской империи, предрасполагает к неуверенности, поиску выходов, очень часто в противоположных направлениях, вследствие чего хаос увеличивается и в любой момент может превратиться в **«анархию»**.

Положение усложняется также наличием социальных кризисов, которыми заминирована колониальная периферия, проходящая через «перестройку» и «гласность».

В этой повсеместно предреволюционной ситуации «морально-политическое единство» господствующего класса находится под вопросом. Одна его часть требует реформ, переговоров и взаимопонимания с американским империализмом **любой ценой**, даже соглашаясь на статус второстепенной державы, каковыми являются сегодня бывшие великие державы-союзники – Великобритания и Франция. Другая часть боится, что на этом пути вниз можно потерять контроль, мозаика испортится и государственный экипаж рухнет в пропасть. Поэтому она ратует за торможение перестройки и переговоров. Одновременно она же надеется, что Запад закружится в вихре финансовой катастрофы, стомиллионной безработицы и многолетних «локальных конфликтов», вследствие чего

контрибуции и цены, которые надо платить по новому «Брестскому договору», уменьшатся.

В среде русского государственно-капиталистического класса формируется также третья фракция – так сказать, национал-большевизм, азиатское издание немецкого национал-социализма, где подвизается госпожа Горбачева, которая теперь в моде. Пока что эта часть имеет изоляционистские настроения и ведет свою антизападную войну только на домашнем фронте – против собственных граждан, носящих джинсы и петушиный чуб, любителей поп-музыки, последователей Будды и других божеств (отличающихся от национально-партийных), злосчастных «борцов за права человека» и прочих.

Эта фракция завтрашних черносотенцев и последователей Распутина в государственно-капиталистической России является **экскрементами конвергенции** систем с различным социальным строем.

Так в утробе КПСС формируются эмбрионы трех партий – не исключено, что появятся и другие. «Ночь беременна», время динамично, и мрачные предчувствия конца второго тысячелетия захватывают широкие слои стареющего «нового класса», предчувствия, намного более мрачные, чем те, что витали в конце первого тысячелетия – в середине средневековья.

По нашему мнению, горбачевская предреволюционная ситуация приведет к **военной диктатуре или социальной революции пролетариата**.

Именно в этой перспективе надо оценивать национальные и религиозные вопросы в империи. И те и другие – продукт «советского» средневековья и всеобщей отсталости русского государственного капитализма. И именно по этой причине они могут играть роль намного более важную, чем, скажем, на Корсике, в Стране Басков или в Ирландии, где эти силы способны только вызвать хлопки зловонных пузырей на поверхности застоявшегося европейского болота, в которое время от времени бросают труп какого-нибудь путешествующего или торгующего обывателя.

Наши критерии по отношению к этим фракциям определяются их отношением к имперской диктатуре. Уже теперь виден их флирт с властью, у которой не будет никаких преград для использования великорусского шовинизма, хоругвей Пра-

вославленной Церкви и черносотенного движения, как это делали в недавнем прошлом Романовы и Иосиф Джугашвили. И наоборот, существующие на колониальной периферии национальные и религиозные устремления, глубочайшие социальные и антиколониальные тенденции, скрытые от поверхностного взгляда, могут увеличить центробежную силу и, таким образом, способствовать дезорганизации и параличу репрессивной мощи диктатуры.

Социальная революция интернациональна по своей сути. Поэтому в империи она сильнее всего ударит по великорусским шовинистам и архиереям партийной группы «священного» синода, а также привлечет на свою сторону национальные и религиозные движения в центре и на задворках московского государства. К тем же, кто ориентируется на сотрудничество с военно-полицейской диктатурой и к тем, новым, на этот раз «советским» калединцам, деникинцам и врангелевцам – наше отношение будет таким же, как к патриотам, попам и другим обскурантам в столице и в больших городах РСФСР.

Точная разработка тактической линии требует серьезного изучения последовательности революционных событий в Восточной Европе и Азии, а также, начиная с 1948 года, в Югославии, Восточной Германии, Венгрии, Китае, Албании, Чехословакии, Польше, Афганистане, Тибете и др.

Материал огромный, и поэтому неверно утверждение Зиновьева, что создание теории и «модели» для борьбы с государственным капиталом нужно начинать с нуля. Что нужно работать в незнакомой области, без всяких ориентиров, примеров или материалов для критического исследования и теоретических выводов. Именно акции, демонстрации, массовые забастовки и революционные выступления рабочего класса последних трех десятилетий (Берлин – 1953, Будапешт – 1956, Прага – 1968 и Польша 1956-70 и 1976-80-81) предоставляют изобильные и еще не использованные данные для теоретической работы.

Очевидно, что надвигающиеся события в Югославии, Китае и в самом СССР дают возможности для обогащения этого опыта. Тут практика может предвосхитить создание научной идеологии, как это случилось в 1917 году со многими теориями. Поэтому надо спешить с систематизацией итогов революционных событий и их пропагандой. С самого начала эта пропаганда должна ярко и категорически противопоста-

вить наши идеалы, теоретические концепции, программы мобилизации и революционных действий государственному и общественному «порядку», установленному на востоке:

Анархия – свободный союз коммун вооруженного пролетариата против военно-полицейской диктатуры государственного капитала и его учреждений насилия.

Равенство и коммунизм – против неравенства, эксплуатации и привилегий номенклатуры.

Пролетариат – против нового класса паразитов и аппаратчиков-эксплуататоров.

Революционная организация – против партии жандармов и стукачей.

Массовый террор снизу – против террористической диктатуры сверху.

Сегодня единственной реальной программой является уничтожение этой диктатуры, эксплуатации и классов. Следует во весь голос сказать рабочим слова, которые два века назад Вольтер сказал санкюлотам: **раздавите гадину!** Организуйтесь в подполье, вооружайтесь, чтобы сломать военный, партийный и полицейский позвоночник государства.

Только в такой борьбе с насилием и грабежом государственно-капиталистического класса можно обрести искомое Зиновьевым **совпадение между сознанием подавляемых и эксплуатируемых классов и революционной теорией.**

И, наконец, в заключение несколько слов о скорости наступления событий и реальности надежды. Сегодня любая идеология неэффективна, так как время опережает события и каждое поколение имеет свое отношение к происходящему и свои проблемы. Поэтому нашему поколению необходима своя революционная теория и идеология. Теория с ее разрушительной и конструктивной частями. По этой теории идею ускорения исторического процесса можно иллюстрировать формулой типа уравнения Лоренца – зависимости времени, необходимого для *революционных перемен* (t), от скорости изменений в период роботронной эпохи (V):

$$t = t_0 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

где t_0 есть старое «классическое» время, «необходимое» для созревания плода революции в утробе старого общества, вре-

мя, которое (если не считать абортов) в аграрно-капиталистической цивилизации измерялось тысячами, а в индустриально-капиталистической – веками. (С) – константа, подобная постоянной Эйнштейна, выражающая предельную максимальную скорость перемен в технологии, общественном сознании и в социальных структурах.

Сегодня, когда роботронная революция доходит до исторической скорости (V) и до световой (С), как вытекает из вышеуказанной формулы, реальное (и относительное) время эволюционного созревания перемен становится бесконечно малым из-за числителя подкоренной величины, стремящегося к нулю.

Вследствие роста скорости роботронная революция автоматизирует производство и общественное обслуживание, создает все необходимые предпосылки для осуществления анархо-коммунистического идеала. Необходимо создать революционную организацию для уничтожения диктатуры! А что касается жертв, то, когда революционер погибает во имя свободы, он не «жертвует собой», а именно следует зову своей единственной и настоящей страсти – **революции!**

Перевели с болгарского А. Бен-Яков, Л. Герштейн

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя статью болгарского анархо-коммуниста, с концепцией которого, как нетрудно догадаться, мы не согласны, мы исходим из желания ознакомить наших читателей с течением общественно-политической мысли, которое советский человек знает, главным образом, не дальше «Цыпленка жареного...» из советских «историко-революционных» фильмов. Между тем, анархисты – и в России, и на Западе – были первыми прозорливыми критиками советского тоталитаризма на самой заре его существования и никогда с ним не смиряться. Сейчас даже на Западе они почти не имеют широкой трибуны, публикуясь на страницах крохотных, почти самиздатских журнальчиков и брошюр. Мы считаем, что по справедливости и эта сторона должна быть заслушана.

КОНСТАНТИНОВ Георгий – родился в 1933 году в Болгарии. По образованию математик. Член Болгарской федерации анархокоммунистов. В 1953 году осужден как организатор террористической

группы (среди обвинений – подготовка взрывов консульства ГДР и британской военной миссии в Софии и взрыва статуи Сталина в софийском Парке Свободы). Десять лет отсидел в самых тяжелых политических тюрьмах Болгарии. В 1973 году был предупрежден, что готовится новый его арест, и нелегально бежал через границу. Работает на Западе как специалист по компьютерам в крупных международных компаниях и, по его признанию, «вместо бомб, в ожидании лучших времен, пишет статьи и книги по истории, не являющиеся его амплуа». Публикуется в анархистских журналах, издаваемых как болгарскими эмигрантами, так и анархистами многих других стран.

Алла Кторова

«МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ»

«Мелкий жемчуг», новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание жизни пращуров и предков прошивается картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй Мировой Войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядом автора на нового человека эпохи НТР и т. д.

«Мелкий жемчуг» продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 стр. с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Заказы на книгу принимаются во всех магазинах русской книги Зарубежья, а также по адресу:

Victoria Sandor, 5838 Edson Lane,
Rockville, Md; 20852. U.S.A.

Запад – Восток

Лев Н а в р о з о в

ПИСАТЕЛЬ КАК АГЕНТ-ПРОВОКАТОР ВСЕСИЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Помимо беглого упоминания Эренбурга как советского писателя, моя «Британская Энциклопедия» посвящает ему лишь одну фразу, причем в статье «Антисемитизм»: «Рупоры режима, включая еврея Илью Эренбурга, начали (с 1950 г. – Л. Н.) нападки на евреев за их «космополитизм» и за их связи с евреями на Западе». Предполагалось, что «советские евреи» – за некоторыми почетными исключениями, вроде Эренбурга, – окажутся к концу 1953 г. «в суровой и безлюдной местности», погибая от голода и холода столь же неотвратимо, как они погибали десятилетие ранее от Циклона Б.

В 1967 г. я спросил московскую семью, почему они сожгли в 1937 г. берлинское издание романа «Хулио Хуренито» 1921 г., в котором Эренбург вывел себя, под именем Ильи Эренбурга, в качестве одного из апостолов-учеников пророка новой эры великих провокаций, Хулио Хуренито.

– Глава 27-я, – объяснили они, понижая голос даже в 1967 г. – Там Хуренито целует Ленина «в высокий крутой лоб»: мол, Ленин и есть великий провокатор.

– Еще бы! – сказал я. – Ведь «Правда» оповестила мир на 7 ноября 1917 г., что темные силы контрреволюции напали на Смольный – на Ленина, в то время как в действительности это, наоборот, Ленин напал на Временное правительство. Само всемирно отмечаемое возникновение режима – это провокация-инсценировка. С самого дня своего рождения режим-провокатор настолько скрылся за своими провокациями-инсценировками, что неизвестно даже, как новорожденного называть. Все его «официальные названия» – провокации-инсценировки. Приходится называть его «советским», ибо слово укрепилось во всех языках, но именно советы (местного самоуправления) режим в первую голову и уничтожил тоже, заменив их инсце-

нировками, а имя-название присвоил – как провокатор, принявший облик своей жертвы и до сих пор себя за нее успешно выдающий.

Впрочем, в 1967 г. я не знал одной подробности. Раньше, чем за неделю до нападения Ленина-Троцкого на Временное правительство 7 ноября 1917 г., о нем стало известно газете «День», которая и обнародовала весь план захвата власти. Тогда на Петроградском совете Троцкий прочел это сообщение вслух – под громкий хохот присутствующих, а «Правда» от 2 ноября ярко изобразила всё это в лицах. Возможно, даже многие соратники Ленина-Троцкого и в самом деле полагали, что сообщение – неуклюжая утка, и смех их сливался со смехом провокаторов, придавая провокации-инсценировке ту естественность, без которой она мертва.

Именно Эренбург и нужен был режиму-провокатору. То, что Ленин не отверг писателя-антибольшевика, изобразившего Ленина как великого провокатора, а его режим как великую провокацию, было само по себе инсценировкой терпимости, свободы, «интеллигентности» Ленина и режима. Вроде того, как в школе нам доверительно сообщали, что Фаина Каплан и до сих пор трудится в библиотеке. Но не в пример неисправимой социал-революционерке, трупом которой можно было разве что только забор подпирать, литературный апостол-ученик пророка новой эры великих провокаций был сущим кладом: Запад будет ждать, что столь острый писатель-антибольшевик уж, конечно, «расскажет правду о большевистском режиме». Правоверный последователь режима доверия на Западе не вызывает. Он должен прослыть бесстрашным его обличителем, вольнодумцем и правдолюбцем или, на худой конец, прожженным циником. Вот тогда он незаменим для провокации-инсценировки с целью внушения Западу того, что в данный стратегический момент внушить ему необходимо.

Всю последующую жизнь Илья Эренбург играл Илью Эренбурга из романа «Хулио Хуренито», но он стал литературным апостолом-учеником не просто пророка великих провокаций, а самих великих провокаторов. Его жизнь – это продолжение романа «Хулио Хуренито».

За год до его смерти закончилось издание его собрания сочинений – его последняя провокация: в этом издании он написал предисловие к «Хулио Хуренито», объясняя, почему

он так этот роман любит, и выбросил из него главу 27-ю, то есть единственные ценные шесть с половиной страниц, которые он в своей жизни написал. А все последующие главы он перенумеровал. Илья Эренбург говорит в романе «Хулио Хуренито» устами Ильи Эренбурга, что в результате великих провокаций грядущее человечество будет «кувыркаться в блаженном идиотизме». Около полувека спустя Эренбург полагал, что, кувыркаясь в блаженном идиотизме, человечество не заметит исчезновения главы о великом провокаторе.

Был бы Эренбург и по сей день в расцвете своих литературных сил, к осени 1987 г. по всему миру был бы, наверняка, издан его роман под названием «Освобождение» или «Возрождение», где изображалась бы величайшая, после революции Ленина-Троцкого, революция Горбачева-Чебрикова (глава КГБ и член Политбюро на сегодняшнее число, Чебриков первый пустил в оборот слово «реформы»). Какие восторженные рецензии появились бы в престижных периодических изданиях Запада или, во всяком случае, ручаюсь за Соединенные Штаты. А интервью по телевидению, тиражи и гонорары! И сколь смело было бы представлено в романе ниспровержение сталинистов-брежневцев вроде Гришина или Романова, отчего впоследствии возрождение также и в области культуры (Ренессанс).

Однако Эренбург умер в 1967 г., и поэтому за тем, что было после 1967 г., я обращаюсь к опыту своей собственной жизни. Да и, кроме того, что же мы знаем доподлиннее, чем свою жизнь?

За четыре года до моей – в то время и не чаемой – эмиграции, а именно тогда, когда пражская весна была в московском воздухе 1968 г., меня пригласили на закрытое совещание в здании Агентства печати «Новости» по вопросу о «качестве советского экспорта печатного слова».

Говорили двое: ныне телевизионная знаменитость Соединенных Штатов Владимир Познер, службист, член КПСС, знающий английский язык и США постольку, поскольку он вырос в США, и я, никогда не состоявший ни в одной организации (по закону – подлежащий высылке паразит), но, выражаясь слогом докладных, «единственный в истории русской литературы переводчик русской литературы на английский язык, никогда не живший ни в одной стране английского языка».

Ничего нового в моем общественном положении не было. На протяжении всей своей истории с 1918 г. тоталитарная иерархия состояла из двух вертикальных сегментов: держатели власти, обычно не способные ни к чему, кроме власти, и безвластные обладатели редкого или единственного в своем роде дара, полезного для держателей власти. Безвластный и по закону подлежащий высылке паразит, я жил с семьей на даче, которой завидовал мой сосед Громыко, ставший вскоре членом Политбюро.

На совещании Познер выступил первым. Ряды высокопоставленных чиновников скучали. Кроме двух-трех лиц, я не знал (и не желал знать) никого из них. Если бы среди них был и сам Андропов, новый глава КГБ, я бы не узнал и его, ибо я никогда не видел (и не желал видеть) его фотографию в газетах. Я «произнес антисоветскую речь» о том, что «советская печатная продукция, направляемая на Запад», – это макулатура. А ведь словотворчество на русском языке существует. Я назвал имена тех, кого не печатали или только начали печатать – с оглядкой. Не преминул заметить, что издательство «Советская Россия» приняло к печати мою «книгу повествований». Когда я кончил, высокопоставленные чиновники устроили мне овацию.

Через несколько дней один из них «продолжил разговор». Не возьмусь ли я издавать литературный журнал, который будет выходить только на Западе? Никакой политики. Чистая литература. В остальном – неограниченная свобода.

Спустя почти 20 лет этот журнал все еще не издается. Но сказать, что я «наотрез отказался», – покривить душой. Какое исполнение желаний! Ведь проза, которую я сам писал, была безукоризненно аполитична. Писатель, а тем более поэт, в моем тогдашнем представлении, – не от мира сего, гений-юродивый.

«Бывают такие периоды, уходят тогда в переводы». Но от переводов меня уже тошнило физически. Теперь брезжил выход. Маячило то, ради чего я подпольно жил.

Я поговорил с корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» в Москве и ему подобными. Успех журнала на Западе был обеспечен.

Сейчас я бы назвал этот журнал тоталитарно-полицейской провокацией с целью стратегического обмана Запада, а именно – внушения ему, что советская империя движется к свободе.

Сейчас-то я знаю, что понимание прозы и поэзии в Нью-Йорке, например, близко к нулю. Но разве в прозе или поэзии было дело? Дело было в том, что проза и поэзия – безгранично свободные – шли бы «оттуда», а это и была бы «мировая сенсация»: изысканное литературное доказательство неограниченной свободы в советской империи – по крайней мере, в области культуры.

Если бы я стал издавать сейчас в Нью-Йорке такой журнал, то этот же самый корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» не написал бы о нем ни строчки, будь я трижды Вольтер XX века и семи литературных пядей во лбу. Ведь необходима «сенсация», а кто что пишет, какое ж это имеет значение? Вся русская, немецкая и французская поэзия XX века, якобы переведенная на английский язык и изданная в Нью-Йорке, представляет собой однородную галиматью: в Нью-Йорке, городе-полиглоте, нет ни переводов, ни переводчиков, никто и не пытается переводить (в подлинном смысле), да и кто же будет беспокоиться о подобных пустяках?

Конечно, в Нью-Йорке, как и в Москве, можно литературно-интеллектуально преуспеть с помощью связей, знакомств, интриг и прочего, и первая ступень в этом искусстве – попасть на страницы газеты «Нью-Йорк таймс». Но тут уж Бог меня обидел: и в Москве я всегда говорил как бы в припадке, не взирая на влиятельных лиц и их любимые мозоли – не помня и о существовании таковых. Где мне их помнить, если когда я говорю-пишу, я себя не помню? При Сталине я был много раз на краю пропасти, но меня принимали или за провокатора МГБ, или за сумасшедшего, поскольку, к счастью, я не говорил банальностей, а это представляется многим сумасшествием. Если я не мог справиться с собой в Москве при Сталине, где ж мне помнить в Нью-Йорке, чего не следует говорить-писать-печатать, а то и профессорства не получишь даже в университете, которого не сыщешь на карте. Нёт, без сенсации моему журналу в Нью-Йорке никогда бы не вылезти из законного, свободного, прекрасно изданного западного самиздата.

Необходимую сенсацию для Нью-Йорка создавало в Москве с начала 60-х гг. открытое преследование инакомыслящих – гласный суд, например. Но уже в 1968 г. новый глава КГБ понял, что суды эти следует прекратить (о чем далее), а сенсацию для Запада может создавать, наоборот, отсутствие

преследования, каковое отсутствие будет указывать на сенсационное движение советской империи к свободе. Отчего и понадобился, в частности, мой журнал безграничного литературного инакомыслия по разрешению и даже по инициативе свыше. А если советская империя, паче чаяния, предстанет кое-где на его страницах как нищая, отсталая Россия, то еще лучше: западных налогоплательщиков-избирателей не мешает начать уверять в том, что, будучи нищей и отсталой, советская империя быть сильнее Запада в военном отношении никак не может. Вспомним, как уже тогда охотно печаталась «деревенская проза» даже для советского населения, ибо его мнение о том, живет ли он в раю на земле или в нищей, отсталой России, не представлялось более столь существенным. Гораздо важнее стало мнение западных избирателей, от которых зависят западные расходы на оборону, да и вообще состояние всей западной защиты от советской империи. Пусть западные избиратели верят, что против нищей, отсталой России нечего и обороняться, а наоборот, надо ей помогать займами, техникой и всем, чем богатый, передовой Запад располагает; что же касается военного усердия правителей этой нищей, отсталой страны, то как же им от страха не вооружаться с целью обороны при виде богатства и мощи богатого и передового Запада?

По мысли Андропова, следует разрешить писать для Запада о советской империи все, что угодно, но только не касаться ее новой тайны: скрытого роста ее скрытого военного превосходства над Западом. Если бы западный корреспондент в Москве постарался узнать, что, скажем, автомобильный завод Лихачева производит на самом деле (лучшие в мире) боевые машины пехоты, то участь любопытствующего иностранца была бы горше, чем при Сталине.

Как мне это сейчас ясно, между 30-ми и 70-ми гг. глобальная стратегия советской империи постепенно преобразилась. Раньше она была рассчитана в основном на захват Запада изнутри, то есть на рост численности и влияния на Западе коммунистов и других крайних левых, для чего Западу необходимо было внушить, что советская империя движется к земному раю – «коммунизму». Отсюда – макулатура, изображавшая даже лагеря (медленной) смерти в виде сусального преддверия рая на земле, причем слогом расхожих рождественских рассказов прошлого столетия. В 1968 г. для экспорта на Запад эта

макулатура была больше не надобна, ибо глобальная стратегия была теперь рассчитана в основном на захват Запада советскими вооруженными силами, то есть на голосование избирателей на Западе за уменьшение расходов на оборону, а для этого их следовало уверить в том, что советская империя – это нищая, отсталая и потому безопасная Россия, и движется она не к земному раю, а, наоборот, к западному образу жизни (еще недавно представляемому в виде ада на земле), и главное – к свободе. Разумеется, с 7 ноября 1917 г. никакого такого движения к свободе в ней не было и нет. Было лишь множество полицейских инсценировок свободы, вроде «выборов», которые поначалу снискали одобрение даже Мандельштама, человека и вне поэзии далеко не среднего по уму и образованию; а у отца американской советологии Самуэля Харпера или посла США в Москве Джозефа Дэвиса они и вовсе вызвали лишь опасения, что Сталин не будет избран.

Целые страны не могут защитить свою свободу от советской империи. Как же может быть свободен ее житель, которому и бежать-то даже нельзя в горы или степи от ее вездесущих полицейско-военно-бюрократических пут и у которого нет для защиты от нее ничего, кроме голых рук?

В современных условиях свобода – это правовая защита личности от насилия, в частности, со стороны власти. Бейлис был свободен в России в той мере, в какой суд присяжных оправдал его в 1913 г.

Вспомним, что суд присяжных действовал в Англии в течение многих веков, когда присяжные были почти всегда сплошь неграмотны, а городские условия жизни в самой нищей и отсталой современной стране показались бы им невиданной роскошью. Поэтому суд присяжных вполне был возможен еще столетие назад среди ста народов, проживающих на территории Российской Империи, а в деле Бейлиса подтвердил свою способность противостоять и властям предрешающим, и значительной части самого населения.

Но и гран свободы – суд присяжных – означал уменьшение власти на тот же гран, ибо она уже не могла осудить Бейлиса, хотя на стороне прокуратуры, трудившейся над обвинением в течение двух с половиной лет на самом высоком уровне двух министерств, было глубочайшее, тысячелетнее, до сих пор мало где изжитое предубеждение большинства против «инородного» меньшинства (в штате Нью-Йорк обвинение в ри-

туальном убийстве было выдвинуто в 1928 г.: к счастью для обвиненных, оказалось, что пропавший ребенок был не убит, а заблудился в лесу и был найден живым и невредимым).

Для того, чтобы у населения был на один гран свободы, то есть правовой защиты от власти, власть должна отказаться на этот один гран от власти – ограничить себя хотя бы на один гран, как ограничил ее – и далеко не на один гран! – Александр II Освободитель, введя оправдавший Бейлиса суд присяжных (возникший, между прочим, в Англии до, например, парламента). Но свобода по разрешению или по приказу всемогущей власти на то время и в том виде, в каком эта власть считает это для себя полезным, – это не свобода, а полицейская инсценировка свободы всемогущей властью.

Раб или крепостной былых времен могли приносить пользу владельцу, если последний разрешал или приказывал им быть свободными в той степени, в какой это необходимо по роду их деятельности. Раб или крепостной мог таким образом пользоваться сельскохозяйственной, художественной, научно-технической или иной «рабско-крепостной свободой». Но владельцу рабов или крепостных было ни к чему разрешать или приказывать им быть свободными в той степени, в какой это необходимо для того, чтобы казаться свободными. В то же время, современным владельцам рабов и крепостных в масштабе целой страны или континента иногда полезна и такого рода «рабско-крепостная свобода». В советской империи вырабатывается десятилетиями искусство инсценирования свободы, причем инсценировки обновляются, ибо они в конце концов на Западе разгадываются, надоедают, выходят из моды.

Странно, но только на Западе я вспомнил Архангельск во время Второй мировой войны. Через Архангельск американцы и англичане везли Сталину заказанное им для войны. Поэтому Сталин приказал: свобода в Архангельске. Архангельск стал внешне таким же свободным, как Нью-Йорк или Лондон. Он превратился в русско-англо-американский город: американцы и англичане рассказывали дома чудеса о свободе в стране дяди Джо. Но НКВД следило вдвойне, а когда провокация-инсценировка кончилась, то даже зарегистрированные в советском ЗАГСе браки были признаны недействительными задним числом, ибо ведь вся эта свобода была игра крепостного театра в свободу, и весь город был лишь крепостным театром.

В 1987 г. – новые провокации-инсценировки свободы. Кто же будет в них, из числа подданных советской империи, участвовать? Герои-самоубийцы, которые на продолжении всей истории всесильной власти с 1918 г. высказывали ей в лицо то, что они о ней думают (как Гумилев даже во время расстрела). Политически безграмотные простаки, которые всегда, начиная с 1918 г., принимали все провокации-инсценировки за действительность, затем страдая от своей простоты, негодуя или становясь провокаторами. Провокаторы, играющие в свободу по молчаливому или выраженному уговору с всесильной властью.

Но никто другой. Ибо даже те, кто ничего не знает о том, что происходит на тайной вершине всесильной власти, заметили, например, что два именитых члена Политбюро – Гришин, которого выдвинул еще Хрущев, и Романов, который был членом Политбюро еще когда никто о Горбачеве и слыхом не слыхал, – «слетели»: как бы вдруг исчезли, словно таких и не было. За два с половиной года (март 1985 г. по октябрь 1987 г.) слетели все члены Политбюро, кроме четырех. Никто не знает, кто когда слетит и почему. Будет ли Горбачев новый Сталин? Умертвит ли его бывший благодетель, а ныне главный враг, глава КГБ Чебриков? Может быть, вся власть у Чебрикова, а Горбачев лишь его актер в роли генсека? Или сам Чебриков слетит?

В этом смысле Ельцин слетел особо примечательным образом – с шумом и треском, благодаря западной печати, которая подхватила слухи в Москве о «закрытом выступлении Ельцина на пленуме ЦК КПСС 21 октября 1987 г.». Во всякой крупной инсценировке-провокации участвуют лица, которые – хотя бы лишь на минуту и под влиянием минуты – принимают игру, розыгрыш, инсценировку-провокацию за действительность. Подобное случается и с высокопрофессиональными и опытными актерами в театре. Такое случилось и с Ельциным 21 октября: ему показалось, что в инсценировке гласности есть хотя бы грань действительной гласности. Он вообразил, что, по крайней мере, уж кандидат-то в члены Политбюро может смель свое суждение иметь и высказать его – нет, разумеется, не гласно, а хотя бы в закрытом выступлении на пленуме ЦК КПСС – почти что на самой вершине пирамиды всесильной власти. Но так как западная печать разгласила московские слухи о выступлении Ельцина, то он не просто слетел, а еще

и раскаялся в духе раскаяний, скажем, того же Бухарина «на суде», причем без всякой обработки в застенках НКВД, а немедленно («после праздников»), но зато столь же чистосердечно, в то время как Горбачев вылил на него ушат облыжных обвинений, никак несообразных с тем фактом, что сам же Горбачев этого злодея Ельцина и выдвинул, и смехотворных уже хотя бы потому, что текст выступления Ельцина 21 октября так и не был предан гласности.

Но если так «летят» эти титаны-полубоги, несмотря на свою известность, связи, челядь и бронированные лимузины, то на что же рассчитывать Менделю Бейлису советской империи, нищему, неизвестному, зависимому в каждой мелочи от «государства»?

В советской империи существует с 1918 г. лишь одна действительность: власть, борьба за нее между олигархами и совместная их борьба за общую власть над миром. Весь же «советский образ жизни», особенно в «тех городах, где бывают иностранцы», – это инсценировка для Запада. Жизнь подвластного населения – это лишь огромный крепостной театр. Почему подвластную Болгарию заставляют вот уже добрых лет тридцать поставлять помидоры в те советские города, где бывают иностранцы? Чтобы те видели: хотя страна нищая и отсталая, всё же помидоры советские люди едят.

Но представьте себе на мгновение, что Запад исчез и власть советской империи стала таким образом всемирной – вселенской. Весь этот «советский образ жизни» исчезнет тоже. Необходимость в провокациях-инсценировках впервые отпадет, власть станет, наконец, сама собой, а что это значит, мы можем представить себе из истории неограниченной власти. Развлечения олигархов превзойдут все Версали. Население превратится в их службу, в частности, на предмет отбора кандидатов для их гетеро- и гомосексуальных гаремов (вспомним охоту Берия за школьницами). Все изменения в жизни человечества сведутся к тайной борьбе олигархов-титанов. Поклонение победившим как человекоподобным богам будет сравнимо по истовости лишь с уничтожением «рядового населения» как безликой человекообразной грязи. Известная из старых школьных учебников пирамида Хеопса (не говоря уже о Мавзолее Ленина) покажется лишь скромным надгробием по сравнению с памятниками-храмами-усыпальницами, которые олигархи будут воздвигать себе еще при жизни. Бесполезная

или вредная для них часть человечества будет уничтожаться столь же бездумно, как ныне истребляются сорняки или вредители сельского хозяйства (политический термин «вредители» произошел от сельскохозяйственного термина «вредители сельского хозяйства»).

Хрущев посмертно ниспроверг Сталина для того, чтобы отеснить Молотова и Маленкова от власти: я установил, что за месяцы до его «закрытого доклада» советская пресса называла Хрущева ближайшим соратником Сталина, а Молотова и Маленкова всего лишь соратниками, ибо Хрущев все еще рассчитывал въехать во власть на Сталине, а не на посмертном его ниспровержении. Как всегда, власть и борьба за власть – единственная действительность. Но действительность обычно скрыта за полезными для власти инсценировками, вроде «борьбы с культом личности Сталина». Сталин превратился в этой инсценировке в то, чем был Троцкий, а затем Гитлер при Сталине: в олицетворение мирового зла – в предположении, что те, кто против мирового зла, олицетворяют тем самым мировое добро. Многим на Западе казалось, что, будучи против Троцкого с его мировой революцией, Сталин тем самым движется к мирному труду строго в границах своей страны 1921 г., а будучи против Гитлера, он тем самым движется к гуманизму. Точно так же многим ныне представляется, что, будучи против Сталина, олигархи тем самым движутся с 1956 г. к свободе, миролюбию и занятости повышением низкого жизненного уровня своего населения. На вопрос в 1987 г. о том, почему же не может быть хоть завтра, например, тот же «37-й год», отвечают вроде того, что, мол, сами правящие этого опасаются, ибо и они могут оказаться жертвами. Но если к власти пришел в 1982 г. Андропов, то есть КГБ, то неужели КГБ будет опасаться КГБ? При этом КГБ обладает куда большей мощностью подавления, включая ядерное оружие, чем НКВД 1937 г.

Мой американский друг-профессор сообщил мне, что некоторые его коллеги-советологи считают, что Сталин уничтожил всего несколько десятков тысяч, а не миллионов подданных. Он ожидал от меня взрыва негодования. Я же сказал ему, что, конечно, для уничтожаемых отнюдь не безразлично, уничтожают их или нет, но какое же это имеет значение для оценки всесильности власти и рабского состояния неуничтожаемых? Если Сталин погубил в тысячу раз меньше

душ, чем это ему вменяется, то, значит, такова была его господская воля – столько их он считал целесообразным погубить в интересах своей власти. Когда независимый Запад исчезнет, олигархи будут, возможно, истреблять подданных также и ради забавы или удовольствия. Но пока существует независимый Запад, олигархи истребляют лишь тех, кого им представляется необходимым истребить для укрепления и расширения своей власти.

Нет в советской империи действительности, кроме власти олигархов. Отказаться им от нее хоть на грань? Да почему? С 1918 г. олигархи борются друг с другом за власть не на жизнь, а на смерть. И вдруг всем вместе начать отказываться от нее в пользу правовой защиты личности – некоего Менделя Бейлиса, служащего кирпичного завода в Лукьяновке, которого олигархи и различают-то не больше, чем ученый отдельную бактерию в своей культуре из 280 миллионов бактерий.

Когда Англия и Франция разбили войска Николая I на территории России (в Крыму), у монархии России, которая в основе своей не отличалась от монархии Англии (христианские монархии и аристократии были связаны еще и семейными узами) не было иного пути, кроме как пути к конституционной монархии (на современном языке – «демократии»). А коль скоро Российская Империя двинулась по этому пути, никакого иного пути не было и у Николая II, монарха Российской Империи, напоминавшего, между прочим, Георга V, монарха Британской Империи, не только внешне (в Лондоне их путали, а на некоторых фотографиях они не отличимы), но и по характеру, воспитанию, взглядам и образу жизни: Николай II переписывался с женой по-английски, поскольку ее мать была Принцесса Английская, дочь достославной английской королевы Виктории, обожавшей свою внучку и давшей ей образование под своим руководством из Англии. Ничего недостижимого в российской конституционной монархии не было: в ряде стран монархии стали конституционными без всяких переворотов, а Япония (с ее и ныне здравствующим императором) справедливо причисляется, с точки зрения свободы, к «Западу», хотя исторически она отнюдь не ближе к географическому «Западу», чем Россия.

Возвращаясь к 1987 г., начнем с того, что на сегодняшний день – не английские и французские войска только что разбили советские войска на советской территории, а советские войска

могли бы занять западный огузок Европы за 12-15 дней, если бы целью советской стратегии был этот огузок, а не весь мир. С какой же такой стати станет власть советской империи ограничивать себя и на гран? Зачем же ей идти по пути английской монархии или французской республики, если весь мир пойдет по ее пути? Власть не отказалась ни от грана власти, когда она была на краю гибели в 1919 г. Так неужели откажется она от нее даже на гран сейчас, когда ей вполне может представляться, что она накануне власти над миром?

За последнее столетие влияние веры в потустороннее, надмирное, духовное на поведение ослабло и на Западе: ничего нет, кроме этой жизни – успеха в ней или неудачи. Российская монархия отдавала власть населению – и что же? Жену, детей Николая II убили вместе с ним («Наследник, императрица, четыре великих княжны»), а самого царя посмертно обратили в посмешище. Судьба неудачника в современном мире. Власть же всесильных олигархов растет – и что же? Уже в семидесятых годах один из президентов США обнимал Брежнева, а другой его целовал на виду у телевизионных камер. Вот он – успех, ибо всесильная власть – это успех, и чем больше простирается она над миром, тем больше она успешна, а что же существует для многих на Западе, кроме успеха?

Теперь, на Западе, когда все статистические справочники у меня под руками, мне многое так ясно. В 1955 г. расходы на оборону в США составляли 11,2% валового производства. Благодаря советским инсценировкам свободы, они упали до 4,9% в 1979 г. После советского вторжения в Афганистан они поднялись лишь до 6,5% в 1983 г. Но и эти данные обманчивы, ибо, в силу добровольности вооруженных сил США и прочего, около 60% этих расходов идет на заработную плату добровольцам и другие «издержки по содержанию персонала» (как, например, строительство домов и квартир для семейных солдат). Средства на оборону поступают через налогоплательщиков-избирателей: это их деньги, а потому их легко и уверить в том, что и эти расходы слишком велики.

Как переменялось в Соединенных Штатах само понятие о советской угрозе (которую ныне в «американской большой прессе» пишут только в кавычках)! Поскольку Рейган был избран президентом в силу советского вторжения в Афганистан, а оно продолжается уже много дольше, чем Вторая мировая война, как продолжается и наращивание превосходства

почти всех видов советского наступательного оружия, то Рейган однажды за все семь лет пребывания на своем посту назвал советскую империю «империей зла». Дело было в 1983 году, Рейган выступал перед христианскими евангелистами, и ему как бы и положено было сказать нечто подобное о добре и зле. Какая буря разразилась в «американской большой прессе», и, хотя бедняга Рейган никогда больше не пытался ничего такого вымолвить, а наоборот, осознал свое глубокое заблуждение, сказанное им до сих пор вспоминается в «американской большой прессе» как доказательство, что зло-то кроется в президенте США.

Тут нужна лишь еще одна всемирная инсценировка движения советской империи к свободе, ее миролюбия и занятости повышением низкого жизненного уровня населения, и оборона США станет необратимо бесполезной.

Эту инсценировку – сверхдетант – и разработал Андропов, которого на Западе называли «скрытым либералом». Предложение мне издавать литературный журнал было лишь одной крошечной ячейкой огромной мозаики его сверхдетанта.

Сама пражская весна 1968 г. была вначале тоже провокацией-инсценировкой сверхдетанта. Это и тогда было ясно. Почему редактор «Советской России» примчалась ко мне на дачу за моей «книгой повествований»? Да потому что издательство «посетила делегация чехословацких писателей», а «Советская Россия» понимала, что без высочайшего на то одобрения делегации в Москву не приезжают и по издательствам не расхаживают и посему пражская весна происходит либо по приказу, либо по разрешению и в Москву движется по указанию сверху.

Но провокация-инсценировка вышла в Праге из-под власти полицейского управления и пришлось вызвать войска. Брежнев назвал это «игрой с огнем».

Многие полагают, что с 1918 г. в советской империи на вершине иерархии власти идет спор между светом и тьмой, прогрессом и реакцией, освобождением и закрепощением. На самом деле, это спор между сторонниками более смелых провокаций-инсценировок и теми, кто считает их чересчур опасными и требует их ограничения. Характерно, что после игры с огнем в Праге Брежнев Андропова отнюдь не сместил, ибо и сам Брежнев вначале играл с огнем тоже (любопытно, что после венгерского восстания 1956 г. советский посол в

Венгрии Андропов не «полетел», а наоборот, тут-то и начал свое восхождение к вершине власти, а Венгрия является в настоящее время образцом инсценированной свободы – благодаря, в частности, Андропову).

Напуганный пожаром в Праге, Брежнев затормозил сверхдетант на доброе десятилетие, довольствуясь детантом.

Однако с помощью «автомобильных катастроф», «скоропостижных смертей» и даже устроенного на весь мир «скандала в благородном семействе Брежневых» Андропов, его помощник Чебриков и безвестный до 1979 г. Горбачев фактически пришли к власти в 1980 – 1982 гг., а в 1986 г. Чебриков и Горбачев начали осуществлять сверхдетант (что не мешает им стремиться уничтожить друг друга в духе лучших традиций олигархов, восходящих к фактическому домашнему аресту Ленина под предлогом заботы о его здоровье).

Когда я спросил «известного советского работника культуры», верит ли он мне, что ныне осуществляемая программа – это программа КГБ, он подтвердил с восторгом: «Там в КГБ хо-р-р-ошие ребята – молодые!» В 1987 г. он произнес слово «молодые» с таким «молодым задором» 1917 г.: мол, молодость нового мира («Мы, молодая гвардия, непобедимый стан»), идущая на смену миру отжившему, видимо, начиная с Машерова, погибшего в неправдоподобной автомобильной катастрофе в 1980 г. за три недели до избрания Горбачева вместо него в члены Политбюро.

Разумеется, окончательное разоружение Запада, которое началось еще с «борьбы против культа личности Сталина» в 1956 г., – лишь одна цель многоцелевой программы КГБ-Андропова, ныне претворяемой в жизнь Горбачевым-Чебриковым. Например, Андропов понял, что «органы госбезопасности» стали при Сталине бесполезными: они не могли выявить действительно опасных политических преступников (вроде хотя бы меня, например), ибо каждый вел себя либо как «беззаветно преданный нашей партии и правительству», либо как беспартийный обыватель-чужак. По мысли Андропова, КГБ должен быть не террористом, устраивая гласный суд над диссидентом за то, что он открыто высказался (и стал, благодаря преследованию, известным всему миру), а наоборот, тайным провокатором, побуждая всех открыто высказываться, чтобы определить истинную психологическую подоплеку каждого. В крайнем случае, для обнаруживших себя действительно опас-

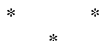
ных преступников есть автомобильные катастрофы, несчастные случаи, аварии, болезни – и уж, конечно, нападение неопознанных хулиганов-патриотов. Политическая полиция уже и ранее упразднялась, исчезая под аббревиатурой обыкновенной полиции. Почему же ей не исчезнуть навсегда, то есть стать действительно тайной? Очевидно, что ее явность, вроде официального «здания на Лубянке», – анахронизм 1920 г., а став как бы несуществующей, она будет куда более действенной, ибо все несчастья будут приписываться ей, словно всеведущему и всемогущему Богу, как наказание за политические грехи.

Как и многое другое в многоликом мире провокаций, психологическое состояние субъекта в силу несуществования-существования КГБ может казаться двусмысленным и даже противоречивым. Но это не так в смысле ожидаемых конечных результатов поведения: «гласность» в связи с якобы несуществованием КГБ должна побуждать субъекта к полной откровенности вообще на благо информаторов и социологов КГБ, а страх якобы несуществующего КГБ – к исповеди перед психологами и психиатрами КГБ в роли тайных священнослужителей высшего существа, неназываемого, несуществующего и все же всемогущего и милостивого только в случае раскаяния.

Допустим, те, скажем, 10 000 инакомыслящих, которые высказались с 1964 по 1982 гг., не высказались бы, а стали тайными врагами режима. Как были бы они опасны! А коль скоро они высказались, никакой опасности они не представляли и не представляют. Наоборот, некоторых из них оказалось возможным еще к тому же использовать для провокации-инсценировки, которую даже американская разведка и американское правительство принимают за чистую монету. Американский правительственный документ, представленный Конгрессу 14-го сентября 1987 г. под названием «Программа Горбачева», гласит, на основании якобы разведывательных данных, что «политические заключенные» освобождаются Горбачевым, дабы тот мог «творчески использовать идеи диссидентов и социальных критиков режима». Впрочем, еще сам Андропов изображал из себя диссидента и социального критика режима, временно оказавшегося в силу игры слепого случая на другой стороне стола на Лубянке. Вот станет он генсеком, и тогда «диссиденты и социальные критики» будут у власти!

Благотворный опыт этот, конечно, теперь приумножается. Пусть выскажутся не 10 000, а 100 000 диссидентов-инакомыслящих. Даже восстания, вроде Пражской весны 1968 г., лишь укрепляют власть, ибо в результате их подавления уничтожается мятежное ядро населения.

С другой стороны, следует иметь в виду, что одно дело – это мечтания Андропова, Чебрикова и Горбачева о провокациях-инсценировках, а другое – их осуществление, ибо оказавшись у власти, олигарх очень даже понимает предостережение Брежнева, что провокация-инсценировка – это игра с огнем. Много мечтаний об игре с огнем «скрытого либерала» Андропова было оглашено на Западе до того, как он стал генсеком. Но, когда он стал таковым, он так ни на что и не решился. Много провокаций-инсценировок намечтал и даже наговорил Горбачев. Советские чиновники наперебой обещали Западу, что уж, конечно, диссиденты-инакомыслящие будут амнистированы к празднику-семидесятилетию. Ведь к «десятилетию Октября» амнистировались даже бывшие предводители восстаний. Так неужели ж нельзя амнистировать к «семидесятилетию Октября» инакомыслящих вроде того резчика по дереву, который угодил за колючую проволоку потому, что запечатлел статую Свободы на деревянной обложке книги? А эффект на Западе был бы оглушительный. Так нет же. Никого не амнистировали. А «история СССР», изложенная Горбачевым 2 ноября 1987 г., оказалась уморительной по своей трусости, лживости и нелепости басней, которая ничем не отличается от соответствующей басни Сталина, кроме морали (мораль басни Сталина – Сталин, а мораль басни Горбачева – Горбачев). Эта басня – огромный шаг назад от истории к мифу, по сравнению с «закрытым докладом» Хрущева свыше 30-ти лет назад. Далеко залетели в своих мечтаниях об игре с огнем Андропов, Чебриков и Горбачев. Но пока что их игра с огнем не очень-то смелее брежневской, а в «эмиграции советских евреев», например, они все еще осторожнее презираемого ими предшественника. Все сказанное Горбачевым в Соединенных Штатах в декабре 1987 года могло быть сказано не Горбачевым начала того же года, а Сталиным сорок лет назад. Словно Сталин вещал из гроба жиденьким тенором Горбачева.



Но тогда в Москве ничего этого не приходило мне в голову, да и не могло прийти. Я был там не тот, кем я стал здесь. Постараюсь воссоздать себя там, ибо это важно для понимания того, что творится на том свете, ибо там остались те, кем был я.

Благодаря (русской?) иронии отца и (еврейскому?) сарказму матери, Сталин был для меня уже чудовищем, когда мне было девять лет. («Они ходили сапогами по пластинкам, как Гестапо», – говорил мне во втором классе мой школьный товарищ, впоследствии известный врач и пожизненный друг Пастернака.) Когда я был еще студентом при Сталине, у меня был доступ к западной печати. А в 60-х годах модный советский поэт представлял меня так своим западным гостям: «Враг советского режима № 1».

Каким наивным, благодущным и невежественным я на самом деле был. Да, я читал западную прессу с 1952 г. Но даже на Западе истину нельзя купить в готовом виде с доставкой на дом. Кроме того, «большая американская пресса», например, – вся либерально-Демократическая, а не консервативно-Республиканская, о чем я и понятия не имел. Ведь, в отличие от «Правды», ни одно американское либерально-Демократическое периодическое издание не говорит нигде и никогда, органом какой политической партии оно является. И за кого голосует его издатель, редактор и большинство сотрудников – неизвестно тоже. Будучи практически монопольной, «большая американская пресса» столь же бесполезна для познания истины, как советская пресса.

Да, у меня был доступ к западной советологии. Но что такое, скажем, американская советология в среднем? На Западе я опубликовал (а Конгресс Соединенных Штатов перепечатал) статью, разбирающую на протяжении 50 страниц все труды «ведущего американского советолога» Бжезинского. Из статьи ясно, что у него нет никаких способностей ни к какой интеллектуальной деятельности, а все его труды – это собрания тех пошлостей, на которые была мода в данное десятилетие, но поскольку мода меняется, то Бжезинский утверждает каждое десятилетие противоположное тому, что он утверждает в предыдущее и последующее.

Западная свобода доступа к источникам – вот залог познания истины для тех, кто желает ее познать. Но познать ее можно лишь с помощью собственных изысканий (и быть столь же одиноким обладателем ее, каким я был при Сталине в отношении Сталина).

Теперь, после 15 лет этих изысканий, я вижу, что я, «враг советского режима № 1», не знал простейших вещей относительно «советского» режима и Запада.

Так, я не представлял себе, что за теми инсценировками, которые Запад и считает «Советским Союзом» и в которых советский обыватель участвует на правах бесплатного актера крепостного театра, скрывается настоящая (военная) цивилизация, от которой Запад отстает все более необратимо. Только мои изыскания на Западе в области сравнительного потребления «конструкционных материалов» в советской империи и на Западе явили мне контуры этой «закрытой» цивилизации, о которых не подозревает западная разведка.

Когда я начал объяснять это, казалось бы, весьма осведомленному советскому ученому мимоездом в Нью-Йорке, он никак не мог поверить тому, что, помимо вооруженных сил численностью свыше 5 миллионов человек, советский запас на 1986 г. состоит из 55 миллионов солдат и офицеров-инженеров, составляющих около половины всех оканчивающих советские вузы. «Но не этому надо удивляться! – сказал я. – Дело не в том, что их 55 миллионов, в то время как в США их полтора миллиона, а в том, что для них тоже производится броня, гусеницы, крылья и все прочее. Даже по жалким, заниженным и отрывочным данным западных разведок, советская империя производит с 1974 г. вдесятеро больше артиллерии, чем США. Словом, создается еще невиданный летающий в космосе и по воздуху, плавающий и ползущий на гусеницах, бронированный шестидесятимиллионноголовый зверь-хищник, готовый прыгнуть в любую точку мира, убивая наповал свою добычу везде, кроме разве что высочайших горных хребтов, вроде Гиндукуша в Афганистане, где броня, гусеницы и даже крылья мало полезны».

Поистине советская империя представляет собой как бы единое тайное орудие-оружие для захвата мира под инсценированной оболочкой «Советского Союза».

А Запад? Праздник на открытом воздухе! Согласно английской пословице, «близкое знакомство порождает презре-

ние». Нет, не только презрение, но и жалость, а также ужас. Простое наблюдение. Станция метро «Красные ворота» в Москве, где я жил, – 50 метров глубиной: надежное бомбоубежище против обыкновенных бомб. Метрополитен выстроен в 11 советских городах, как небольшое дополнение к гигантской секретной иерархии бомбоубежищ для стратегически ценной части населения и всего необходимого для войны. В Соединенных Штатах мысль о том, что метрополитен должен проектироваться с расчетом на его использование в качестве бомбоубежища, показалась бы строителям чудовищной милитаризацией – засильем Пентагона. Противоатомные убежища прекратили строить в 60-х гг., ибо решили, что ядерной войны быть не может, поскольку в этой войне обе стороны погибнут. А заодно тогда же прекратили строить вообще все бомбоубежища. «Значит, вообще никакой войны быть не может?» – спрашиваю я в своих статьях вот уже лет десять. Но, разумеется, мой вопрос как бы никто не слышит: я омрачаю праздник на открытом воздухе.

Во многих отношениях советская империя и Запад взаимно-обратны. Так, в Соединенных Штатах подводные лодки изготавливаются из стали, ибо делать их из сплавов титана, который вдвое легче железа, но в полтора раза его прочнее, – Соединенным Штатам не по карману, и на 1983 год Запад уже отставал от советской военной цивилизации в производстве толстолистового титана по крайней мере на десять лет. Но зато чаны для консервирования помидоров изготавливаются в Соединенных Штатах из тонколистового титана, что отнюдь не дорого, ибо консервирование помидоров – доходное дело. И наоборот: советский подводный флот – разумеется, самый большой в мире – строится из сплавов титана, отчего он быстрее американского и погружается глубже. А что касается помидоров, то для рядового населения советской империи это блажь. Уже тридцать лет назад поликлинический врач сказал мне, что делать витаминные уколы младенцу куда более выгодно, чем кормить мать овощами. Не хватает даже хлеба насущного, который производить химически советская империя еще не умеет. Но, как нам теперь известно, на 1946 г. она производила всего-то 39,6 млн. тонн зерна, а сдюжила четыре года войны. Так неужели 191,7 млн. тонн в 1985 г. представляют собой стратегически роковую нехватку? Вымрут, в крайнем случае, те иждивенцы-пенсионеры из рядового насе-

ления, которым продовольствия не хватит, ибо они – лишь стратегический балласт. А вечно жалуясь на вечные нехватки, советская пресса создает у западных избирателей впечатление, что советская империя – нищая, отсталая и потому опасная страна: если она даже консервировать помидоры не умеет, то где уж ей тягаться с Западом в количестве и качестве подводного оружия?

По тому же взаимно-обратному закону распределяются и умственные ресурсы – так что на долю западной стратегии, иностранной политики или разведки остается лишь то, что не гоже для других, более высокооплачиваемых сфер деятельности, вроде консервирования помидоров. Вот отчего, в частности, в сферах деятельности, существенно важных для спасения Запада, подвизаются в основном Бжезинские.

Те, кто доказывает, что советская бюрократия неэффективна, а «народное хозяйство» – непроизводительно, ломаются в открытую дверь. Советская бюрократия – это военная иерархия военизированной цивилизации. Она эффективна лишь в сфере захвата мира. А ни в чем более ей и не надо быть эффективной. «Народное хозяйство» – капиталистическая военная сверхмонополия. Этот сверхгигант производителен лишь в сфере сверхгигантских военных проектов, вроде постоянной космической станции (то есть военной базы), опередившей соответствующий американский проект на десять лет. Но именно в этой сфере производительность и важна для захвата мира.

Замечу, что в возникновении этого моего нового мироощущения на Западе дело было не только в доступе к источникам на Западе и отсутствии этого доступа там. Как приговоренный к пожизненному заключению в советской цивилизации, я не верил в возможность гибели Запада, как рабы начала первого тысячелетия нашей эры не верили в возможность смерти души. Столь же нестерпимо было не верить и в то, что «строй», в который я заключен, никогда не двинется к свободе по пути «европейского прогресса». Моя последняя мысль перед отъездом: «Евреям разрешают эмигрировать. До чего дожили. Так, глядишь, со временем будет и Учредительное собрание».

Мне кажется теперь невероятным, что я не понимал такой простейшей вещи: 250 тысяч советских евреев проданы за западную стратегическую технику. Она растаскивалась бес-

платно и раскупалась в долг советскими вооруженными силами без всяких препятствий вплоть до 1979 г. Это называлось «детант». Сказать, что каждый выкупленный еврей стоил Западу более миллиона долларов и это была самая выгодная для рабовладельцев сделка в истории мелкого, среднего, крупного или материкового рабовладения, – это еще ничего не сказать. Тут дело не только в ценах (хотя стоит вспомнить, что Гитлер щеотно предлагал продать один миллион евреев за десять тысяч грузовиков). Этот «детант» был самой серьезной попыткой Запада на самоубийство. Запад обменял 250 тысяч евреев на свою смерть, и лишь советское вторжение в Афганистан ее отсрочило.

Что ж? Теперь нужен лишь сверхдетант, чтобы самоубийство завершить.



Режим-provokator всегда стремился казаться – и часто успешно – не тем, что он есть, меняя обличия, а литература была частью provokаций-инсценировок. В тот год, когда Эренбург издал в Берлине «Хулио Хуренито», Ленин ввел многоцелевой НЭП, главной целью которого было сохранить всеильную власть от гибели в результате всеобщего голода. Но одновременно режим стал внешне как бы «диаметральной противоположностью» тому, чем он был, и своему прежнему обличью. Если микроскопическая доля НЭПа, введенная Горбачевым-Чебриковым, вызывает полнейшую уверенность у многих на Западе, что режим (наконец-то!) двинулся к свободе по пути «западного прогресса», то что же говорить о НЭПе? Писатели получили возможность издаваться в своих частных и кооперативных, а не государственных издательствах. Тот же Эренбург сновал из Европы в Москву и обратно, и было даже не ясно, эмигрант ли он на побывке в Москве или москвич в турне по Европе. Удивительно ли, что шесть «виднейших белогвардейских эмигрантов», включая кадета Устрялова, в своем сборнике и журнале «Смена вех», призвали эмиграцию паковать чемоданы или во всяком случае «честно протянуть руку помощи Родине»?

На самом деле, введя НЭП, всеильная власть осталась всеильной. Ведь в Германии 1933 – 1945 гг. был, так сказать,

естественный, неспровоцированный сверх-НЭП. Уж такие были там свободы по разрешению, такой самый что ни на есть Запад, такой иммер-галантен, что дальше некуда. Но всесильная власть была всесильной, а неудачные попытки помешать ей толкать страну в пропасть начались лишь после военного краха и только в военно-аристократической среде немецких корниловых, колчаков, денкиных и юденичей.

Инсценировка свободы культуры при НЭПе была основана на том, что число текстов, духовно подрывающих все-сильную власть, – ничтожно мало: поистине – «раз-два и обчелся». Было решено, что «Мы» Замятина – один из таких текстов, хотя «Мы» – абстрактная антиутопия, которую пропаганда и тогда могла бы вполне истолковать как разоблачение вражеского общества. Ведь толковался же на Западе в 1984 г. и «1984-й» Оруэлла как порабощение личности (западной) техникой. Но живой Замятин не подавал надежд на подобное сотрудничество, и его изречение: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее – ее прошлое» – стало в «партийных кругах» многолетней притчей. Роман «Мы», печатавшийся на Западе с 1924 г., «вызвал глубокое возмущение всей советской общественности» (БСЭ, 1933 г.), тем более, что общественность его не читала. Русский Оруэлл жил при НЭПе изгоем и умер безвестным эмигрантом.

НЭП – это крупнейшая провокация в истории человечества, в которую были втянуты десятки миллионов семей в городе и деревне, а затем они были ограблены, причем многие погибли в застенках или лагерях.

Это не значит, что, когда Бухарин советовал «советским фермерам»: «Обогащайтесь!» – или восхищался Мандельштамом, он предвидел, как они кончат. Провокационность тоталитарной власти возникает из самого отсутствия правовой защиты личности. В 1956 г. власть в образе Мао может сказать: «Пусть цветут сто цветов и спорят сто школ философии», а в 1966 г. отрубить руки пианисту в порядке культурной революции. «Кого еще убьешь?» – спрашивал Мандельштам еще в зените НЭПа, 1-го января 1924 г., и оказалось: его самого – и Бухарина.

После НЭПа власть продолжала – в новых обликах – казаться не тем, что она есть. Когда конец НЭПа был уже предрешен в 1928 г., начал выходить из печати «Тихий Дон» по особому на то высочайшему соизволению Сталина.

В двухполюсной вселенной советской инсценировки литературы того времени полюс добра был всё еще мировой революцией, а полюс зла – мировой же контрреволюцией. Геноцид контрреволюционного русского народа все еще продолжался, ибо русский был по социальному происхождению из офицеров, дворян, буржуа, чиновников или слугителей культа, в то время как латыш, еврей или поляк были нацменами, принимавшимися в высшие учебные заведения вне конкурса за их врожденную мировую революционность. Но самым контрреволюционным на контрреволюционном полюсе мирового зла было российское казачество.

Как вдруг – «Тихий Дон»: героическая эпопея самого что ни на есть контрреволюционного восстания казачества против большевиков, против власти Ленина и Сталина, причем казачество занимало в трехтомном романе духовное место дворянства романа «Война и мир».

В настоящее время я не знаю такой книги, которая бы противоречила всей советской инсценировке культуры до такой степени, до какой ей противоречил «Тихий Дон» в 1928 г.

Хорошо пляшется на могиле Сталина. Но посмотрите на 30-е годы из 30-х годов. Прежде всего вспомним отношение многих в 30-х гг. к Сталину вне литературы, с точки зрения жизни вообще. Наконец пришел некто, запретивший «революционерам» носить оружие и тыкать им в лицо любому «беспартийному» (как Мейерхольд, который являлся с маузером во МХАТ, чтоб сорвать спектакль); установивший законность и порядок (з понимании многих); прекративший преследование всех русских, которые неспособны доказать свое рабоче-батрацкое происхождение; восстановивший частную жизнь, семью, школу, общественные приличия; упразднивший все ревы, лефы, пролеткульты, раппы и прочие, которые угрожали расправой любому инакомыслящему (что было впоследствии забыто).

«Конечно, Конституция 1936 г., критика и самокритика и все такое – это еще не демократия, но это – движение к демократии, – говорили многие рассудительные, беспристрастные, объективные. – Чего ж еще желать? Чтоб сразу, ни с того, ни с сего, было Учредительное собрание? Сначала следует переварить крестьянство в городской средний класс, что Сталин и делает. Необходимы сначала реформы, которые Сталин и осуществляет. Надо сначала население еще приучить к демо-

кратии, чем Сталин и занимается. Ведь Россия – это Азия, Скифия, Византия, сиволапая, кондовая, почти поголовно неграмотная, а народ ее веками ничего не знал, кроме произвола, нищеты и водки. Прежде всего России нужен прогресс во всех областях – европеизация, образование, печать, радио, наука, техника, медицина, модернизация, рост благосостояния, а кто же может спорить против того, что именно всем этим Сталин и поглощен после того, как он убрал всех мешавших его преобразованиям, без преувеличения достойным Петра Великого?»

А какой расцвет литературы. Тут и Горький, бывший антибольшевик, а затем эмигрант, и Пастернак, и Станиславский со своим МХАТом, где шли «Дни Турбиных», то бишь «Белая Гвардия», которую сам Сталин смотрел 17 раз. «Тихий Дон» стал «самым читаемым советским романом». А классическая русская литература? Ведь ее после 7 ноября 1917 г. сначала было съели: остались лишь дворянско-помещичьи рожки да буржуазно-капиталистические ножки. Как вдруг – Толстой в 98-ми томах! А западная классическая и современная литература? Какие собрания сочинений! Да на родине этих писателей таких не издано.

Всматриваясь в этот расцвет, мы различаем, однако, не только прихоти тирана. Мало кто заметил в 1928 г., что Сталин начал поворачивать курс инсценировок от всемирно-революционного пролетарского интернационализма на то, что раньше именовалось великодержавным шовинизмом, включая, по моим данным, и государственное православие, его последнюю и незавершенную провокацию-инсценировку, которую Мэлколм Мэггидж назвал, выступая со мной в одном из американских университетов, самой страшной угрозой христианству в его истории. Впрочем, столь пышное предстоящее празднование в советской империи тысячелетия принятия христианства на Руси – разве это не уцелевший фрагмент сталинской провокации-инсценировки? В этом смысле «Тихий Дон» уже в 1928 г. – отнюдь не случайность. Но те, кто не понимал поворота курса провокаций-инсценировок, ощущали этот поворот как свежее дыхание свободы, терпимости и возрождения культуры, в частности, великой русской литературы.

И вот еще одна закономерность: те, кто были известны на Западе хотя бы в кругах избранных, цвели под защитой самого

Сталина (а если Горький и был умерщвлен Сталиным, то тайно и без всякого умаления его славы). В то же время совсем не цвел Платонов, возможно, величайший романист XX века, ибо на Западе он и до сих пор неизвестен, да по существу и не переведен, например, на английский язык. Не цвел и Мандельштам, ставший известным – в Америке, например, – лишь десятилетия после смерти в тех университетских кругах, которые занимаются русской литературой по долгу службы. С другой стороны, когда проходил в Париже «Всемирный конгресс в защиту культуры» и вошел Пастернак, присутствующие – избранные западной культуры – встали, и действительно, Пастернак был, возможно, самым значительным среди них.

Во много раз пересказанном разговоре по телефону Сталина с Пастернаком о Мандельштаме, пересказы которого я слышал еще в детстве, меня поражает не «жестокость Сталина», а наоборот, его зависимость от того, «что скажут на Западе». Ведь известное стихотворение Мандельштама с его гениальной первой строфой – это в остальном, помимо всего прочего, целый букет «личных оскорблений», причем даже «касаемо наружности и национальности». Да тут и ангел бы взбесился. Чего же звонил Сталин? Выяснить, как ценится или будет цениться Мандельштам на Западе. Некогда была гениальная русская литературная критика, и русский литературный критик-гений, разумеется, «плевал на то, что скажут на Западе». Да и вообще русская литература была столь великой, самостийной и самодовлеющей, что смешно было считаться с мнением и тех стран, которые либо никогда не дали миру ни одного прозаика или поэта, представляющего ценность или хотя бы до сих пор вспоминаемого вне города, где он проживал и ему был поставлен местный памятник. Но теперь никакой литературной критики в действительном смысле на территории бывшей Российской Империи больше не было. А существовала ли она все еще на Западе? За весь Золотой век поэзии Пастернака (1912 – 1933) ничем Запад Пастернака не отметил. Ни один самый захудалый университетишко не дал ему почетного звания, а ведь такие звания и ничтожества получают пачками. Как вдруг избранные западной культуры встали, когда он вошел. Чёрт их разберет! Кто же в этом смысле Мандельштам? Таковую же ценность он представляет для Сталина, как Пастернак? И кто может сказать это, кроме Пастернака? Но Пастернак лишь доказал миру сему, что он не от

мира сего – гений-юродивый, и вместо показаний эксперта, объяснил Сталину, что он, Пастернак, желает поговорить с ним, Сталиным, о жизни и смерти.

С немалой выгодой для своей всеильной власти Сталин использовал Пастернака! Но не принуждая его, как Горького, славить Сталина, а наоборот, показывая его избранным западной культуры как еще не виданное соцветие свободы и творчества, которое могло вырасти лишь в новую эру человечества, что свидетельствует о ее свободной и творческой природе (то, что Пастернак сложился как поэт в 1912 г., было, конечно, легко опускаемой частностью).

Тут возникает старый – и все еще главный вопрос этих заметок. Благодаря НЭПу Пастернак выжил и сохранил свой гений – как мать свое дитя. Если гений – цель мироздания, то тут и следует поставить точку. А то, что Сталин использовал Пастернака, – это бытовая подробность из жизни поэта. Как говорят в таких случаях бойкие литературоведы, вспоминая Шекспира или Данте, само имя Сталина будет известно через 300 или 500 лет лишь благодаря биографии Пастернака.

После великой провокации 7 ноября 1917 г. среди уцелевших избранных русской литературы аполитичность стала первым условием гениальности. Дело в том, что политика в русской литературе ни к чему не привела, кроме краха 7 ноября 1917 г. Считалось, что политика – рассудочна, а рассудочность – отрицательное слово в русском языке. В русской же литературе после краха 7 ноября 1917 г. оно и вовсе стало как бы бесплодной противоположностью гениальности.

До выезда на Запад я пребывал в этих ощущениях русской литературы после краха 7 ноября 1917 г. Но теперь я спрашиваю себя, что такое литература. Это трагедия или комедия жизни одного человека, семьи или нескольких семей.

На Западе я открыл трагедию или комедию гибели Запада, то есть гибели правовой защиты личности от насилия во всем мире. Ведь и Сталин «сохранил» Пастернака лишь потому, что был Запад, перед которым власти приходилось инсценировать литературу и Бог весть что еще. Если же погибнет Запад, то само имя Пастернака исчезнет, ибо отпадет надобность в инсценировке литературы. Как, впрочем, вероятно, исчезнет и имя Сталина, ибо отпадет надобность также и в инсценировке истории: летосчисление будет, возможно,

начинаться каждый раз заново со дня победы очередного олигарха над своими врагами-товарищами.

В Москве я слышал, как Бертран Рассел сказал по радио, что Западу необходимо сдаться, ибо и Рим был завоеван варварами, но не прошло и тысячи лет, как Запад цивилизовал варваров и снова стал Западом.

Столь утешительный пример, увы, не приложим, ибо тоталитарная цивилизация означает власть посредством науки и техники. Их у гуннов или вандалов не было. В советской же империи около половины всех инженеров мира и около четверти всех ученых. Современный человек зависит от коммунальных услуг, медицинского обслуживания и современного оружия, ибо и горные афганцы недолго бы сопротивлялись в горах Гиндукуша без западной науки и техники, текущей к ним по горным тропам из Пакистана. Сломав западную правовую защиту личности от насилия и упав в тоталитарную научно-техническую бездну, человечество из нее никак не выберется, а падать в нее можно бесконечно, ибо у бездны нет дна.

В этом году начал усиленно осуществляться сверхдетант, – возможно, последняя великая провокация-инсценировка, ибо она, вероятно, добьет Запад, чья защита уже подорвана провокацией-инсценировкой 1963 – 1979 гг. под названием «детант».

Культура в советской империи уже не та, что была в те баснословные года, когда советская империя физически унаследовала еще живую культуру России. Но и на Западе культура уже не та. Обмещанивание даже якобы высокой литературы с тех пор продолжалось. И на нее все больше влияет «массовая» (обывательская) культура, с ее сенсационностью, «шумным успехом» (всегда также и денежным, ибо какой же иначе успех?) и всё той же бессмертной пошлостью: когда я рецензировал в течение двух лет «лучшие американские романы», я убедился, что они не лучше средних советских романов, а когда я рецензировал «поэта-лауреата Соединенных Штатов Америки» (к этому званию полагается еще и постоянное жалование), я перепечатал его стихотворение в виде обычного текста (без стихообразного рваного края справа), и получилась (поскольку рифм не было) пошловатая статейка из старого номера американского журнала. «Массы» обывателей сводят жизнь к наименьшему общему знаменателю здоровья, моло-

дости, «серьезного дела» (зарабатывания денег) и удовольствия-развлечения (их растрачивания). А якобы высокая литература все больше вписывается в этот круг либо как бюрократическое времяпрепровождение профессоров-чиновников от литературы, либо как одно из мимолетных зрелищ-мод-развлечений обывателя, глазеющего на очередную «знаменитость текущего сезона», будь то поэт, преступник или владельца публичного дома.

В порядке сверхдетанта советская империя пошлет на Запад не Пастернака, как Сталин, а множество («массы») «советских писателей и других работников культуры», чтобы нести весть западным избирателям о том, что советская империя движется к свободе по пути западного прогресса (в чем надо Горбачеву помогать путем заключения соглашений, разоружающих в конечном счете лишь Запад); что советская империя – нищая, отсталая Россия, где даже консервировать помидоры или хотя бы выращивать хлеб еще не умеют (но теперь учатся, перестраивают, ускоряют); что все советские люди за мир (в ответ на вопрос, задаваемый вот уже лет сорок о том, хотят ли русские войны).

Пока что самое трагикомическое в сверхдетанте – это телевизионные дебаты в Соединенных Штатах между советскими представителями сверхдетанта и «ведущими интеллектуалами» Соединенных Штатов. В одном из таких дебатов даже английский язык у советского работника посольства был лучше, чем у маститого американского профессора-сололога. Это был советский разгром противника на его собственной территории в буквальном и переносном смысле, включая английский язык.

При таком «массовом» состоянии культуры на Западе, может ли Запад обернуть сверхдетанта в свою пользу или хотя бы обезвредить его? Выражаясь словами Ильи Эренбурга, апостола-ученика Хулио Хуренито, не кувыркается ли западная культура в блаженном идиотизме? Недаром еще Андропов решил, что советская культура-пропаганда должна впредь не обороняться, а перейти в наступление на территорию противника – вплоть до неограниченного обмена радиопередачами с Соединенными Штатами.

Задача сверхдетанта – победить западного избирателя на его собственной территории. Эта победа не только низведет западную оборону до необратимо малой величины, но и от-

кроет Запад для мощного советского проникновения во все сферы: финансы, экономику, науку, технику, образование. Не исключено таким образом и бескровное завоевание, мирный переход, колонизация средствами самой западной демократии, как это было осуществлено в Чехословакии в 1945 – 1949 гг. невидимыми агентами МГБ.

Советские подданные на Западе прикованы к своим владельцам заложниками-членами их семей, а это бывает и крепче кандалов. Те же, кто сплывают туда и сюда и могут жить там или остаться здесь, извлекают двойную пользу из этой двойной жизни, но для того, чтобы ее сохранить, угождать им все же приходится правителям советской империи, ибо на Западе угождать нечему и некому и, наоборот, угождение правителям советской империи вызывает лишь восторг – у американской либерал-Демократической прессы, например.

Однако, при самых прозападных благих намерениях, эти «посредники между двумя мирами» инсценируют то, что необходимо для уничтожения Запада: западные избиратели начинают воспринимать бронированного шестидесятимиллионного зверя, готового прыгнуть на них в любое мгновение, как нечто знакомое, близкое, нестрашное, милое: какие славные, утонченные, воспитанные, остроумные дамы и господа населяют этот Советский Союз, и какая это в сущности чудесная, хотя и смешная, нелепая, нищая, отсталая Россия, о которой в былые времена рассказывали всякие ужасы.

Что же касается тех «посредников между двумя мирами», которые являются подданными западных стран, уже детант показал, что мало кто из них отказывается нанести ущерб Западу, если это им лично выгодно, законно и, следовательно, безопасно, в то время как советские подданные вынуждены действовать прежде всего в интересах советской империи, часто по ее указанию, как агенты или солдаты единой армии вторжения.

Таков сверхдетант.

В Соединенных Штатах, поскольку либерально-Демократические средства массовой информации поддерживают сверхдетант, как они поддерживали детант, обезвредить эту, видимо, заключительную провокацию-инсценировку представляется вряд ли возможным.

Разве что случится чудо, исключить которое нельзя, ибо Запад – это свобода, а свобода – это само по себе чудо. Да, я

кончаю молением о чуде, и пусть каждый молится, как умеет. Как некогда сказал Герберт Гувер: «Правда безобразна. Мы должны встретить ее с молитвой и мужеством».

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus

Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире

Информация о событиях в Советском Союзе, в странах коммунистического лагеря, в странах свободного и Третьего мира

Тексты авторов из СССР – самиздатские и написанные специально для газеты

Аналитические статьи по политике и экономике, литература, мемуары, статьи и заметки по литературе и искусству

Об условиях подписки справляться в редакции

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Дмитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Дмитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Дмитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Дмитрия Панина отражалось и в его внешнем облике:

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Дмитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Дмитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

Факты и свидетельства

Валерий С е н д е р о в

ГЛАСНОСТЬ В СВЕТЕ «НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»

По плодам их узнаете их, собирают ли
с терновника виноград или с репейника
смоквы.

(Мф. 7, 16)

Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от прежнего опасность
Не угрожает за слова...

Василий Курочкин

Мы сидели и разговаривали. Местом действия был 26-й кабинет, обитель майора ГБ Калсанова, куратора Чистопольской тюрьмы. Действующими лицами – он и я, в этой тюрьме содержащийся. Из камер били по ушам последние известия. Потом заиграла музыка.

– Вивальди, – прислушался Валерий Михайлович.

Музыку резко вырубili. Я попытался спрятать усмешку, но выучка у Валерия Михайловича была профессиональная, он заметил, конечно, и исподволь как бы – грубо он не работал – перевел разговор на диссидентов.

– Вы в любой момент вправе меня оборвать, Валерий Анатольевич.

– Зачем, Валерий Михайлович? Вы же выслушиваете меня, когда я говорю о мерзостях вашей системы. И отвечаете. Точку зрения врага надо знать. Тем более, достаточно объективную, как ваша.

Статья была получена из Москвы по телефону, и при расшифровке магнитофонной записи отдельные места (судя по контексту, несущественные) остались неразобранными и были опущены. – Ред.

Калсанов кончил говорить. Он не лгал, не преувеличивал. Да и какая в этом была нужда?

– Закон адекватности, Валерий Михайлович, – охотно объяснил я. – Раньше у государей какая была оппозиция, Хомяков, Герцен, Чаадаев. А у вас, сами вот рассказываете, не обижайтесь, вы ведь сами мое мнение знать захотели, но после семидесяти-то лет и за такую оппозицию Бога благодарить надо.

Калсанов вымученно улыбнулся, и мы расстались, но ощущения радости от победы у меня почему-то не было. Сейчас я сижу уже не в Чистополе, а в Москве и размышляю о свободных ассоциациях. О неформальных объединениях, на новоязе выражаясь. Такая вот у нас нынче гласность и перестройка. Но все тот же закон адекватности не дает мне покоя.

Закон этот, слава Богу, не универсален. Вмешиваться в сложные взаимоотношения советчины с единоутробной ей антисоветчиной смысла нет, и раздумывать не о чем было бы. Во-первых, зачем в чужие семейные дела лезть. И вообще: «где нельзя любить – пройти мимо». Но есть же и другое. Там же, в Чистополе, я слышал по радио интервью с хиппи. Несколько ребят и девочек, лет 15-17, помнится, молча сидевших каждый вечер в кафе «Аэлита»:

– Хорошо, что нас теперь мало. Мода прошла. Остались только те, кто думает и чувствует одинаково. Мы приходим сюда и общаемся друг с другом. Больше ничего мы в жизни делать не хотим и не будем. Мы не видим возможности бороться со злом и не хотим увеличивать его. Зачем спасать тонущего, если знаешь, что не умеешь плавать. Может быть, наша позиция, такая ясная и простая, научит других людей, и они сделают что-то.

Я слушал. В их словах не было металла, и под репортерские вспышки они не лезли. Их спросили – они ответили. Но очевидна была несокрушимая твердость, в аффектации попросту не нуждающаяся. Познакомиться бы с вами, ребята. Может, и соблазну кого из вас со злом силою бороться. У меня специализация такая: агитация и пропаганда. А чтобы жить не по лжи, для этого вам не только я, а и сам Солженицын не нужен. Это в вас просто от Бога.

Вернулся в Москву. Зашел в «Аэлиту», но тусовка переместилась куда-то, и где теперь вас найдешь, как услышишь в крикливом многобездравии федераций и клубов? Ау, ребята!

Ладно. Не во мне, бедном, дело, я-то вас уже нашел, конечно, но неформальные от этого безопаснее не стали. Отдадим должное, захлामीли они буквально всё – от неокрепшего сознания молодежи до эфира радиостанций. Радость – и наша, и друзей на Западе, – что еще недавно выжженное поле столь бурно заросло, боязнь повредить чрезмерно ранней и резкой критикой – все это психологически вполне понятно. Но пора уже посмотреть – заросло чем? Не забудем, что гласность и перестройку в нашей стране осуществляет госбезопасность, об этом постоянно говорят ее сотрудники. А есть ведь разные способы уберечь поле от полноценных ростков, от пшеницы. Лучше всего, конечно, по-простому – выжечь. Но все возмущаются, негодуют. Не считаться более нельзя. И приходится бедным товарищам потрудиться, поднапрячь способности для «гибкой политики»: засеять всплошную сорняками. Метод, кстати, ничем не хуже первого, вполне эффективный.

Спешу оговориться: речь о совершенно очевидной направленности процесса, а не о ком бы то ни было персонально. Да не будут восприняты мои оценки как скромный вклад в содержательнейшую из дискуссий современного демдвижения – кто стукач. Во-первых, всегда помню классику – слова Николая Всеволодовича: «Все-таки имею привычки порядочного человека, и мне мерзит». Но привычки дело личное – у кого какие есть. У Петра Степановича, например, совсем другие были, явная же и весьма грустная истина состоит в том, что стукачи в современном демдвижении почти что уже и не нужны.

Разумеется, не все «возрождение» творится под крылышком комсомольских и иных органов. Отказ в регистрации «Братству диалога» и другим свободным христианским объединениям, нападки и прямые нападения на «Гласность», ее независимый и крепнущий голос – ну, как перестройщикам из ЧК такое снести? Но на 90% – именно под крылышком.

Все эти координационные пункты при горкомах, они ведь не на бумажке существуют, они действительно «координируют» превеликое множество («имя же им легион») всевозможных «неформальных».

В самом факте сотрудничества, то есть совместного, на равных, труда (давайте употреблять слова в их исходном, не новоязовском значении), ничего дурного, на мой взгляд, нет. Разделяет кто-нибудь, допустим, мысли Горбачева, считает

предложенные меры достаточными для нашей страны – ну, и карты в руки, и действуй. Достаточно ли этого – вопрос другой. А что программа Горбачева, осуществленная действительно и до конца, была бы наконец крупным реальным шагом в нужном направлении, это сомнений, думаю, ни у кого не вызывает. Но никакого сотрудничества на равных режим терпеть не собирается, да и не может по своей сути. Монополия тоталитаризма на «гласность» и «перестройку» является менее жесткой, чем на остальное, по самому смыслу этих мероприятий. Но все равно остается монополией, что и гарантирует названным акциям полный провал. Если, разумеется, государство не пересмотрит в корне свое отношение к свободной мысли, к свободному слову, к бесконтрольному массовому его распространению. Но пока, увы, ни о каком полноценном сотрудничестве вопрос реально не стоит. Однако я говорю не о них, а о нас. Даже в отведенных суперубогих рамках есть ли большинству неформальных что сказать. Беру в руки последний, 9-й номер «Экспресс-хроники». Эксперимент должен быть чистым, посему не делаю никакой выборки, читаю раздел «Объединения и клубы» с самого начала.

«Объединения и клубы. В конце сентября в различных московских клубах были сформулированы и оглашены шаги по проходившей с 20 по 23 августа в Москве конференции независимых групп и объединений. Были объявлены две программы: 1. Программа АКОИ – ассоциация клубов общественных инициатив. 2. Программа СФОК – федерация социально- (или социалистическо-) общественных клубов. Их различие состоит в том, что...»

Здесь я прервался. Что это, тонкий юмор редакции «Экспресс-хроники» или тоже юмор, но невольный, печальное порождение крошечного мрака вчерашней ночи? Казалось бы, имеешь программу, ну и изложи ее. И в трех строчках можно ведь сказать нечто позитивное. А не кивать (взаимно) на коммунального соседа по общественной активности, жалобно взывая в унисон с ним: «Мы не одинаковые, не спутайте!» Навел справки. Расследовать, так уж до конца, чтобы клеветником на наше пробуждающееся общественное сознание не прослыть. Увы, ехидство «Экспресс-хроники» оказалось, как я и предполагал, совершенно ни при чем, это сами АКОИ и СФОК покорнейше просили не запоминать, ука-

зать различие между ними. Наберемся терпения, дойдем до конца. Исследовать, так уж исследовать.

«Их различие состоит в том, что СФОК считает себя федерацией с четко выраженной политической программой, основанной на идеях социализма с человеческим лицом, не оппозиционной к КПСС и действующей в направлении перестройки. АКОИ занимают скорее гуманитарные проблемы и связанная с ними выработка механизма социальной защиты. Ее программа известна как «программа одного да и трех нет». В своей декларации представители этой федерации пишут: «Мы говорим „да“ жизни во всей ее полноте, ее противоречиях и страстях. Мы говорим „нет“ насилию и его пропаганде, мы говорим „нет“ шовинизму, мы говорим „нет“ претензиям на монополизацию истины в ущерб права других на свободный поиск». Представители 21 группы из разных городов подписали декларацию СФОК, остальные, их большинство, придерживаются принципов, декларируемых АКОИ. Наиболее влиятельный и крупный из московских клубов, «Перестройка», в своем обращении заявил, что вступает в обе федерации. Окончательное решение по ряду вопросов будет принято на следующей конференции, которая должна состояться в Москве в январе-феврале 1988 года.

Читатель, предлагаю в качестве упражнения: проснувшись завтра с утра, попробуй воспроизвести, о чем все это. Ну, мысли АКОИ в основной своей части гуманитарные. В том смысле, надо полагать, что если полиц-милиционер в рыло заедет или в участок, в отделение потащит, то это дурно. Мысль, конечно, вполне здравая. Но ее трансцендентальные глубины российская интеллигенция исчерпала более века назад, заодно оплевав реакционера и мракобеса Гоголя, дерзнувшего заявить в «Избранных местах», что не в этом все-таки дело. Только откуда эти п-да и к-нет взялись? Лозунги культурной революции, советские газетные переводы с китайского? Но для китайца такой стиль органический, укорененный, адекватно выразивший рационалистические ценности конфуцианства. В русском же переводе это просто убого до предела. Неужели никто в Федерации клубов этого не замечает? Да замечают, конечно, но, когда король так густо демократически размалеван, язык как-то присыхает сказать: голый. А СФОК – это, значит, не чистые гуманитарии, не путайте, а социалисты. Что ж, бывает и тоже имеет почтенные истори-

ческие корни. Планета, заросшая крыжовником, стеклянные дворцы, входящие и выходящие на всеобщем балу случайные парочки в полумасках. Герцен, не удержавшись, назвал как-то русский социалистический идеал фаланстером в борделе. Добавить что-либо затрудняюсь. Только вот почему клубы и почему федерации? Ну, как в США, например, есть 50 штатов, абсолютно разных, со своими традициями, законами, но объединенных общими духовными, историческими, государственными ценностями, посему федерация. Так и здесь, наверное, есть клубы, пока 21 всего, у каждого есть своя социалистическая программа, отличная от других, но, расходясь в тонкостях экономических, допустим, оценок или социальных, они сходятся в главных ценностях, какие-то кардинальные идеологические установки для них инвариантны, так, наверное? Ладно? Хватит, небось, про новое платье короля.

Интерес представляют, на мой взгляд, две проблемы. Первая – психопатологическая: откуда, как, после вчерашнего еще небытия эти *короли* столь горделиво выступили? И вторая (ради которой и написана статья): как и во имя чего с этим злом бороться? Ведь когда все молчат, это еще полбеда, заговори в полный голос, да и всё тут. А вот если «под всеми словесными перлами проступает пятном немота»...

Ответ на первый вопрос я начну с анекдота, прошу прощения у серьезного читателя. Но, когда речь идет о нашей интеллигенции, этот жанр часто самый уместный.

Стоит толпа по горло в дерьме. И говорит один тоскливо и робко: «Неужто, братцы, век так стоять будем?» – «Молчи, дурак, волну гонишь, все захлебнемся!» Это анекдот доперестроечный. Сейчас ситуация изменилась принципиально. Власти волну гнать дозволили, усекли, что не захлебнутся, облизываться станут. А родному строю от этой волны, как говорится, никакого вреда, кроме пользы. Но это власти. А в сознании рядового гомо советикуса никаких изменений вообще не произошло, зато кукиш в кармане у интеллигентской прослойки в новой исторической общности отрос и развился. Семьдесят лет пестовали, не шутите. И кто провозит хоть слово сверх славы КПСС, надолго еще останется для гомо советикуса интеллигентуса подвижником и героем. И вот в эту-то очевиднейшую щель между расчётливыми директивами режима и на десятилетие вперед затерроризированным сознанием обывателя и полезли политические спекулянты.

Это не ругательство, это термин. Давайте посмотрим наконец на происходящее по-простому, без априорного благоговения перед любым дозволенно-«свободным» общественным копошением. Представьте себе молодого человека среднего умственного развития, говорящего своей спутнице где-нибудь в кафе: «Машенька, я за жизнь во всей ее полноте, во всех ее проявлениях». Ну, если наш клиент еще насчет страстей добавит (см. декларации федерации, пункт «да»), то Машенька, может, с ним в следующий раз и встретится, а если эта добавка на нее не воздействует, то, наверное, партнера с более содержательной лексикой предпочтет. Или, скажем, в пивной кто-нибудь сообщит собутыльнику, что он не монополизирует истину и разливающий имеет не меньшее право на свободный поиск, нежели выпивающий первым. Самое мягкое, что он в ответ услышит: «Перебрал, братец, пойдй пропись». Так почему же, почему то, что глупость в баре или в пивной, является зародышем политического мышления на арене общественно-демократического цирка? То есть психологически понятно, почему, но вот тех, кто это понимает и умело пользуется конъюнктурой, я как раз и называю спекулянтами.

Второй вопрос – как бороться – кажется странным. В самом деле, не запрещать же? Конечно, нет. До нас тут дошли слухи, что один истосковавшийся по духовным свободам советский эмигрант приехал в Штаты и завел печатный станок. Для начала он издал «Майн кампф», украсил обложку портретами членов политбюро с точным указанием, кто именно является жидом пархатым. В ЦК, разумеется, оказалось засилье христопродавцев и масонов. Американцы, привыкшие ко всяким свободам, поначалу все-таки слегка ошалели; отобрали станок и пожелали владельца за антисемитскую пропаганду судить. Но быстро станок вернули, поняв, что фашистская галиматья – досадная, но неизбежная и не очень опасная издержка нормального демократического общества. Но вот его-то, нормальное демократическое мышление, и надо сеять и возвращать. А способ бороться с крапивой я предлагаю только один – отмахнуться, когда в глаза навязчиво лезет. Ведь она нам Россию застит.

Мы вертимся в заколдованном порукой интеллигентских приличий круге, гробим время и здоровье, не успеваем суммировать, аннотировать, резюмировать энергично подсовывае-

мую нам ахинею. При наших пещерных понятиях о свободе печати, как откажешься? «Все жаждут равенства, все равны...» А ведь другое, Россия, есть.

Есть не уничтоженная, но расщепленная и атомизированная культура. Какие-то очень слабые, неловкие пока попытки культурного синтеза прослеживаются лишь в Петербурге.

Есть рабочие. В первый же месяц после моего выхода из тюрьмы мне из двух городов привезли уставы местных неофициальных профсоюзов. Уровень их был немногим выше разобранного в этой статье. Но ведь люди не спекулируют, ищут. Наши рабочие ничего не знают о подлинных традициях российского пролетариата, о жизни своих «братьев по классу» на Западе. Вдумайтесь на секунду: совсем ничего. А главное: не «культурно-кастовые» или «классовые» общности – просто люди. И прежде всего молодежь. Думающая, пишущая, ищущая ответов...

Всем этим надо заниматься. Надо делать дело. Но прежде, чем решить задачу, необходимо ее поставить. Хоть заговорить обо всем этом уже немало для первого момента. Но вдумчиво, всерьез. Раскроем же глаза. Перспективных массовых молодежных движений в стране мы не только не знаем – знать не хотим, и они – вполне справедливо – дела с нами иметь не желают, поучаствовать в московско-ленинградском стриптизе не напрашиваются...

Москва, 10 октября 1987

СЕНДЕРОВ Валерий Анатольевич – родился в Москве в 1945 году. Окончил механико-математический факультет МГУ, работал учителем математики. В 70-80-е годы участвовал в самиздатской деятельности, написал работу о том, как на вступительных экзаменах в МГУ заваливают евреев, составил задачник для готовящихся к поступлению, участвовал в работе независимого профсоюза СМОТ. В 1982 году арестован и приговорен к семи годам лагеря и пяти ссылки. Освобожден в феврале 1987 года. Один из учредителей московской группы Международного общества прав человека.

Истоки

Кастусь А к у л а

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПРОТИВ «ОТЦА» БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

К этому дому никогда бы не заросла тропа, вытоптанная благодарными поколениями, будь народ хозяином в своем собственном доме... Так же, как не зарастают тропы к дому-музею А. С. Пушкина в Михайловском либо к дому-музею Адама Мицкевича в Новоградке. (К слову сказать, напомним специально для русского читателя, что великий польский поэт родился на земле Белоруссии...) Но нет в Кушлянах сейчас музея, и мрачно ругаются по этому поводу редкие посетители почти что разрушенного дома...

Бывший его владелец – Францишек Богушевич, «отец белорусского возрождения», – стоит в первых рядах гениев белорусского народа и борцов за его свободу. В этом же ряду – Кастусь Калиновский, Игнатий Гриневицкий, Костюшко, Скорина. Прозванный «мужиким адвокатом», Богушевич призывал белоруса-раба распрямиться 'во весь рост; с помощью родного языка он обновлял оскверненную чужеземными захватчиками белорусскую культуру, стремясь вернуть белорусам их человеческое и национальное достоинство. Дабы жили они в свободной и независимой отчизне и никогда больше не были рабами!.. Именно таким провозвестником свободы вписался «отец белорусского возрождения» в сердца и умы будущих поколений.

В 1990 году исполнится 150 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти поэта-борца. Двойной юбилей не за горами. Как же готовятся в БССР отметить эту великую годовщину? Пока что нам неведомо. Известно лишь, что прогрессивно мыслящие люди встревожены. Вот что читаем мы в журнале «Беларусь» № 7 за июль 1986 года (статья под заглавием «Защитить и сохранить!»): «Не слишком ли затянулась волокита вокруг

ремонта единственной литературной усадьбы XIX века в Кушлянах? Вскоре – столетие со дня рождения Францишека Богушевича. Уже проводятся здесь дни поэзии, однако организовано это по-кустарному. И тут невозможно понять позицию Гродненского областного управления культуры, а также областного музея. Складывается впечатление, что кое-кто специально тянет время, чтобы мы оказались перед фактом полного разрушения дома Богушевича и тем самым поставить точку на всем этом деле. Старый сторож усадьбы Михаил Ляпеха обивает пороги начальства, но результатов – никаких. Каким же образом и где будет отмечена памятная литературная дата в 1990 году? Остается только четыре года...»

Что можно сказать о состоянии бывшего имения Богушевича, которое по воле колониальных властей подлежит разрушению? Даем слово В. Ждановичу («Молодость», 1986, № 11):

«Изда стоит еще прочно, но чердак ржавеет, течет. Нижний сруб нужно менять. Требуется перестроить веранду, чтобы она стала такой, как при НЕМ.

Но ЕМУ будто бы все равно.

Нам – не все равно!

До нынешнего времени мемориальная доска возвещает, что ОН тут, в Кушлянах, родился. Уже из школьного учебника видно: это не так.

В том же учебнике можно прочесть, что ОН является зачинателем критического реализма в белорусской литературе, что ОН шел впереди А. Гуриновича, Тётки (Алоизы Пашкевич), Я. Купалы...

В Кушлянах сохранился дом ЕГО, где находится сельская библиотека ЕГО имени. Ныне это филиал колхозной библиотеки. И это как раз тот случай, когда филиал – на правах пасынка.

Говоря по большому счету, здесь должен быть литературно-мемориальный музей Францишека Богушевича. По причинам вышеназванным. И потому еще, что другого такого дома из минувшего столетия, уцелевшего дома классика белорусской литературы, на свете нет.

Богушевич родился в совершенно другом имении. В Кушлянах он жил свои последние годы. Здесь же он умер. И положен могучий камень памяти Матвея Бурачка. Все вокруг связано с его именем: пахучие липы и запруда через дорогу; холмы и хутора; соседнее имение Карла Ясевича – соратника

Богушевича и так же, как он, повстанца. (Имеется в виду польско-белорусско-литовское восстание 1863 года, которым руководил здесь Кастусь Калиновский, в котором Богушевич принимал участие и был ранен. – К. А.) А вот совсем молоденькие дубки, посаженные Михаилом Семеновичем Ляпехой – неизменным сторожем усадьбы. Дубки посажены недавно, но с той же великой любовью к памяти Францишека Казимировича, как и всё, что свойственно работе потомственного крестьянина Михаила Ляпехи – работе по увековечиванию поэта.

Три с половиной года остается до столятидесятилетнего юбилея Францишека Богушевича. Одному лишь Михаилу Ляпехе беспокойно; одному ему по ночам не спится: отчего так запустили хату? Почему она до сего времени не музей?»

Трудно согласиться со Ждановичем насчет того, что «одному Михаилу Ляпехе беспокойно»... Увы, не один раз уже вспоминали и волновались по этому поводу в белорусских советских газетах, рассуждали на заседаниях правления Союза писателей БССР. Но, как говорится, воз и ныне там. Дом гниет, юбилей приближается...

Легко предположить, что все это происходит не случайно, что «власти предержажие» сознательно оттягивают время, чтобы «на всем этом деле поставить точку».

В чем же все-таки дело? Чтобы лучше ответить на этот вопрос, следует (хотя бы в общих чертах) понять, кем был Богушевич в реальной действительности; увидеть его не таким, как он представлен советскими лгунами в их справочниках (вплоть до той же хотя бы Белорусской Советской Энциклопедии).

Однако вначале – одно сравнение. Вообразите себе, что чердак течет и ржавеет, а сруб гниет в доме Пушкина в Михайловском или в доме-музее Адама Мицкевича в Новоградке. Там, вероятно, не нужно было бы никакому сторожу Ляпехе обивать пороги «власть имущих», ибо они сами кинулись бы спасать «национальные сокровища». Разве не так?.. В чем же провинился перед теперешними оккупантами Белоруссии наш славный Богушевич – отец белорусского национального возрождения?

Сын обедневшего шляхтича, Ф. Богушевич окончил Виленскую губернскую гимназию, поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета,

однако был исключен из него за участие в студенческих волнениях. Он сражался против «Московии» в восстании Калиновского 1863 года, был ранен. Чтобы избежать репрессий, он перебрался на Украину, и в 1868 году окончил Нежинский юридический лицей. Работал судебным следователем на Украине и в России, а в 1884 году переехал в Вильно, где работал адвокатом в окружном суде. В процессе этой работы и пристало к нему удачное прозвище «мужицкий адвокат». Беднякам он помогал безвозмездно, хотя самому ему жилось не легко.

Он писал стихи и рассказы по-белорусски в 80-90-е годы. Царская цензура ничего не пропускала в печать. В Кракове удалось ему издать «Белорусскую дудку» и «Тралялёночку»; в Познани – «Белорусский смычок». Богушевич использовал псевдонимы: «Матвей Бурачок», «Семен Ревка из Борисова» и другие. Книги нелегально проникали на родину, где белорусская печать была запрещена вплоть до 1905 года.

Предоставим слово белорусскому историку Иосифу Найдзюку (см.: «Беларусь вчера и сегодня», Минск, 1943):

«Богушевич, как согласно утверждают белорусские и русские историки, твердо порвал с белорусско-польским народничеством, которое зарождалось между красными повстанцами 1863 года – поляками и белорусами; порвал он и с белорусско-российским народничеством Гриневецкого и „гоманцев“. Он создал белорусское национальное народничество, указал самостоятельные пути белорусского национально-политического освобождения, что проявилось во всем его творчестве, столь широко известном в Белоруссии.

Особенно важно в этом смысле предисловие Богушевича к первому сборнику его стихов „Белорусская дудка“, которое можно назвать манифестом белорусского национального осознания. Слова Богушевича об истории Белоруссии, о белорусском языке как основе белорусской нации, защита им языка от клички „мужицкий“, пущенной врагами, и ныне является актуальной».

Чтобы лучше продемонстрировать, какое влияние имело предисловие к «Белорусской дудке» на процесс возрождения Белоруссии (увенчанный 25 марта 1918 года провозглашением независимой Белорусской Народной Республики в ее этнографических границах), познакомим читателя с основной частью

предисловия Богушевича (см.: «Дудка белоруская», вид. «За-
памяне сонца...», Пецярбург, 1907):

«Братья милые, дети Земли-Матери моей! Жертвуя работою своею, должен я с вами поговорить немного о нашей доле-недоле, о нашей родной исконной речи, которую мы сами (да и не одни мы, а все люди темные) „мужицкой“ зовут, а называется она „белорусской“. Я сам некогда думал, что язык наш „мужицкий“ – язык – только и всего! Но – дай Бог здоровья добрым людям! – научили они меня читать-писать; с той поры много где я был, много чего видел и прочитал. И убедился, что речь наша – такая же людская и благородная, как французская, немецкая или какая-то иная. Прочел я много старых рукописей, что писались двести и триста лет назад в земле нашей, писались великими панами на нашем чистейшем языке как бы вот сейчас было это написано. Видя это, я часто думал: „Боже ты мой, Боже! Что ж мы за такие несчастные? На что мала Болгария (горсточка того народу!), или какие ни есть хорваты, чехи, малороссы и другие побратимцы наши или разные чужестранные жидаы, – а имеют все написанные по-своему и напечатанные книжицы и газеты: религиозные и развлекательные, многосложные или просто рассказы, а то и байки. Детки их читают так, как и говорят они. А у нас если кто захотел бы писульку какую или до отца своего письмо написать по-своему, так – глядишь – и в своей деревне люди могли б сказать: „по-мужицки пишет“, и как дурака осмелили бы! А может, и правда речь наша такова, что ею ничего доброго ни сказать, ни написать нельзя? Ой нет!.. Наша речь для нас святая, ибо она нам Богом дана, как и другим добрым людям, и говорим мы на ней много хорошего. Просто сами мы допустили над ней издеваться – глядишь, и паны великие охотней говорят по-французски, чем по-своему. А ведь нас не горсточка людей, а восемь миллионов – больше несравнимо, чем жидов, например, либо татар, армян! А покажи-ка хоть одну книжицу, что о хозяйстве, что о жизни нашей, чтобы она была по-нашему написана?

Разве уж так обязательно нам только на чужом языке писать и читать? Оно хорошо и даже очень полезно соседские языки знать, однако прежде свой познать требуется. Передумавши все это, отважился я, братцы, написать для вас какие-то стишата; кому полюбятся они, тому благодарствую, а если кто возьмется лучше и больше написать, тому будет слава вечная

от живых людей и от батьковых теней! Много о чем можно написать! Искони, с тех пор, как земля наша с Литвою слилась и с Польшей соединилась добровольно, так все ее „Белоруссией“ звали. И не даром же! Не великая, не малая, не червонная, не черная она была, а белая, чистая: никого не била, не подбиала – только оборонялася.

Много было таких народов, что потеряли сначала свой язык – подобно человеку перед смертью, когда речь у него замирает, – а потом и совсем сгинули. Людей познают по одежде – какую кто носит; так же и тут: речь, язык – это одежда души».

Сказать такую правду своему подневольному народу мог только человек великого разума, отлично понимающий психологию недавнего крепостного, которого российские оккупанты спихнули в глубины неволи.

Некоторые исследователи считают предисловие Богушевича программным документом, основанием всей его дальнейшей литературно-творческой и возрожденческой деятельности. Центральной темой в ней является не социальный, а именно национальный вопрос, что особенно чувствуется в защите им белорусского языка (врагами прозванного «мужицким»). Как известно, культура, национальный дух следуют за языком. Следовательно, обретение индивидуальности и национального достоинства, улучшение материального быта, возвращение национальных сокровищ, а в будущем и возрождение независимой государственности – все это придет к белорусу через спасение родного языка, через создание новой литературы, связанной, разумеется, с традициями былого.

После XXVII съезда КПСС в белорусской советской прессе немало пишется о «гласности» и «перестройке». Подняли в ней вопрос и об изучении белорусского языка в школе. В частности, орган Союза писателей БССР «Литература и мастацтва» поместил на эту тему статью («Закон и вокруг закона. Прошу освободить», 19 сентября 1986), сопровождаемую читательскими откликами. Проблема русификации или, как сказал на прошлогоднем, восьмом съезде Союза писателей БССР секретарь его правления, проблема «сужения сферы употребляемости родного языка среди населения республики, особенно в школах», – ныне открыто дискутируется.

Нам, с нашей дистанции «издалека», отчетливо видна ужасная картина, про которую должны были молчать работ-

шки белорусской культуры, «национальной по форме и социалистической по содержанию». Все городские школы республики ведут обучение по-русски. Также завершается процесс переключения сельских школ на русский язык. Все это происходит, видимо, по плану. Белорусский язык как предмет начинает преподаваться с третьего класса. Но суть дела в том, что, будто бы по просьбе родителей, большинство учеников освобождается от изучения белорусского языка. «Просьба родителей» – это трюк, используемый на территории всей республики и поощряемый теми, кто сидит у руля оккупационного режима (даже министерством просвещения). Обывательски настроенные «родители-радетели» задают тон кампании в том духе, что, мол, белорусский язык отживает свое в век технического прогресса, что все идет к слиянию народов и т. п. Старая песенка империалистических шовинистов!.. Тех белорусов, которые осмеливаются защищать изучение белорусского языка, литературы, истории (не в ее марксистской версии), наезжие московские администраторы называют националистами.

Сравните теперь: во времена Богушевича белорусская печать была запрещена, белорусский язык называли «мужицким». Ныне в «суверенной» БССР язык Богушевича, Купалы, Скорины, Калиновского, Короткевича имеет все гражданские права... наравне с русским. Только вот жалуются люди, что в Пинск, Витебск и другие большие города не поступает белорусская пресса; даже городские библиотеки не выписывают главнейших литературных изданий, как «Полымя», «Молодость» и другие. Атрофия белорусского языка сопровождается навалом центральной русскоязычной прессы. Ничтожно малы тиражи всего издаваемого по-белорусски. Новое поколение, «освобождение» от изучения белорусского языка, даже не понимает, что языку этому, спихнутому на самые низы, угрожает полная гибель. Писатели и деятели культуры, ясно видя опасность русификации всех отраслей просвещения и культурной активности, ухватились за провозглашенную Горбачевым «гласность», подобно утопающему, что хватает за соломинку. Они *гласно* жалуются, что их слова на родном языке не доходят до читателя, а если (в случае с известными писателями) и доходят, то... в русском переводе. Министерство просвещения в своих ответах газете «Литература и мастацтва» прикрывается казенно-чиновничьей риторикой,

что «вопрос рассматривается, меры будут приняты». Фактически же никаких конкретных мероприятий по реформе просвещенческого аппарата не осуществляется.

Уж, во всяком случае, в связи со столетием «отца белорусского национального возрождения» Ф. Богушевича было бы уместно хотя бы в Минске, как дар от благодарных потомков, воздвигнуть ему монументальный памятник, назвать в честь его какую-нибудь улицу, а на исторической площади Свободы в старом Минске взять да и выбить большими буквами его лозунг: «Не покидайте речи нашей, белорусской, дабы не умерли!» Ведь «наша речь для нас святая, ибо нам Богом дана!»

Понятно, отчего в Кушлянах дряхлеет и разваливается дом Богушевича. Понятно, почему колониальные власти, отравляющие свободолюбивый белорусский народ русификацией, не хотят пропагандировать и чтить гиганта белорусской культуры даже по случаю столетия со дня его рождения. Ведь для этого требовалось бы показать его правдивый облик, а не маскировать в советско-марксистские одежды «социалистического режима». Но покажи его таким – в полном национально-духовном величии, и глядишь – можно сдвинуть ту самую глыбу льда на запруженной реке, которая сдерживает волну процесса белорусского национального самоопределения и культурно-языкового становления. Это бы нанесло ущерб колониально-империалистической политике Москвы.

К тому же нашлось хитрое средство, каким можно затмить юбилей Богушевича в 1990 году. Согласно мнению некоторых ученых, на этот год приходится пятисотлетняя годовщина со дня рождения гениального белорусского просветителя, первопечатника доктора медицинских наук Францишека Скорины из Полоцка – того самого, что издал в Праге в 1517 году переведенную им на белорусский язык Библию.

Францишек Скорина был печатником и мыслителем всемирного, особенно же всеславянского значения. Но дату его рождения большинство скориноведов склонны относить на 1485 год. В связи с этим его пятисотлетний юбилей был отмечен в 1985 году в Лондоне под руководством Англо-Белорусского Общества и Библиотеки-музея Ф. Скорины. В БССР же ныне готовятся отмечать скориновскую годовщину: подготавливают энциклопедический справочник его работ, исследо-

ваний о нем и т. д. Эта шумиха вокруг Скорины может каким-то образом затмить юбилей Богушевича. Между тем, юбилей «отца белорусского возрождения» – будь он поднят на такой же уровень, как и скориновский, – мог бы иметь для культурной жизни в оккупированной Белоруссии значимость огромного масштаба.

АКУЛА Кастусь, белорусско-канадский писатель, – родился в 1925 году в Западной Белоруссии. В составе Восьмой британской армии и польского корпуса на итальянском фронте принимал участие во Второй мировой войне. С 1947 года в Канаде. Издатель журнала «Зважай». На белорусском языке вышли его книги – «Змагарныя дароги», «Гараватка» и «Всякая всячина». На английском – «Завтра есть вчера». Сотрудник зарубежной белорусской прессы.

Вышел из печати, высылается по заказам и
продается во всех русских магазинах

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» №166

В номере опубликованы:

Б. Ахмадулина – Стихи; В. Яновский – По ту сторону времени; Л. Алексеева – Стихотворение; В. Ходасевич – О двух отрывках Пушкина; В. Крейд – Георгий Иванов о Пушкине; Г. Иванов – Жертва Пушкина; Марсель Пруст – Стихи (перевод И. Чиннова); Н. Б. – Москва и москвичи вокруг Булгакова; Р. Левинзон – Стихи; Д. Шляпентох – Заговор; Е. Грей – Стихотворение; Э. Штейн – Владимир Набоков: шахматно-поэтические коллизии творчества; С. Шварцбанд – О М. М. Пришвине; В. Крейд – Неизвестная статья Н. С. Гумилева?

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: «Старые годы» – А. П. Марков – Воспоминания бывшего городского секретаря; Р. Гуль – Ледяной поход; Неопубликованные документы внешней политики СССР.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Гершкович – Станиславский и Мейерхольд: из истории отношений.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: В. Петроченков – Памяти И. Елагина; Е. Филиппс-Юзвигг – Памяти поэта И. В. Елагина.

Заказы на №166 и ранее вышедшие номера, а также рукописи (желательно в двух экз.) направляйте по адресу:

The New Review, 611 Broadway Suite 842
New York, N. Y. 10012

Религия в нашей жизни

К тысячелетию Крещения Руси

Василий Т е л е ж и н с к и й

СВЕТ ЗАЖЖЕННОЙ ИСТИНЫ

Для того, чтобы почувствовать живой смысл слова на собственном своем языке, иногда бывает нужен не толковый словарь, а просто память на слово: когда говорилось оно, когда и где ты его слышал и в окружении каких других. Едва ли было так для какого-нибудь другого времени и народа; церковь – нет, это не просто собрание людей. Закрыв глаза, увидишь длинный холм, дорогу под ним, белый блеск воды у запруды, несколько прямых парковых лип и темный остов на холме, с красными, голого кирпича, стенами; кирпичи высились из внешнего ряда настолько, что извесь стоит на воздухе тонкими серыми ребрами, а каждый кирпич – лунка; и выше, на сводах, уже не маленькие березы; а внутри, в лучшем случае, если стоит она далеко от Москвы, – еще на чем-то держащийся остов иконостаса, без икон, но с уцелевшими двумя верхними рядами золоченых рам, с голой стеной на месте местного ряда, и на разбитом на части полу – ворох легкой лиловой резьбы, завитки винограда или крутые листки аканфа коринфского ордера – осыпавшаяся листва. На языке, в котором я родился, это – церковь; а где-нибудь на окраине районного города у кладбища это – «действующая церковь», другая единица языка и смысла. И это же – земля; вокруг сёла и деревни с названиями, звучащими все так же, как где-нибудь в топографическом описании Владимирской губернии на 1853 год: село Сарыево, село Барское Татарово, деревни Кика и Кузнечиха, деревня Лихая Пожня, деревня Борзынь.

Получено из России. Автор публикуется за рубежом впервые.

Ну и хорошо; а если бы все было иначе и стояла бы церковь белой и крашеной, что было бы? Низкий четверик и купол на широком барабане, два портика по сторонам, которых и пилястровыми-то не назовешь, и два ряда кирпича вверху: сплошной и прерывистый вместо антаблемента; и все, больше ничего нет. Не будем говорить о смысле: ведь у оставленной, исполненной формы есть свое право на смысл, совершившееся или нет; но и если, скажем, через десять-пятнадцать лет та большая часть русского церковного строительства, которая стоит в чистом поле, исчезнет – хорошо было бы знать, была или не была у нас серьезность и красота истории храмовой формы, которую хочется видеть в ее уже исчезающем облике. Это не так легко сказать. Русское религиозное чувство не слишком уверено, к какому роду отнести явленную и явную красоту своего храмового образа. Можно, конечно, приписать архитектуре русских церквей, от начала строительства до теперешних поднадзорных церковных построек, механическую художественную истину, так сказать, зеркальное и в полный рост отражение истинности православия.

Тогда возникают странные вещи: в путеводителе по Тобольску и Вязникам появляются эпитеты, основанные на сплошной превосходной степени, слово «шедевр», потерявшее вместе с двумя точками над бывшим «ё» всякий смысл, ставится в любую строку. Девальвация превосходной степени – вещь, обычная в русском языке, начиная еще с политической и литературной полемики второй половины XIX века, через столь знаменательный язык сочинений В. И. Ленина и далее во всю ширину советской словесности; и обидно было бы ставить какие ни на есть – но лучших нет у нас – святыни в эту унижительную область потери всякой меры и всякой ценности. Каким же словом назвать тогда раннехристианские церкви Рима, или святую Софию и храмы Константинополя, или высокую готику, или, в конце концов, римские церкви эпохи контрреформации? Да и не только в этом дело; в области непонятного, но непростительного национального самоудовлетворения происходят теперь скверные вещи: поскольку причиной абсолютности качества архитектуры уже нельзя назвать православие, то романтическое славянофильство снова вырождается в государственный патриотизм; русская средневековая архитектура хороша в силу какой-то необъяснимой извечной избранности русского народа, рус-

ского характера, а теперь – советского народа, советского характера.

Очень понимаешь Бунина, избравшего другое деление (в «Жизни Арсеньева»): «Старые церкви в русских кремлях и донныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) зашел в костел. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы». Это превосходство готики, правда, стоит только в области формы: «Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья... слушающая скорбно-смирненное „Да исправится молитва моя“ или сладостно-медлительное „Свете тихий – святые славы бессмертного – Отца Небесного – святого, блаженного – Иисусе Христе...“»

Красота литургии – более тонкая и бестелесная, более высокая красота исполнения Таинства – отделена от красоты каменной оболочки, облачения храмового тела, от этих «низких и темных» сводов русских церквей; отделена, чтобы не связать летящую чистоту смысла правилами несовершенного его исполнения.

Но история храмовой формы – это тоже область религиозного опыта; история искусства – это порядок взаимоотношений ценностей или даже их живая, зыбкая, но тем более настоящая иерархия. И если не было у нас полноты церковного опыта в области храмоздания, то что же делать: не было. Или все же что-то было?

Если в год великого и трагического празднования Тысячелетия нашей Церкви вернуться домой, если посмотреть на все бывшее за время столь долгого и – по европейской мере – столь короткого христианского века, то все, бывшее сотворенным, предстает перед нами. Романская Франция насчитывает тысячи памятников – а мы по своду всех уцелевших и разрушенных, открытых археологией и известных по письменным источникам каменных построек – церковных и светских – едва наберем двести пятьдесят, а сохранившихся церквей – примерно в десять раз меньше. А ведь некоторые погибли уже в наш просвещенный век, после 1917 года: Михайловский Златоверхий собор в Киеве, Васильевская церковь и церковь Успения там же, собор Рождественского монастыря в Влади-

мире, полоцкие церкви, Витебск... Пусть сохранилось больше – но как же мало!

Вот вся она перед нами, драгоценнейшая часть церковного строительства России – и что же сказать ей вослед уходящей тысячи лет? По два, по четыре храма в древних русских городах, они знаменуют собою то, что было, и чаще всего – то, что только могло бы быть. Мы были очень скоры на выучку и так же скоры на забвение, по своей вине или чужой, но – забывая. Если посмотреть на всю историю русского церковного зодчества, то одной истории мы не построим: вот византийское искусство в церквах Киева и Чернигова, вот оно же в иной традиции в Смоленске, вот работы галицкой артели во Владимире, вот Новгородская София, вот Полоцк; затем непрерывные, насчитывающие все-таки большое число сохранившихся памятников школы Новгорода и Пскова вплоть до XIV века; затем раннемосковские постройки, стоящие на совсем других традициях, и такие одинокие церкви, как собор на Городке в Звенигороде с его пучками тонких, как бы «готических» полуколонок на стенах и удивительным, действительно готическим окном на западном фасаде.

Одной истории нет – слишком необъятно велика земля, и не могло быть одной истории – это не менее вероятно, чем искать одну и ту же традицию в романской архитектуре Италии и Франции; но и в пределах каждой школы, каждого места слишком легко рвалась связь и слишком несвязной становилась традиция. Фиорованти построил в Московском Кремле свой Успенский собор, и после того немало шестистолпных соборов построили в следующем, XVI столетии – а только ни один не был так ясен по формам своим, так слитен единым пространством вокруг своих круглых шести столпов, и ни в одном не было такого чистого и мерного хода. И если для двух последних веков русского средневековья мы можем показать пути развития архитектурного образа достаточно полно, то тем более обидно видеть направление этого развития: от лучшей среди шатровых церквей – церкви Вознесения в Коломенском – к декоративным шатрам XVI века, к низким трапезным и храмовым пространствам, сомкнувшимся наглухо без осеняющего света из центрального барабана; от осторожных опытов ордерного решения стены – к столь часто хвалимому в каких-то оскорбительно этнографических выражениях изобилию кирпичной декорации московских церквей XVII века.

Но остановимся здесь; что-то есть неправильное в этом перечне несовершенств. Мы не нашли слов для именования материального, живого бытия одних храмов и молчащего отсутствия других. Странно стоять перед историей, которую не соединишь – скажем, средневековая архитектура Армении и Грузии историю имеют значительно более цельную, – но чем желать несбыточного, лучше увидеть заново храмовый образ России. Что из того, что он часто начинался с лучшего памятника и идет к измельчению дара – ведь и Византия не кончилась, а началась Св. Софией. Глядя на то, сколь мало мы имеем, лучше склонить голову: на эту оскуделость числа приходится очень много чистого и исполненного умения. Киев стоит в его начале: византийская выучка, которая дала более трех десятков прекрасных церквей Киева и Чернигова, – до сих пор стоит перед нами в великолепной киевской Софии, в немногих, но подлинных храмах. Как мог народ, только входящий в христианскую историю, так скоро и глубоко принять византийскую архитектурную систему, принять так, что немало из русских храмов того времени превосходили по размерам свои византийские образцы и не уступали им качеством? Храмовое пространство как овеществление молитвенного опыта – казалось бы, и самого опыта этого не хватает, и слова, – но он был, как дар, воспринят и в ранней архитектуре Новгорода – пережит и истолкован по-своему; и в Киеве, и на севере он – византийский по родовому своему свойству, но на нашей земле прожитый и понятый, в чем-то чуть упрощенный, чуть рационализированный, в чем-то – более молодой, активный, действенный. Эта архитектура не нуждается в испытующем сравнении с другими школами – у ней есть полнота бытия; и она, как обещание, стоит во главе всего исполненного и не бывшего в русском храмовом строительстве.

Владимирские храмы открывают нам – снова и просто, в себе и в будущем – возможность другой школы и другого опыта. Галицко-волынские мастера, которые приходили сюда, принесли умение строить из белого камня; а кроме этого умения, еще и связь с романской архитектурой Запада, пришедшей в Галич из Польши. Мы не знаем облика большинства галицких храмов; но то, как византийская крестовокупольная система живет в преображенных ее строением формах романского архитектурного декора полуколонн, капителей, баз с птичьими когтями на владимирском Успенском соборе –

это соединение восточного и западного храмового образа, нигде больше в таком совершенстве не повторенное и, видимо, навсегда неизбежное для России. И так постепенно перед нами встает мера того, что есть; тогда Успенский собор в Москве кажется не случайной работой заезжего итальянца, но исполнением обещанного – поисками собственного пути, где Византия и Запад срастаются и становятся одним, только в России возможным; тогда церковь Вознесения в Коломенском (тоже итальянская постройка) – тоже на своем месте этого, полуявленного, полуобещанного развития; ведь весь сгоревший уже русский Север с его деревянными храмами, длинными, строгими – от того же образа, и редко когда народная церковная архитектура была такой слитной и сильной по своему духу. Все это было на самом деле, и было и другое, разрушенное: Борисоглебский собор в Старице, построенный мастерами собора Василия Блаженного, разобранный при Екатерине; еще и церкви, пока нам не известные, не открытые даже археологией, – то, что уже не стоит, но в нашем понимании того, что такое церковь, продолжает существовать так, как давно забытые в своих именах поколения существуют в крови живых.

Но есть ведь и еще одна, лучше известная нам и не меньшая часть храмовой архитектуры – это строенное при Петре и после него. Если мы ограничиваем область христианского опыта культуры ее средневековым, то тем самым все, что было после, стоит как бы вне истории и вне закона; а это неверно. Обращение к Западу, кажется, было в крови наших поисков церковной формы; и если XVII – XVIII века приносят много еще очень чужого, то ведь и сделанное ими неизгладимо. Нарышкинское барокко церкви Покрова в Филях, Троицы в Лыкове, снесенных рязанских церквей, сохранившегося рязанского собора, этот первый, новый, детский опыт ордера на корпусе старого русского храма – как он бывает хорош, и как, с другой стороны, истовы и значительны в самом церковном смысле слова высокое, громадное пространство псковского собора или раннебарочная кривая купола погубленной церкви Успения на Покровке в Москве. Тонкая колонка, которой все так хотелось измерить: и стену, и наличник окна, и весь объем храма; а ведь с ней входит заново опыт другого счета архитектурного тела, чтобы через сто лет дать удивительную пространственную отчетливость круглящихся церквей Ми-

хаила Казакова или воспоминание о раннехристианской типологии круглого храма в церкви Всех Скорбящих Радости на Ордынке. Русскому классицизму очень повезло, потому что нет на нем отпечатка академической вторичности и повтора – нет, потому что и повтора не было! в первый раз в России думали этой мерой, и о том, сколько это нам дало, можно говорить, только увидев церкви Н. А. Львова или посмотрев на фотографию (нет его больше) мраморного иконостаса церкви в Рай-Семеновском Казакова или на дориду мавзолеев начала XIX века; а в конце концов, и на ту церковь села Озерки, с которой мы начали.

Так постепенно становится полным тысячелетний путь истории церкви или, лучше сказать, ее формы; и слава Богу, этот путь был. Мы не можем говорить, что наши церкви стенами своими лучше обнимают таинство службы, чем какие-то иные; но мы не имеем права считать, что они могут это делать только хуже, чем прочие. Что-то было дано нам, кажется, не по мере наших сил – будем лучше считать это обещанием на еще не бывшую историю; добрую половину мы потеряли за последние 70 лет, и еще половина оставшегося погибнет без крыш и часто без сводов; но свет раз зажженной истины в этих церквях есть, и есть церкви, где он весь перешел во плоть архитектуры и стал ею; я не могу поверить, что это было напрасно.

Михаил Федотов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Роман о людях, мечущихся по свету, чуждых
любим политическим режимам и ищущих Бога,
правды и любви.

POB 6997 Jerusalem, Israel
400 страниц

НОВЫЕ КНИГИ ИВАНА ВЕНЕВА NOUVEAUX LIVRES DE YVAN VENEV

5. DICTIONNAIRE DES DOMAINES DE L'UNESCO (EDUCATION, SC. SOCIALES, CULTURE ET COMMUNICATION) ANGL. - FR. - RUSSE - BULG. (A - Z) 4000 expres. 250 p., préface: André MARTINET. Ed. ECONOMICA, 1984, PARIS.

6. DICTIONNAIRE ANGL. - FR. - RUSSE (INFORMATIQUE ET SCIENCES) A - Z, 1499 expres. Préface: A. MARTINET, ECONOMICA, 87 p., 1984, PARIS.

7. DICTIONNAIRE RUSSE - FR. ET PARTIELLEMENT ANGL.: ENERGIE ATOMIQUE ET SC. DE L'INGENIEUR. Préface: Alain REY - DIR. SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE DES DICTIONNAIRES ROBERT, Fasc. 1, A - Л et Я. 1100 expres., 59 p. PARIS, 1986.

8. DICTIONNAIRE ANGL. - FR. - RUSSE: FUTUROLOGIE ET SC. SOCIALES. A. MARTINET et A. REY (préfaces), A - Z, Ed. Inst. Internat. de Philosophie et Terminologie «Peter DEUNOV», PARIS, 1987, 121 p., 3000 expres.

9. LINGUISTIQUE MATHEMATIQUE ET COMPUTATIONNELLE: DICTIONNAIRE RUSSE - FR. - ANGL. Préfaces A. MARTINET et A. REY. Fasc. 1, A - Ж et Я, 106 p., PARIS, 1987, Inst. P. DEUNOV.

10. GLOIRE À ST.-CYRILLE et À ST.-METHODE - CREA-TEURS DE L'ALPHABET CYRILLIQUE AU IXe SIECLE. Poésies en bulgare par Victor L. YORDANOV. Présenté par Y. VENEV. Ed. Inst. Internat. de Philosophie et Terminologie «Peter DEUNOV», PARIS, 1987, 40 p.

Format des livres: 17/24 cm, papier 80 - 140 gr. brochés; couvertures en couleurs; mêmes prix pour les microfiches des livres; les expres. des dictionnaires sont accompagnées très souvent de riches renseignements bibliogr.; les prix sont TTC; l'expédition, toujours recommandée, est payée par le client; **remise pour les diffuseurs:** de 33 à 80%. Excellentes références sur les dictionnaires précédents de VENEV par les prof.: Jean PIAGET; Et. VOLFF; A. MARTINET; A. REY; J. HALPERIN; B. VAUQUOIS; F. de LABRIOLLE; L. ROBEL; A. ROUANET; F. BENTOLILA; I. CHOUROULINKOV etc.

A commander chez: VENEV, 57, rue Fédération,
75015, Paris. Tél.: 45.68.19.54; 47.83.69.05.

Искусство

Дмитрий Хмельницкий

АРХИТЕКТУРА НОВОГО ТИПА

Деспотизм и искусство... От тяжелой руки бесконтрольной власти несказанно страдало искусство слова... Но деятели в области других искусств, в частности, архитектуры, почти не испытывали, надо иметь смелость сознаться, этого гнета: мы страдали от него как граждане, но мало страдали как художники. Поэтому нам принадлежит исключительное счастье иметь возможность с гордостью оглянуться на прошлое нашего искусства.

Оскар Рудольфович Мунц, 1917

...Наша партия выдвинула для всех искусств, в том числе и для архитектуры, лозунг социалистического реализма. Это означает, что в стране социализма архитектура прежде всего должна быть идейно направленной, должна четким, ясным и понятным для масс языком отражать все социально-бытовые, экономические и политические устремления нашего социалистического общества.

Владимир Алексеевич Щуко, 1937

Первая половина 30-х годов – во многих отношениях самый любопытный период истории советской архитектуры. Растущая временная дистанция, вопреки правилам, скорее затуманивает, чем проясняет официальный взгляд на события того времени. Вот как трактует их последние по времени издания «История советской архитектуры». (Былинкин Н. П. и др. История советской архитектуры. М., 1985):

«В середине 30-х годов уже стала очевидной коренная переоценка ценностей в архитектуре. В качестве феномена

социальной психологии такой поворот в массовом и профессиональном сознании до конца не исследован. По-видимому, сказался ряд причин, но главную роль сыграло, конечно, изменение эстетического идеала общества... К 30-м годам социально-культурный контекст изменился. Жизнь заметно улучшалась, облегчалась, и противоречащий этой глубинной тенденции аскетизм, в том числе и в архитектуре, оказывался неуместным и резко отторгался общественным сознанием. Социализм побеждал на всех фронтах, и это нужно было отобразить, увековечить в искусстве и, конечно, в архитектуре. Для решения новых задач высокого идеологического звучания прежние средства архитектурной выразительности оказывались недостаточными, а то и вовсе непригодными».

На самом деле исторический фон происходившей тогда художественной переориентации настолько хорошо известен, что официальные формулировки, вроде вспыхнувшего внезапно «интереса к освоению художественного наследия прошлого», мало кого сейчас обманывают. Совсем не произвольно менялся «эстетический идеал общества». Однако суть перемен совсем не так очевидна.

Еще 30-35 лет назад советская архитектурная критика имела на этот счет совершенно однозначное мнение.

Спорить сейчас со сталинским искусствоведением бессмысленно*. Конструктивизм 20-х годов так же мало нуждается сейчас в защите, как и генетика 40-х. На этом сходство кончается. Общность ситуаций ограничивается методом пресечения. Лысенко был откровенным шарлатаном. Щусев, Жолтовский, Фомин, даже, наверное, Иофан – под это определение категорически не подпадают. Лысенковский «дарвинизм» сгинул вместе с Лысенко. Основы архитектурной психологии, заложенные в 30-е годы, более или менее благополучно пережили стилевые метаморфозы 50-х, растерянный либерализм 60-х, отчетливо окрепли в 70-е и, похоже, нашли вторую молодость в 80-е годы, к счастью, не определяя уже целиком архитектурную физиономию страны.

* «Небольшая группа интеллигентов старого поколения с изрядным грузом буржуазной идеологии засела в журнале «СА» и архитектурном обществе ОСА и на все лады уверяла себя и других в том, что они господствуют на архитектурном фронте и якобы представляют собой новую, „прогрессивную архитектуру“». Цапенко М. П. О реалистических основах советской архитектуры. М., 1952.

Сравнение двух вынесенных в эпиграф цитат отчетливо демонстрирует сдвиги в профессиональном мышлении русских архитекторов, происшедшие за 20 лет. С исторической точки зрения их легко объяснить. Мы знаем, какие события привели сначала к изменениям в политической структуре страны, а затем обусловили культурную революцию 1933 года. Мы понимаем, какие обстоятельства заставили академика с дореволюционным стажем Шуко с такой гордостью декларировать совершенно новый, с точки зрения привычных художественных представлений, статус советских зодчих.

Непонятно, что же собственно произошло с искусством. Практическим результатом перемен явилось совершенно уникальное явление художественной культуры – не взлет, не деградация, а мутация, замещение одного другим. Архитектурное перерождение страны произошло практически мгновенно – за 2-3 года и практически на 100%. Это не значит, что новый стиль сразу же сложился и стабилизировался. Для того, чтобы романтический псевдоклассицизм переходного периода превратился в послевоенный победоносный ампир, потребовалась определенная эволюция, механизм которой был запущен именно в интересующий нас момент благодаря разовой перестройке профессиональной психики. Анализ эволюции советского стиля кажется менее интересным, чем попытки выявить его специфические черты, которые выделяют его из контекста всеобщей истории современной архитектуры.

Эту эпоху трудно представить просто как очередной этап в художественном развитии страны. Во-первых, она не имела почти никаких естественных предпосылок. То, что сейчас лукаво называется «ориентацией на классическое наследие» (а раньше называлось «истинно реалистической архитектурой»), не только не вытекало из проблем, которые решались в конце 20-х годов, но прямо им противоречило. Во-вторых, сами вожди этого движения, волею случая или начальства оказавшиеся на вершине архитектурной иерархии, не имели накануне ни малейших шансов на такой успех. Да и они сами, видимо, не представляли поначалу, чем обернутся в результате неожиданной поддержки их добросовестные попытки сохранить и возродить «вечные архитектурные ценности».

Классицизм 30-40-х годов и психологически, и даже стилистически противоречит тому, чем занимались в 10-20-е годы его формальные лидеры, такие, как Жолтовский, Фомин,

Щусев. И это особенно интересно. Переломная эпоха пришла на середину творческого пути людей, которых нельзя упрекнуть ни в неискренности, ни в недостатке таланта. Следовательно, их деятельность в 30-е годы можно рассматривать как полноценное искусство, во всяком случае, формально полноценное. Их художественная психика оказалась настолько пластичной, что приспособилась к новым условиям, не утратив творческого потенциала, но приобретя при этом некие новые качества. В результате создалась парадоксальная ситуация. Есть ряд художников, имена которых прочно и заслуженно вошли в историю искусства, в то время как их деятельность, начиная с определенного момента, в общепринятую историю искусств едва ли укладывается. Остается предположить, что полноценность произведений искусства определяется в данном случае не только мастерством и талантом, но и какими-то иными, менее привычными элементами художественной психологии. Тут речь идет о попытке обосновать на общеизвестном художественном материале гипотезу, возможно, объясняющую в какой-то степени феномен тоталитарной архитектуры.

Победа Сталина и последовавшие за ней экономические и политические реформы повлекли за собой перестройку культурной жизни страны. Постановлением ЦК ВКП(б) от 8 апреля 1932 года были уничтожены независимые художественные организации и на их месте созданы единые, централизованные творческие Союзы, в том числе и Союз советских архитекторов. Одновременно с этим многоступенчатый конкурс на Дворец Советов определил как художественные вкусы руководителей государства, так и круг задач, которые отныне предстояло решать советским зодчим. На фоне этих событий началась стремительная перестройка профессиональной психики в масштабах государства. В канун перестройки в СССР существовало множество конкурирующих художественных направлений. Очень грубая классификация позволяет выделить несколько основных групп.

Конструктивизм – самое многочисленное и, по существу, уже победившее направление. Принципиальный академический классицизм (Жолтовский, Фомин). Различные варианты позднего модерна. Романтический экспрессивный неоклассицизм, часто формально сближавшийся с конструктивизмом (Троцкий, Гольц, Иофан).

Опыт Италии и Германии подсказывает, что последнее направление должно было бы оказаться наиболее близким существу режима. В СССР произошло не совсем так, хотя Троцкий и Иофан сразу же заняли места в лидирующей группе. Только конструктивизм был полностью и решительно исключен из обращения (несмотря на грядущие посты и звания некоторых его вождей). Все остальное было принято в переработку и в кратчайшие сроки превращено в нечто концептуально и стилистически однородное, заранее получившее название «архитектура социалистического реализма».

К 1933 году завершилась эпоха наивного революционно-художественного романтизма, питавшего в 20-е годы левые течения в искусстве при безразлично-настороженном отношении революционных властей. Теперь заказчик четко объяснил, что ему надо: проектирование монументальных сооружений, символизирующих собой величие государственной власти. Настало время однозначного, как пирамида, пафоса. Искусству даже не предлагалось выражать изобразительно политическую идею, как в первые годы революции, – речь шла не о художественной агитации. Нужно было найти как можно более энергичный эмоциональный эквивалент мистической идее вечной, незыблемой и абсолютной власти – идее государственности*. В соответствии с новым «социальным заказом» началось перевоспитание зодчих.

Относительно быстрой и бескровной перестройке архитектурной психики помогли, как ни странно, некоторые ее профессиональные особенности.

1. Желание строить при любых обстоятельствах. Архитектор-профессионал – это значит практик. Отказ от участия в строительстве равнозначен смене профессии (не говоря уже о потере средств к существованию).

* «Многие столетия простоит на земле Дворец Советов. Он войдет в новую географию мира. На карте мира исчезнут границы государств... Возникнут коммунистические поселения, не похожие на старые города... Люди будут рождаться – поколение за поколением, – жить счастливой жизнью, стареть понемногу, но знакомый им по милым книжкам детских лет Дворец Советов будет стоять точно такой же... Столетия не оставят на нем своих следов, мы выстроим его таким, чтобы он стоял не старея вечно. Это памятник Ленину». Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940, с. 14.

2. Архитектура – искусство агрессивное. Она формирует эмоциональную среду существования человека средствами, которых он не в состоянии избежать. Это определенная власть. А власть развращает. Оказываясь в условиях, когда не только дозволяется, но и предписывается максимальная аффектация, неограниченное давление на психику, – не все могут удержаться. Особенно, если подстегивает собственный романтический темперамент и профессиональное недовольство вечной недооценкой социальной значимости архитектуры.

3. Невинная форма, в которую была поначалу облечена борьба за социалистический реализм в архитектуре. Отношение к историческому наследию – вполне привычная и достойная тема для архитектурных дискуссий. Хотя уже в конце 30-х годов ярлык «конструктивист» был синонимом политического обвинения, в начале десятилетия дискуссии еще допускались, правда, в весьма умеренной форме. И всегда существовала возможность достойного и почетного отступления. Ведь согласиться с правотой или даже осторожно оспаривать слева Ивана Владиславовича Жолтовского – ни с моральной, ни с физической точек зрения совсем не то же самое, что дискутировать с Молотовым (председателем жюри конкурса на Дворец Советов). Удивительным образом вкусы лиц, выступавших в роли «вождей пролетариата», оказались под защитой авторитета целого букета академиков с дореволюционным стажем.

Что особенно поражает в процессе массовой перестройки архитектурной психики, так это не столько скорость, сколько глубина и искренность. Можно, конечно, не доверять чувству гордости, с которым хитроумный и не обремененный предвзятыми художественными концепциями Щусев заявлял, что в его работе над гостиницей «Москва» «...представители правительства принимали самое активное участие, и по их указаниям мне приходилось неоднократно переделывать самые существенные детали». Архитектурную молодежь, похоже, удалось купить за так. Пример тому – судьба одного из самых симпатичных людей в нашей архитектуре – А. К. Бурова. Блестящий молодой конструктивист, личный друг Корбюзье перестраивается сразу же (всю жизнь, однако, оставаясь на левом фланге). В 40-е годы он в осторожной форме заносит в личный дневник вполне здравые и вполне еретические для своего времени мысли. Его записи могли бы служить редким

примером личного свободомыслия, не будь они так безнадежно архаичнее его же собственных художественных воззрений 20-летней давности. Сам он в это время строит вполне характерные для эпохи жилые дома, успешно занимается техническим изобретательством и время от времени проектирует, исходя, похоже, из какой-то странной смеси инстинкта самосохранения, профессионального самолюбия и Бог знает еще чего, по принципу «ни вашим, ни нашим», нечто уж совершенно несусветное, абсурдное со всех точек зрения, в том числе и ортодоксально-академическое (проекты «Храма Славы» в Сталинграде и монумента «Сталинградская эпопея»). В 1957 году он становится член-корреспондентом Академии строительства и архитектуры.

Итак, существовала иллюзия отступления без морального ущерба. То, что это была всего лишь иллюзия, сейчас можно утверждать почти наверняка. Руководители страны, смешав всех ее зодчих в едином котле Союза архитекторов СССР, отнюдь не собирались идти на поводу у ими же назначенных лидеров. Им вовсе не нужны были в чистом виде ни «палладианство» Жолтовского, ни «красная дорика» И. А. Фомина. И то и другое было художественными явлениями обычного порядка, приспособленными, даже в своих крайностях, к вполне обычному образу жизни и способу восприятия. Теперь же требовалось нечто совершенно новое, соответствующее по масштабу и смыслу совершенно новой, уникальной политической структуре. По-видимому, довольно точно суть перемен уловил А. А. Веснин, осторожно заметивший в 1934 году: «Образность в архитектуре подменяется часто символизмом». Символизмом не художественным, добавим мы, а политическим.

Дореволюционные особняки Фомина или Жолтовского (дом Половцева и др.) обладают всеми типологическими признаками жилья, соответствующего нормальной человеческой природе заказчика. Жилые «саркофаги», которые строил в 30-50-е гг. Жолтовский, этих признаков уже лишены. В них чувствуется холодное мастерство рисовальщика и стремление к тому, что тогда (да и сейчас) называлось «монументализмом», а на деле означает стремление превратить любое здание, независимо от назначения, в условный символ величия, материализованный пафос. При этом Жолтовский был значительно больший эстет, чем большинство его единомышлен-

ников и учеников, и, следовательно, гораздо сдержаннее, чем они, выполнял так называемый «социальный заказ».

Один из главных ударов был нанесен по архитектурной типологии. Архитектура утратила свои функции по созданию живой человеческой среды. Социальные программы 1929-30 гг., проблемы создания новых типов жилья и новых принципов расселения забыты. Теперь требовался антураж для проведения митингов, демонстраций и монументы, прославляющие прошлое, настоящее и будущее режима. Эти требования в равной степени распространялись на немногочисленные жилые дома, общественные и административные сооружения. Примером могут служить московские «недоскребы», на которые распался после войны так и оставшийся главным мифом советской архитектуры Дворец Советов. Было запроектировано 8 почти идентичных по архитектуре, «национальных по форме и социалистических по содержанию» зданий: университет, две гостиницы, два административных, два жилых здания и одно административно-жилое. Совершенно очевидно, что основные усилия архитекторов были направлены на создание нового образа городских сооружений. Так же очевидно, что образ этот никак не был связан с назначением дома. Для истории архитектуры такая ситуация не новость. Весь классицизм, например, был ориентирован на абстрактный образ идеального Дома, архитекторы лишь старались как можно ближе к этому образу подойти, независимо от назначения постройки. Новостью является то, что в данном случае шли поиски не образа Дома, а образа идеального Памятника Государству. Тут можно говорить о тотальной фальши самой сути образа. «Идейно-художественные образы этих зданий символизируют торжество великих идей Ленина-Сталина, ...удачно выражают идеи, вытекающие из существа коммунистического общества, а именно величие этого общества, укрепленный творческий труд, радость бытия, веру в человека» (Цапенко)*. В равной степени можно говорить о пространственном моделировании структуры государственной власти.

Люди, живущие в домах, символизирующих власть, – сами власть. Они не нуждаются в обычных для жилища приметах

* Прекрасный анализ того, как догматика новой эпохи преломлялась в архитектуре, сделан Вадимом Паперным в книге «Культура 2. Очерки истории советской архитектуры».

бытового комфорта. Ведь быта нет. Во всяком случае зрительно. Есть непрерывное круглосуточное служение не без ореола мистики. И этим тоже, наверное, а не только личными привычками Сталина, объяснялось то, что все ответственные работники страны работали в основном по ночам. По существу, дома для начальства (а других, кроме барачников, тогда не строили) были не столько жильем, сколько богатыми казармами. Стремительная карьера забрасывала людей в роскошные апартаменты, и так же стремительно они меняли их на условия гораздо менее комфортабельные.

Московские небоскребы – пример позднего, послевоенного «сталинского ампира», обладающего собственными специфическими чертами. Это уже результат внедрения в профессиональную психику идей «социального заказа», которые формулировались и уточнялись на конкурсах первой половины тридцатых годов.

Можно сказать, что тогда была наконец решена, точнее снята вечная проблема соответствия формы и содержания. Содержание, смысл здания никакого отношения к архитектурной форме теперь заведомо не имели, а сама архитектурная форма, якобы традиционная, тоже утратила свой первоначальный смысл и наполнилась новым содержанием, не имеющим никакого отношения к архитектуре вообще. Любое здание рассматривалось как монумент, памятник либо постамент под памятник, в котором лишь в силу технической необходимости проделывались окна и устраивалась какая-нибудь начинка. Интересно, что до сих пор «монументальность» является основной целью творческих поисков и основным комплиментом в устах советских зодчих, мало задумывающихся над тем, что она означает психологически и эмоционально.

Настоящее монументальное искусство непременно предполагает также и монументального строителя-потребителя. То есть человека с нерасчлененной психикой, цельным сознанием и примитивным представлением о мире (обществе), его устройстве и своем месте в нем. В наше время такие потребители сохранились разве что в джунглях Амазонки. В древних цивилизациях все люди были монументальны, то есть, с нашей позиции, примитивны (в этом нет никакой негативной оценки, они, наверное, были во многом лучше нас), поэтому искусство древнего Востока и Греции обладает естественной правдивой монументальностью. Христианство разрушило душевную

цельность людей, а вместе с этим и их монументальность. С тех пор правдивое монументальное искусство стало невозможным, выродилось в театральную декорацию. Требовать сейчас от архитектуры монументальности значит ориентировать ее на заведомую ложь, на вымышленного, несуществующего потребителя. Впрочем, усилия по созданию новой социалистической монументальности были лишь одним из звеньев общей программы по воспитанию человека нового социалистического общества, человека, подготовленного к ее адекватному восприятию.

Другое новшество тридцатых годов касается взаимоотношений архитектора и заказчика. В двадцатых годах заказчика просто не было. Архитекторы сами ставили себе задачи и сами их решали, иногда приходя на теоретическом уровне к блестящим результатам. Можно только предполагать, какие трудности возникли бы при реализации замечательных проектов соц-расселения, не изменись обстановка так кардинально (ведь карточная система распределения жилья, по-видимому, и тогда не вызывала особенных сомнений). Художественная борьба велась почти без участия политического руководства. Конкурсы имели вполне реальный смысл. Это позволяло строить время от времени действительно прекрасные здания, например, «Центросоюз» Корбюзье – один из основных объектов злобной критики последующих десятилетий.

Но обстановка изменилась. Появился заказчик, причем персонифицированный. Его вкусы и вкусы его ближайших соратников определили и художественный стиль эпохи. Это был заказчик нового типа. Он совмещал в себе цензора, художественного руководителя, но, как ни странно, не потребителя. Потребительское значение архитектурных сооружений 30-х годов крайне невелико. Нельзя сказать, что они совсем не нужны – хотя бы потому, что ответственные работники тоже должны были где-то жить. Их основное назначение было иллюзорно-символическим. Требовалось как можно скорее изгладить из памяти населения представление о прежней жизни и построить на ее обломках образ нового социалистического города. Отсюда вспыхнувшая страсть к ансамблевому градостроению. Не к изучению закономерностей композиционного построения новой городской структуры – такие понятия тогда уже существовали и были искусственно выведены из обращения. Апеллировали к дворцово-храмовым

ансамблям традиционного характера, исполненным теперь, правда, нового смысла. Художественные проблемы градостроителей свелись все к той же социальной символике. Симметричная композиция из трех-четырёхколонных зданий с горкомом (райкомом, горсоветом, сельсоветом и т. д.) по оси и статуи вождя в центре стала универсальным градостроительным приемом. Страну покрыли мемориально-храмовые комплексы, одновременно жуткие и нелепые до смешного, поскольку архитектуре все-таки приходилось выполнять кое-какие житейские функции, а людям – пользоваться ею в качестве жилой среды. Вполне естественно, что создателям новых культов культовые сооружения прошлого казались врагами. Этим, по-видимому, а не только художественным невежеством, объясняется поднявшаяся тогда волна уничтожения памятников архитектуры, одной из самых известных жертв которой стал Храм Христа Спасителя в Москве.

Единственной архитектурной затеей, которая принесла практическую пользу населению, было строительство метро. При этом она носила настолько престижно-пропагандистский характер, что говорить о ней как о социальной программе невозможно. Вот как обосновывал журнал «Строительство Москвы» (№2-3, 1935, с. 51) отказ от проекта строительства московского метро по типу парижского: «Этот проект был направлен на создание самого дешевого, самого бедняцкого метро в мире. Конечно, он в корне не соответствовал нашим социалистическим принципам и нашим возможностям, позволяющим и диктующим нам создание метро, превосходящего во всех отношениях все метро капиталистических стран!»

Задача иллюзорного приобщения населения к дворцовой роскоши откровенно преобладала над практическими задачами решения транспортной проблемы. Такой яркий пример заботы руководства страны о населении как бы снимал необходимость проведения прочих социальных программ, например, строительства массового жилья.

Что же касается социалистических принципов и возможностей, то именно на время строительства метро приходится массовая смертность от голода в новорожденных колхозах.

В начале тридцатых годов в СССР сложились совершенно особые условия для архитектурного творчества. Появился заказчик, он же цензор, он же старший соавтор, заказчик

нового типа. Заказчик, который не являлся потребителем заказываемой архитектуры в обычном смысле этого слова. В практическом плане потреблять было нечего. Страна не нуждалась в таком количестве министерств, театров и партийных резиденций. В плане духовном – то же самое. Заказчик не мог рассматривать новую архитектуру как потребную для себя среду. Она создавалась для других. Люди, которые суть власть, заказывающие архитектуру, символизирующую власть, не могут относиться к себе самим с тем же пиететом, который предписывался населению. Можно говорить разве что об удовлетворении тщеславия, развитии комплекса величия и т. п.

Радикальные изменения в постановке архитектурных проблем не могли не превратить население страны в потребителя нового типа. Потребителя, которому нечего потреблять, кроме архитектурных иллюзий, социальной символики, выраженной средствами псевдоархитектуры.

Картину дополняет абсолютный вакуум на месте бурной профессиональной атмосферы недавнего прошлого. Архитектор функционировал в этом вакууме, накрепко повязанный правительственной дисциплиной, не имея никаких социальных контактов с потенциальным потребителем. В таких условиях выковывались новые архитектурные кадры, архитекторы нового типа. Надо полагать, что искусство, порожденное таким стечением обстоятельств, имеет право на особый статус во всеобщей истории искусств.

В зависимости от того, как сказывается в произведении искусства личность автора, его можно причислить к одной из двух основных форм художественного творчества – искусству «народному» или искусству «современному». Возможно, более точные определения – «анонимное» и «авторское». «Анонимное» искусство хронологически первично. Оно является тем, что мы сейчас называем ремеслом. Оно выражает духовную жизнь всего общества (или, скажем, популяции) и обращается, соответственно, к массе. Для того, чтобы дать о нем представление, достаточно назвать эпоху и страну. Имя автора, даже если оно известно, ничего к этому не прибавляет. «Народное» искусство целиком основывается на традициях, традиционных, стереотипных приемах, материалах и образах. Оно выражает общенациональные черты, темперамент,

образ мыслей. Такой подход исключает свободу творчества как свободу выбора творческого пути.

Но вот наступает момент, когда индивидуальность автора приобретает определяющее значение. Этот скачок соответствует достижению определенного уровня цивилизованности общества, при котором художник оказывается в состоянии осмыслить и свое и чужое искусство. Перед ним возникает возможность выбора, возможность создания своей собственной индивидуальной манеры творчества и возможность заимствования стилей из прошлого своего или других народов. На месте суммы правил и приемов возникает теория искусства. В разных искусствах этот процесс происходил по-разному. В европейской архитектуре перелом, видимо, произошел где-то в XIV веке. Готика была последним «массовым» стилем, опиравшимся на естественно существовавшие традиции. Уже Возрождение дает нам имена художников и архитекторов, личность и индивидуальная манера которых целиком определяют различия созданных ими художественных школ, несмотря на сосуществование их в рамках одной эпохи и даже одного стиля. Процесс этот, конечно, был сложным, не единовременным и не однозначным, но сейчас нам важен принцип. Художник-личность требует зрителя-личности. Разговаривая не от имени народа, точнее культуры, в целом, художник обращается не к толпе, а к каждому человеку в отдельности, рассчитывая на индивидуальный отклик. «Анонимное» искусство продолжает существовать в виде народных ремесел и будет существовать, покуда жива питающая его естественная среда.

Возможно, равноправный характер взаимодействия личности автора и личности зрителя естественен для нормального искусства.

Советская архитектура тридцатых годов в эту классификацию попросту не укладывается. Уровень общественных отношений, классовая система социального устройства и художественное единоначалие предполагали (и породили) «народное» искусство, обращенное к массам, заставляющее человека чувствовать себя частицей толпы и видеть только в этом свою ценность — «*незаменимых нет!*».

Разумеется, предполагается абсолютная однородность искусства, одностилые. Предполагается ремесло, так как все творческие (в современном понимании) установки уже определены и незыблемы. Но это касается только особенностей

зрительского восприятия. С точки зрения профессионального самосознания, Иофан, Жолтовский и их коллеги были вполне современными художниками. Они с полным уважением относились к своей индивидуальности и своему личному вкладу в мировую архитектуру. Идеи, которыми питалось их искусство, так же, как и идеи, которые легли в основу создания режима в целом, были сначала сформулированы, а потом воплощены и, таким образом, являются продуктом духовного творчества в нашем, современном понимании этого слова. На них в огромной степени сказалась личность вождя-создателя.

Итак, мы имеем искусство авторское по условиям творчества и анонимное по условиям восприятия. Такое положение дел совершенно необычно для нормальных взаимоотношений художника и общества. И для нормальной человеческой психики тоже. Вот она, мутация профессиональной психики. Это искусство может возникнуть в специфических, искусственно созданных условиях и существовать по своим особым законам, не имеющим отношения к общепринятой теории искусств. Тут уже можно говорить о морали. Сам по себе анализ образного строя сталинской архитектуры в полной мере такой возможности не предоставляет. Можно рассматривать Дворец Советов как символ тоталитаризма, крайнюю степень архитектурного хамства, а можно как «...здание грандиозное, стройное, светлое, радостное» (Н. Атаров).

Анализ авторской психики – это, по существу, тест на профессиональную чистоплотность. Тест, которого сталинские зодчие не выдерживают. Их искусство аморально, потому что навязывание санкционированных режимом художественных решений, стиля, метода не ограничивалось правом зрителя на выбор этих решений или хотя бы выражение неудовольствия. Правом даже не реальным, о том и речи нет, а предполагаемым, тем, что должно быть заложено в авторском сознании и означает уважение к людям.

Нельзя сказать, что профессиональное хамство и личная непопорядочность – это одно и то же, хотя границы тут достаточно размыты. Людей типа Алабяна или Мордвинова, непосредственно осуществлявших политику партии в области архитектуры, и самолюбивого принципиального Жолтовского нельзя ставить на одну доску.

А как отнести к Шусеву, говорившему в конце жизни о своем здании НКВД на пл. Дзержинского в Москве: «...попро-

сили меня построить застенков. Ну, я им построил застенков повеселее?»

Выше говорилось, что сталинская архитектура почти лишена потребительского значения. Это не значит, что она бессмысленна. Просто изменился смысл архитектуры вообще. Ее прикладное значение больше почти и не принималось в расчет. Новую задачу можно было бы сформулировать приблизительно так: «Управление социальной психологией путем ее подавления». Эту свою полицейскую функцию архитектура нового типа выполняла блестяще.

Первые 10-12 лет существования Советской России ее культура и даже отчасти экономика (после 1921 г.) находились в относительной автономии от режима. Его руководители занимались почти исключительно политикой. Сначала Ленин боролся за политическую однородность страны, потом его наследники – за власть. Это было время, когда еще продолжали действовать вполне естественные законы экономического и культурного развития. Архитекторы и в России и за границей говорили на одном и том же профессиональном языке, ощущали свою принадлежность к одной цивилизации.

Идиллия кончилась тогда, когда режим стабилизировался в виде диктатуры Сталина, а политическая революция стала дополняться экономической и культурной. Централизация творческой деятельности была закономерным мероприятием новой власти после проведения коллективизации сельского хозяйства и реорганизации промышленного производства.

С конца 20-х годов к культурной жизни страны так же мало приложимы действующие в истории искусств законы художественного развития, как к экономике СССР – законы экономические. Мысль о том, что руководители страны сознательно разрушают сельское хозяйство, чтобы заморить народ голодом, кажется абсурдной с точки зрения нормальных, неперевернутых экономических представлений. Эти же события легко объясняются политическими интересами Сталина. Ему требовался абсолютный контроль над производством продовольствия, абсолютное послушание населения и обстановка в стране, позволяющая в любой момент изымать из массы свободного населения необходимое число рекрутов для ГУЛага, создававшего военную промышленность.

Подобная же мутация произошла и с искусством. Мы привыкли воспринимать историю искусств как цепь явлений, связанных общими для человеческой психики законами художественного развития. Зная эти законы, можно проследить эволюцию русской архитектуры с незапамятных времен до начала 30-х годов. Дальше – нет. Сталинский классицизм так же мало закономерен для русской архитектуры середины XX века, как крепостное право для сельского хозяйства.

С начала 30-х годов все стилевые и структурные метаморфозы советской архитектуры подчиняются не хорошо изученным общечеловеческим законам художественного развития, а закономерностям развития политического режима. Существующее по внехудожественным законам искусство остается в истории режима элементом его пластического оформления, но из всеобщей истории искусств неминуемо выпадает, превращаясь в совершенно особый культурный феномен. Потому так тяжело даются сейчас советским искусствоведам попытки написать «Историю советской архитектуры». Механически объединить в одной книге события 20-х, 30-40-х и 50-60-х годов можно, но связать их между собой искусствоведчески – дело практически безнадежное.

С художественной точки зрения, искусство-мутант представляет собой некоторый интерес лишь на первой стадии – стадии перестройки, пока не была утрачена его лидерами первичность восприятия даже и такого материала, – зато оно дает необыкновенно богатые возможности по изучению патологии художественной психики – психики архитектора-мутанта.

В первую очередь атрофировалось представление о том, что основой для проектирования пространства обитания должен служить анализ человеческого бытия. Рушились уже установившиеся к тому времени связи архитектуры с социологией. Буржуазной, разумеется. Новая социология предпочитала вводить новые законы жизни общества, нежели изучать существующие. Впрочем, и существующими их назвать уже было нельзя. Старый мир вместе со старым образом жизни старательно уничтожались во всех своих проявлениях. Новые законы, однако, тоже не имели к новой же реальной жизни никакого отношения. Они были мистификацией, некоей идеальной иллюзорной схемой, придуманной и внедренной в профессиональное сознание зодчих (и не их одних). Сознанию приходится приспосабливаться к необычной ситуации. Два вполне

банальных определения-синонима: «Архитектура выражает мировоззрение эпохи» и «Архитектура выражает образ жизни эпохи» – перестают быть синонимами. Единственно возможное мировоззрение отрицает предшествующий образ жизни и начисто игнорирует существующий. Воспринявшая такое мировоззрение архитектурная психика становится идеологической. Она перестает учитывать реальные потребности общества, а руководствуется только тенденциозным представлением начальства об этих потребностях*.

✱ ✱ Когда утрачен источник творчества – живая жизнь, теряются и реальные источники архитектурной пластики. Жизнь-схема требует стилистики-схемы. Конструктивизм здесь не подходит. Он с настоящей жизнью завязан накрепко, а потому «аполитичен». Остается классика. В XX веке она уже настолько омертвела, что на любую социальную схему натягивается без труда. Это не единственная причина внезапного возрождения ордерной архитектуры.

На протяжении всего периода своего правления Сталин систематически вводил в советский быт реалии свергнутого строя (монархического, а не республиканского). Так были воссозданы (терминологически) офицерские и генеральские звания, кадетские корпуса (суворовские и нахимовские училища), гвардия, каторга. Отчасти это можно объяснить своеобразным юмором вождя, отчасти сходством решаемых внутриполитических задач. Разумеется, сходство это было довольно условным. Красноармейские генералы так же мало походили на прежний царский генералитет, как ГУЛАГ на царскую каторгу.

В этом же ряду можно рассматривать воссоздание в Советской России «стиля империи», опирающегося на привычную атрибутику имперской архитектуры прошлого – на ордер.

Термин «неоклассицизм», используемый применительно к сталинской архитектуре, совершенно несправедлив. Классицизм, к которому время от времени обращалась европейская архитектура, стремился выработать и обосновать теорети-

* Это новоприобретенное качество мутировавшей архитектурной психики оказалось на редкость прочным. Оно успешно преодолело все стилистические катаклизмы последующих десятилетий.

чески принципы построения простой и ясной, универсальной архитектурной композиции, стремился к овладению объективной художественной истиной. Эмоционально он означал спокойную и строгую, замкнутую на себе гармонию. Советская идеология также предполагает постижение и внедрение в общество однозначной и универсальной политической истины. Частичное совпадение методик мышления предопределило связь по существу разнородных явлений. Классицизм ориентирован на сугубо индивидуальные поиски истины. Он вовсе не предполагает диктатуру (ни художественную, ни политическую). Но диктаторы, как правило, предпочитают классицизм. Реальные отношения между людьми, а также принципы расселения в новую эпоху соответствовали казарменной иерархии. Взаимоотношения населения с властью предполагали культ, культ власти в целом, и вождя в частности. Не случайно основными источниками вдохновения наших зодчих в переходный период стала архитектура военных деспотий прошлого: Ассирии, Египта, императорского Рима. Европейский классицизм был удобен тем, что легко поддавался схематизации, сохраняя при этом все внешние признаки высокого искусства. Наполненный новым содержанием, о котором уже говорилось выше, гипертрофированный, он переходил ту грань, за которой внутренняя спокойная строгость превращалась в жестокость, направленную вовне, гармония – в аффект. А сама архитектура превращалась в совершенно новое культурное и художественное явление – в «эрзац-классицизм». Вот почему Сталин, когда настало время, предпочел опереться не на воинственных конструктивистов с их непонятными проблемами, революционной фразеологией и тесными международными связями, а на группу старорежимных академиков.

Любопытен мичуринский метод, которым вождь, обрабатывая эталонный образец социалистического зодчества, скрестил довольно бездарного романтического неоклассика Иофана с добропорядочными ретроспективистами Шуко и Гельфрейхом. Отныне любые самостоятельные поиски даже в русле предписанного направления были обречены на неуспех. Например, в конкурсном проекте Мельникова на здание Наркомтяжпрома (1934 г.) мистики, фантазматории, даже тоталитарного духа ничуть не меньше, чем в иофано-шуко-гельфрейском Дворце Советов. Разница в

том, что в первом случае это личная мельниковская мистика, в то время как архитектура Дворца Советов уже вполне анонимна.

До культурной революции 50-х годов живопись, литература и архитектура находились приблизительно в равном отношении к официальным культурным установкам. Впоследствии их пути разошлись. В результате «оттепели» возникли независимые живопись и литература. Возможность индивидуальной и не связанной со смертельным риском работы в сочетании с приоткрытыми информационными барьерами породила культурный взрыв, который не смогли сдержать никакие постановления и кампании по усилению идеологической работы, борьбе с формализмом, абстракционизмом и т. п. Сейчас мы имеем как бы две советские культуры – официозную (как правило, мало съедобную) и независимую, настолько мощную, что с ней вынуждены считаться и заигрывать деятели официоза.

Архитектуры это не касается. Она пошла по своему пути, по существу, гораздо более трагическому.

Десталинизация уничтожила сталинский ампи́р под предлогом борьбы с «украшательством», тем самым как бы восстановив в правах функционализм, точнее, не найдя ему новой теоретической альтернативы. Творческая свобода, которой стали пользоваться в 60-е годы советские архитекторы (по крайней мере, в процессе обучения), была немыслима для других видов искусства. Наши зодчие, получив как бы в подарок абсолютно зрелую современную архитектуру, вновь обрели забытое уже за 35 лет чувство своей причастности к мировому архитектурному движению. Препятствия, стоявшие на пути скорейшего архитектурного прогресса, экономические в первую очередь, казались объективными, временными и, следовательно, преодолимыми. Они кажутся такими до сих пор.

Вряд ли что-нибудь могло спасти советскую архитектуру, но архитекторов как мыслящих профессионалов определенно погубила свобода, отсутствие противника в лице официальной культуры.

Теория современной архитектуры заняла вакуум, образовавшийся после того, как сгинула идеологическая демагогия теоретических установок прошлой эпохи. Но идеология и

раньше играла в архитектуре небольшую роль*. Основное значение имеет социальный статус архитектора и проблемы, которые ему предстоит решать. В первом случае никаких принципиальных изменений не произошло. Система государственного проектирования и строительства по сути осталась прежней, разве что разрослась. Архитекторы так и не получили личной независимости. Зато проблемы поначалу сильно изменились. Место престижных государственных учреждений и богатого ведомственного жилья заняло массовое типовое индустриальное домостроение. Реакция на сталинский ампи́р была настолько острой, что даже архитектура построенного в 60-е годы Главного Здания Страны – Дворца Съездов – имела подчеркнуто «современный», чтобы не сказать легкомысленный, характер. Функции прежней художественной цензуры стали выполнять Строительные нормы и правила, на первый взгляд объективные, то есть увязанные с реальной экономикой и реальными человеческими потребностями. По существу же СНиПы стали юридическим оформлением карточной системы распределения архитектурных благ. Как и всякая карточная система, они были рассчитаны не на естественные потребности человека, а на минимальные, на нищее жилье и на нищую архитектуру. Соблюдение планировочных норм, норм распределения жилой площади, норм плотности застройки, нормирования и унификация строительных материалов и конструкций позволяет все самые важные, концептуальные архитектурные проблемы решать автоматически, не задумываясь.

Для архитектуры это конец. Ее не в состоянии спасти даже рост планировочных нормативов и смягчение строительных строгостей, точно так же, как простое увеличение нормы выдачи хлеба, без отмены карточной системы на хлеб, не в состоянии возродить кондитерскую промышленность.

Таким образом, победа функционализма в СССР оказалась обидной иллюзией.

Реальный функционализм основан на творческом владении функцией, на праве ее истолкования и свободного пространственного моделирования. Если такого права нет, то

* Алексей Викторович Щусев мог предлагать в конце сороковых годов свое месячное жалованье тому, кто объяснит ему, что такое «соцреализм в архитектуре».

приходится приспособливать стилистику современной архитектуры, уже разработанную в совершенно иных условиях, к убогим условиям собственного архитектурного существования. Такой творческий метод есть эклектика, хотя и невольная, эклектика, ориентированная на современную архитектуру. Беда в том, что стилистика современной архитектуры (в отличие от ордерной) не самостоятельна. Она органически связана с пространственными, конструктивными и функциональными решениями. Если связь нарушена, «современный стиль» вырождается мгновенно, превращаясь в набор бессмысленных и надоедливых декоративных штампов, лишенных внутренней логики.

15-20 лет развития советского модернизма показали полную невозможность создать с его помощью нормальную архитектурную среду, несмотря на относительное смягчение планировочных и финансовых ограничений. Возникла ситуация, не устраивающая сразу всех.

Потребитель, опомнившись от радости переселения из коммунальной квартиры в отдельную типовую в новом микрорайоне, затосковал по элементарному уюту и человечности жилья, олицетворением которых стала архитектура старых городских районов и вообще «старый стиль».

Архитекторы, утратившие за несколько поколений генетическую память о серьезных профессиональных проблемах, затосковали по архитектуре, которую можно хотя бы рисовать. Невозможно долго заниматься стилизациями на материале, стилизациям практически не поддающемся. Естественный шаг в таких условиях – переход от неосознанной «модернистской» эклектики к откровенной, к прямому воспроизведению стилей прошлого. Методика архитектурного мышления этому отнюдь не противоречила. Таким образом, в конце 70-х годов в советском зодчестве наметилась эпоха нового ретроспективизма. В отличие от эпохи 30-х годов, новый стиль не носит такого всеобъемлющего характера (массовую продукцию ДСК подогнать под него почти невозможно) и развивается под несколько неожиданным и формально неуязвимым лозунгом «охраны архитектурной среды». В самом деле, трудно сейчас найти противников сохранения художественного наследия прошлого. То, что новое строительство уродует старые города, – тоже очевидно для всех. Отсюда вывод – строить в старых районах (а в идеале и всюду) можно только с

сохранением «старого стиля и традиций», чтобы новое строительство, полностью дискредитировавшее себя в качестве «современного стиля», было незаметно.

Другая составляющая этого процесса связана, видимо, со вспышкой национализма (славянофильства, например), поисками собственных исторических корней, «возрождением национальных и региональных художественных традиций», в том числе и архитектурных. Это вполне объяснимо: культура, потерявшая самостоятельность, способность к осмысленному развитию, пытается нащупать опору в объективных ценностях прошлого.

Тем временем заказчик – государственный аппарат, – оправившись от эпохи оттепели, стал снова предъявлять свои требования к зодчеству, которые изменились со сталинской поры лишь в той мере, в какой изменился сам режим. Оказалось, что отнюдь не исчезла потребность в строительстве престижных правительственных учреждений, олицетворяющих собой строй. Не потерял актуальности ансамблевый подход к градостроительству со всей атрибутикой имперского стиля – статуей вождя (либо любым, произвольного назначения фаллосом в центре) и пилонами по периметру. Новые ансамбли, особенно в столицах, например, Октябрьская площадь в Москве и площадь Пролетарской диктатуры в Ленинграде, отчетливо напоминают архитектуру итальянского фашизма или раннего Троцкого, правда, начисто лишенную и доли неподдельной романтики той эпохи. Эпидемия монументализма, в том самом, сталинском духе, разве что пожиже стилистически, постепенно нарастает в гражданском строительстве. Например, в Ленинграде почти все новые станции метро оформляются на военно-патриотические темы.

Постепенно исчезли все причины, заставившие в свое время развернуть «антиукрашательскую кампанию». Сама сталинская архитектура вызывает сейчас все больший практический интерес. После долгих лет смущенного замалчивания стали раздаваться призывы к ее переоценке и включению в арсенал культурного наследия прошлого, традиции которого следует возрождать.

Так начал формироваться новый советский ампи́р, гораздо менее однородный, централизованный и теоретически обоснованный, чем сталинский, но несомненно на него похожий. Впрочем, обоснование еще впереди, хотя сделать это, видимо,

будет труднее, чем прежде, если не удастся разом отменить и запретить всю теорию современной архитектуры. Покуда формальным прикрытием этих тенденций служит призыв к охране архитектурной среды и возрождению художественных традиций прошлого, почти так же, как и 50 лет назад.

Сейчас трудно предсказать, какой вид примет через 10-15 лет это, к счастью, не тотальное для советской архитектуры направление. Ясно только, что оно стремится стать тотальным и что развитие нового имперского стиля идет по пути нарастающего разрыва со стилистикой и теорией современной архитектуры. В этом смысле начало 80-х годов похоже на конец 30-х, когда из крепнущего сталинского ампира изгонялись последние намеки на конструктивистское прошлое.

Эволюцию советской архитектурной мысли можно представить как цепь иллюзий.

В 20-е годы – последнюю эпоху неизвращенных художественных представлений – существовала иллюзия единства целей архитекторов и руководства страны.

В 30-50-е годы архитекторов грела иллюзия возрождения классического наследия.

В конце пятидесятых годов возникла иллюзия возрождения современной архитектуры.

В конце семидесятых ее сменила иллюзия того, что современная архитектура исчерпала себя как стиль и ее следует обогащать с помощью возрождения традиций прошлого.

Все вместе они складываются в одну грандиозную профессиональную мистификацию – Историю Советской Архитектуры.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Дмитрий – родился в 1953 году в Москве. Позднее жил в Душанбе и в Ленинграде. В 1977 году окончил Ленинградский институт им. Репина. Архитектор. Работал в разных проектных институтах, кочегаром в газовой котельной, архитектором старательской артели. Три года был в «отказе». Эмигрировал (с женой и двумя детьми) в апреле 1987 года, в начале «горбачевской» волны. В СССР печатал дискуссионные статьи на архитектурные темы. Последняя – в «ЛГ» от 4 марта этого года. Три статьи вышли в ленинградском самиздатском журнале «Обводный канал».

Живет в Западном Берлине.

ЭРМИТАЖ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

- АВЕРИНЦЕВ, Сергей. Религия и литература. (Статьи, 143 с.)
АКСЕНОВ, Василий. Право на остров. (Рассказы, 204 с.)
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДРЫЖАКОВА, Е. Путь отречения. (350 с.)
ВИЗЕЛЬ, Эли. Завет. (Роман Нобелевского лауреата, 280 с.)
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. Стихотворения. (160 с.)
ГИРШИН, Марк. Убийство эмигранта. (Роман, 145 с.)
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. Искушение. (Роман, 160 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Заповедник. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Зона. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Чемодан. (Рассказы, 112 с.)
ДРУСКИН, Лев. У неба на виду. (Избранные стихи, 230 с.)
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. Мастера. (Сборник интервью, 120 с., илл.)
ЕЛАГИН, Иван. Тяжелые звезды. (Избранные стихи, 360 с.)
ЕРЕМИН, Михаил. Стихотворения. (Сост. Л. Лосев, 160 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Архивы Страшного суда. (Роман, 320 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Как одна плоть. (Роман, 120 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев. (340 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Практическая метафизика. (Философия, 340 с.)
ЖЕМЧУЖНАЯ, Зинаида. Пути изгнания. (Мемуары, 288 с., илл.)
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. Мир автора и структура текста.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, составитель Ю. Фельштинский, 190 с.)
ЗАЙЧИК, Марк. Феномен. (Рассказы, 184 с.)
ЗЕРНОВА, Руфь. Женские рассказы. (160 с.)
ИВАНОВ, Георгий. Третий Рим. (Избранная проза, 380 с.)
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ. (352 с.)
КОРОТЮКОВ, А. Нелегко быть русским шпионом. (Роман, 140 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Закрытый распределитель. (Очерки, 190 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Чудесный десант. (Стихи, 150 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Маленькая Тереза. (Жизнеописание, 204 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль.
ПОПОВСКИЙ, Марк. Дело академика Вавилова. (280 с., 20 илл.)
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Сказка о трех головах. (Русск. и англ., 128 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Стихи. (На русск., англ., франц., 140 с.)
РЖЕВСКИЙ, Леонид. Звездопад. (Повести, 270 с.)
РОЗИНЕР, Феликс. Весенние мужские игры. (Пов., расск., 208 с.)
РЫСКИН, Григорий. Осень на Виндзорской дороге. (2 повести, 200 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прорыв. (Роман об эмиграции 1970-х, 560 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прощание с Россией. (Повесть, илл., 140 с.)
СУСЛОВ, Илья. Мои автографы. (Рассказы, 200 с., илл.)
СУСЛОВ, Илья. Рассказы о т. Сталине и других товарищах. (140 с.)
ТЕЛЕСИН, Юлиус. 1001 советский политический анекдот. (180 с.)
ТИМОФЕЕВ, Лев. Последняя надежда выжить. (Очерки, 200 с.)
ТРОЦКИЙ, Лев. Дневники и письма. (Составитель Ю. Фельштинский)
ЧЕРТОК, Семен. Последняя любовь Маяковского. (128 с., илл.)
ШТЕРН, Людмила. Под знаком четырех. (Повести, 200 с.)
ШТУРМАН, Дора. Земля за холмом. (Статьи, 256 с.)
ШУЛЬМАН, Соломон. Инопланетяне над Россией. (208 с., илл.)

Заказы отправлять по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenaflly, N. J. 07670, USA

При покупке 3-х и более книг – скидка 20%.

Литература и время

Лев Л о с е в

КТО ЖЕ ГЕРОЙ «ПОЭМЫ БЕЗ ГЕРОЯ»?

Но вот иные лица. Что за взгляд?
В нем жизни блеск и неподвижность смерти.
Арапы, трубочисты – и наряд
Какой-то пестрый, дикий... Что за черти?
«У нас сегодня праздник-маскарад, –
Сказал один преловкий: – но, поверьте,
Мы вежливы, хотя и беспокоим.
Не спится вам, так мы здесь бал устроим».

А. Фет. «Сон поручика Лосева»

Ахматоведение растет, как электроника в Калифорнии, и среди выпускаемых им изделий видное место принадлежит поискам «прототипов» «Поэмы без героя». В исследованиях Чуковского, Добина, Аманды Хайт, Струве, Тименчика, Топорова, Цивьян, Верхейла, Жирмунского, а также в мемуарах Исая Берлина, Лидии Чуковской и Надежды Мандельштам содержится масса информации о людях и событиях, которые так или иначе нашли отражение в поэме. Благодаря некоторым особенностям поэмы (о которых ниже), исследователи не столько спорят друг с другом, сколько дополняют друг друга. Большинство критиков сходятся на том, что в каждом персонаже своей поэмы Ахматова стремилась слить воедино несколько реально существовавших личностей. В самом деле, возьмем хотя бы адресата «Посвящения». Обычно, если адресат посвящения даже и не назван поэтом прямо, то, по крайней мере, всегда подразумевается один, конкретный человек. Посвящение же Ахматовой, похоже, обращено к некоему многоликому существу. Причем иные из этих ликов принадлежат реальности, а другие – литературе. Вот это посвящение¹:

27 декабря 1940
ПОСВЯЩЕНИЕ

.
...а так как мне бумаги не хватило,
я на твоём пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
и, как тогда снежинка на руке,
доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
вдруг поднялись – и там зеленый дым,
и ветерком повеяло родным...
Не море ли?

Нет, это только хвоя
могильная, и в накипах пены
всё ближе, ближе...

Marche funèbre...

Шопен...

*Ночь
Фонтанный Дом*

У Н. Мандельштам не было ни малейших сомнений в том, что «Посвящение» обращено к ее покойному мужу, который действительно был одним из ближайших друзей Ахматовой. По словам Н. Мандельштам, Ахматова вполне согласилась с этим предположением. Дата над «Посвящением», 27 декабря 1940 г., отмечает вторую годовщину смерти Мандельштама в дальневосточном концлагере. У Осипа Мандельштама, как отмечает его вдова, были прекрасные темные ресницы («и темные ресницы Антиноя»). Н. Я. была глубоко уязвлена отказом Ахматовой прямо назвать Мандельштама в посвящении. Ей не по душе то, что она характеризует как стремление Ахматовой создавать ауру излишней таинственности путем механического смешения характерных черт нескольких лиц. «Ахматова, видимо, решила под конец слить Князева и Мандельштама, пропустив обоих через литературную мясорубку...»². При всех ее сарказмах, Н. Мандельштам, вероятно, права: Князев, этот красивый молодой офицер-поэт, чья мелодраматическая история составляет сюжет первой части, очень может быть вторым адресатом посвящения. Его близкая дружба с М. А. Кузминым оправдывает сравнение с античным красавцем Анти-

ном. Кстати сказать, у Кузмина тоже были прекрасные длинные и темные ресницы (см. известный портрет Сомова). Последователями также указывалось, что «зеленый дым» в глазах прекрасного юноши – это реминисценция из поэмы Кузмина «Форель разбивает лед». Оригинальная строфа, которой написана «Поэма без героя», – из того же источника³. Это метрическое заимствование делает понятнее вторую строку «Посвящения»: «я на твоём пишу черновике».

На это сторонники Мандельштама как адресата посвящения могут возразить, что «чужое слово» не должно пониматься в простом смысле заимствованной метафоры («зеленый дым») или заимствованной стиховой формы, что оно может относиться к тематическому заимствованию. Что «чужое слово», о котором говорит Ахматова, это мотив возвращения в Санкт-Петербург прошлого, сродни таким вещам Мандельштама, как «Я вернулся в свой город, знакомый до слез...», «Я пью за воинные астры...», «В Петербурге мы сойдемся снова...»

Само по себе выражение «чужое слово» неизбежно напоминает читателю о М. М. Бахтине, который использовал его как ключевой термин в своих «Проблемах поэтики Достоевского» (1929), где так подробно исследована роль «чужого слова» в литературных текстах. Невозможно себе представить, чтобы Ахматова, с ее глубокой любовью к Достоевскому, Ахматова, которая всю жизнь была окружена филологами и сама была выдающимся литературоведом, не была бы знакома (хотя бы с *чужих слов*) с нашумевшей книгой Бахтина. Подобно Блоку, Хлебникову, Мандельштаму и Гумилеву, Ахматова была поэтом-филологом. Она не только изучала историю литературы «в свободное от писания стихов время», но филологическое знание входило в состав ее поэтического материала как часть того «сора», из которого вырастают стихи («Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»). «Чужое слово» – не единственное литературоведческое понятие, использованное в поэме. Там встречается еще, например, введенное Мирским обозначение периода 1900 – 1910-х гг. как «серебряного века русской литературы» («И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл»).

Хотя из Ахматовой иногда делают некое салонно-аристократическое существо, чуждое «низким» мотивам и «низкой» поэтике, в жизни она была шире, ее юмор бывал грубоват (см., например, воспоминания покойной Л. Л. Жуковой), и

Гоголь, такой поистине «бахтинский» писатель, с его художественной диалектикой «верха-низа», был одним из любимых классиков Ахматовой. В литературоведении обсуждалось влияние Гоголя на фанасмагорическое описание Петербурга в «Поэме без героя». Например, стих «И валились с мостов кареты» скрывает цитату из концовки «Невского проспекта» («мириады карет валяются с мостов» – первым это подметил в своей книге об Ахматовой Е. Добин, а недавно этой же теме посвятил специальную статью Лихачев)⁴. Присутствие Гоголя в сознании автора «Поэмы без героя» подтверждается и следующим любопытным эпизодом. В разговоре с Л. К. Чуковской Ахматова следующим образом высказалась о структуре гоголевской «Шинели»: «Это шкатулка с двойным дном»⁵. В самой же «Поэме без героя» о структуре поэмы говорится: «У шкатулки ж тройное дно» (373). Так, в «Посвящении», наряду с такими элегантными образами, как «темные ресницы Антиноя», или такими трагическими, как *Marche funèbre* Шопена, возникает и грубоватая, «гоголевская» комическая нота. Трудно не припомнить другой известный палимпсест русской литературы, другой случай одного текста, написанного поверх другого за нехваткой бумаги, другое проступание «чужого слова». В «Ревизоре» Гоголя Городничий пишет записку жене на ресторанном счете. Между прочим, городничиху зовут Анна Андреевна. «Спешу уведомить тебя, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» Между прочим, если мы перечтем первую половину этой цитаты, т. е. до вторжения соленых огурцов, мы увидим, что она могла бы послужить прекрасным эпиграфом к поэме (если бы поэма не была уже снабжена массой эпиграфов). Действительно, автор находится в «положении весьма печальном», и одна из главных героинь поэмы – актриса, известная исполнением роли Психеи, т. е., по-русски, Душеньки.

Итак, уже в первых семи строках «Посвящения» мы находим более или менее доказуемые референции к Глебовой-Судейкиной (она же Психея), Мандельштаму, Кузмину, Князеву, Бахтину, Гоголю... В последующих строках возникает мотив «края земли», который в своих пушкинских исследованиях сама Ахматова определяла как метафору смерти у Пушкина.

Поистине историко-культурная референциальность поэмы так насыщена, что никогда нельзя быть уверенным – не

упущена ли из вида еще какая-то связь. Но что мы можем сказать с уверенностью, это то, что ни один из персонажей поэмы не может быть окончательно и недвусмысленно связан с одним определенным реальным «прототипом». Покойный проф. Струве написал пространную работу, так же щедро снабженную дополнениями и дополнениями к дополнениям, как «Поэма без героя» снабжена эпиграфами, в которой он доказывал, что «главный» гость на маскараде призраков в первой части, тот, кто «полосатой наряжен верстою», это никто иной, как Недоброво, близкий друг молодой Ахматовой, чьи взгляды сильно повлияли на ее собственные⁶. Работа Струве весьма убедительна, но все же не исчерпывает вопроса. Верно, что Недоброво был высокого роста. Верно, что он был «законодателем» в глазах Ахматовой («Ты железные пишешь законы, / Хамураби, Ликурги, Солоны / У тебя поучиться должны...»; 359), но нельзя себе представить, чтобы Ахматова была так ослеплена своей дружбой с Недоброво, очень незначительным поэтом, чтобы помещать его на один уровень с Блоком, даже впереди Блока: «Главный был наряжен верстою, / А другой как демон одет...» (371; ни у кого из исследователей поэмы нет сомнений, что «другой» в этом отрывке – Блок). Единственным поэтом того же калибра, что и Блок, большинство читателей признавали Маяковского. Эстетика Маяковского также была весьма «железна», да и ростом он был, кажется, даже выше, чем Недоброво. Как указывал Чуковский, слова «размалеван пестро и грубо» (359) в портрете «полосатой версты» – знакомый завсегдатаям богемных салонов облик предреволюционного Маяковского в его футуристическом (протопанкском) «мейкапе»⁷. В то же время Недоброво был джентльменом консервативных вкусов. И, конечно, строки

Существо это странного нрава.

Он не ждет, чтоб подагра и слава

В попыхах усадили его

В юбилейные пышные кресла,

А несет по цветущему вереску,

По пустыням свое торжество (359)

скорее описывают самоубийство Маяковского, чем раннюю смерть малоизвестного Недоброво.

С другой стороны, если мы придадим больше значения «законодательному» аспекту этого персонажа, если мы при-

мом слова о вересковых полях и пустынях как прямое указание на дальние путешествия и, если, наконец, преждевременная смерть, навлеченная на себя, – не самоубийство, то вполне можно себе представить, что речь идет о Гумилеве, действительно «главном» законодателе в поэтической юности Ахматовой, как и ряда других поэтов.

Иными словами, я не верю, что окончательная идентификация «прототипа» возможна. И Маяковский, и Гумилев, и Недоброво, и, возможно, икс, игрек, зет стоят за образом «полосатой версты», и ни один из них не походит на ахматовский портрет полностью. Но, в конце концов, мы присутствуем на маскараде: здесь каждый может быть не тем, за кого мы его принимаем.

В «Поэме без героя» нет рассказа в традиционном смысле, вот почему она ускользает от экзегетиков, вот почему она вызывала порой протест даже среди близких Ахматовой людей. В одном месте своей «Второй книги» Н. Мандельштам рассказывает, как она и О. Э. однажды подслушали разговор соседского мальчика с приятелем. «Что такое поэма?» – интересовался приятель. «Это стих-рассказ», – ответил малолетний сосед Мандельштамов⁸. Мандельштам, никогда не писавший поэм, пришел в восторг, сказал, что это лучшее определение жанра, какое ему приходилось слышать. Так вот, «Поэма без героя» – это стих, но это не рассказ. И первая причина, почему ее нельзя назвать рассказом, как раз в том, что в ней нет устойчивых героев, о которых нечто рассказывается. Ибо то, что говорилось выше о сочетании отдельных черт разных реальных лиц в персонажах поэмы не следует понимать в плане гоголевской Агафьи Тихоновны («Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...»). Помимо того, что образы героев поэмы намеренно многолики, в поэме затуманено различие «героев» и «адресатов»: повествование часто соскальзывает с формы третьего лица во второе (обращение). Вообще же значительно чаще, чем все остальные герои/адресаты в поэме мелькает один «герой» – личное местоимение второго лица единственного числа, «ты».

«Ты» возникает уже в самом начале поэмы («я на твоём пишу черновике») и возникает на ее страницах постоянно. Это не ново для читателей Ахматовой. Уже ее ранние критики

(Виноградов, Эйхенбаум) отмечали «местоименность» как характерную черту ахматовского стиля⁹. Использование местоимений вместо имен придает интимный характер отношениям Ахматовой с ее читателем: нет нужды в конкретном поименовании вещей в атмосфере взаимного понимания. В этом свете поучительно проследить приключения «ты» хотя бы в одном отрывке из «Поэмы без героя». Например, в Главе 2 Части 1. Здесь мы встречаем «ты» впервые в эпиграфе, из Баратынского: «Ты сладострастней, ты телесней / Живых, блистательная тень». Это «ты» – обобщающего, афористического характера: любая тень, возникающая в любой памяти, говорит поэт, реальнее и привлекательнее, чем любая реальная личность. Однако уже в первых строках главы «ты» конкретизируется:

Распахнулась атласная шубка!
Не сердись на меня, Голубка,
Что коснулась я этого кубка:
Не тебя, а себя казню. (362)

Здесь адресат, которого поэт называет на «ты», вполне ясен – это красавица, драматическая актриса и балерина, из первой главы, Ольга Глебова-Судейкина, она же Психея, она же Путаница (по ее ролям). Но двенадцатью строками ниже мы не сразу понимаем, что «ты» адресованное балерине, относится уже не к Глебовой-Судейкиной:

Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинской сценой prima,
Ты – наш лебедь непостижимый... (363)

«Ты»-Судейкина превратилась в «ты»-Павлова, ведь Судейкина была балерина весьма посредственная, это Анна Павлова была «прима» Мариинской сцены, и это о ее «Умиравшем лебеде» вспоминает Ахматова. Немного дальше референциальность «ты» опять меняется: «Ты сбежала сюда с портрета», – говорит Ахматова (364). Начиная с этой строчки, черты, которые автор придает «ты», заставляют читателя думать скорее о «золотом», чем о «серебряном веке». Да и автор восклицает: «Золотого ль века виденье...» (365). *Danse macabre* придворных, свиданье в Мальтийской капелле и другие образы начала девятнадцатого века заставляют угадывать в новом «ты» Парашу Жемчугову, талантливую крепостную актрису, на которой женился граф Шереметев и которая умерла в рас-

цвете молодости и красоты. Мы ведь помним, что Ахматова пишет свою поэму в «Фонтанном Доме», т. е. в бывшем дворце Шереметьева на Фонтанке, разделенном теперь на советские квартиры. Она не только сочла необходимым указать место написания поэмы в начале, но и взяла фамильный девиз Шереметьевых, *Deus conservat omnia* («Бог сохраняет все»), одним из эпиграфов к поэме. Именно в шереметьевский «Фонтанный Дом» приходят к ней призраки в карнавальных нарядах.

В поэме, где не раз упоминается мистика зеркал, симметричность истории Судейкиной – Князева и Параши – Шереметьева привлекает внимание. Обе пары состоят из прекрасной молодой актрисы и молодого аристократа. Оба романа кончаются ранней трагической смертью одного из любовников. Но, симметрически, в двадцатом столетии погибает мужчина, а в девятнадцатом – женщина. Не удивительно, что в начале второй части, названной (в продолжение той же игры в двойственность, тройственность, множественность) «Решка», редактор Ахматовой, еще один вымышленный персонаж, негодует:

«Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,
Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой... (370)

На это мы можем ответить, что по крайней мере в проанализированном выше отрывке «ты», вероятно, тройственно: а) это романтический образ: тень, которая прелестней реальности, б) реальный друг из прошлого автора, участник трагического события, свидетелем которому автор был, в) историческое лицо, связанное с аналогичной трагедией. Кумулятивно ахматовское «ты» приобретает универсальность и единство. Это единство определяется некоей трагической ситуацией. Однако сказать, что «ты», к которому обращена «Поэма без героя», которое занимает место героя в поэме, это некая трагическая экзистенция, – ничего не сказать.

Точнее будет признать, что неопределенность, загадочность – неотъемлемая часть авторской стратегии Ахматовой. Ахматова всегда оставляет возможность для еще одной догадки, для еще одного толкования или, по крайней мере, ассоциа-

ции в читательском сознании. Так, как только мы распознаем в «золотого века виденье» Парашу Жемчугову, возникает в памяти еще один неназванный образ. Не так уж много Параш в русской литературе (классического периода), и Параша, жертва апокалипсического наводнения в «Медном всаднике», приходит на ум. Не слишком ли мы хватили? Сначала кажется, что слишком, но с усилением Санкт-петербургского мотива в поэме, особенно когда мы доходим до эпиграфа третьей части, «Люблю тебя, Петра творенье!», когда мы вспоминаем, что подзаголовком к первой части Ахматова взяла пушкинское определение жанра «Медного всадника», «петербургская повесть», мы начинаем верить, что наткнулись на еще одно спрятанное зеркало.

Да, собственно говоря, Ахматова из всех сил стремится напомнить читателю о двоичности, троичности, множественности, расплывчатости своих образов¹⁰. После иронически сердитого заявления в предисловии: «Никаких третьих, седьмых, двадцать девятых смыслов поэма не содержит» (353), она то и делает, что указывает на два-три и более «смыслов». Характерна вступительная ремарка ко второй главе первой части: «Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа – она Козлоногая, посередине – Путаница, слева – портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим – Донна Анна...» (362). В начале Ахматова решительно говорит о конкретной Героине (с большой буквы) и тут же разбивает этот образ на три, из которых третий в свою очередь двоится: уж не сама ли автор с ее воспе-той Блоком испанской шалью чудится кому-то в Донне *Анне*?

Средняя часть, «Решка», состоит из 21 строфы, и в конце 14-й – начале 15-й, т. е. в золотом сечении части и всей поэмы – весьма композиционно важное место в поэме, – Ахматова делает следующее признание:

У шкатулки ж тройное дно.

15.

Но сознаюсь, что применила

Симпатические чернила...

Что зеркальным письмом пишу... (373)

Криптография у Ахматовой – не попутная шутка «для немногих», а исключительно важный, может быть, самый важный элемент «Поэмы без героя». На самом деле, своим отрицанием

скрытых смыслов в предисловии Ахматова как раз наталкивает читателя на поиски оных. Так, когда мы читаем во вступительной ремарке в Части 2: «В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки „Реквиема“» (370), мы думаем не о Моцарте или Верди, а об ахматовском собственном «Реквиеме». И действительно, внимательное чтение показывает, что в «Поэме без героя» есть место, абсолютно непонятное для тех, кто незнаком с «Реквиемом». В конце второй части, где слово предоставляется самой поэме, она, поэма, отрицает данное ей ранее автором определение, «стоletняя чаровница», т. е. романтическая поэма с мистификациями в духе девятнадцатого века. Поэма говорит:

Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль,
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль. (374)

Что это за июль такой? Ведь автор упоминал в начале, что поэма «пришла» впервые в новогоднюю ночь. Речь идет, конечно, об июле великого террора, 1938 года. В «Реквиеме» Ахматова пишет:

И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшею стеною¹¹.

Выясняется, что «Реквием» и «Поэма без героя» взаимосвязаны. «Поэма без героя» основана на апокалипсических предчувствиях, «Реквием» – это реальность апокалипсиса. Или можно сказать так: «Реквием» – историческая поэма, в ней Ахматова описывает то, что было (недаром вся поэма написана как бы в ответ на вопрос женщины в тюремной очереди: «А это вы описать можете?»¹²); «Поэма без героя» – исторософская поэма, не столько о событиях истории, сколько о механизме истории, который Ахматова видит в цикличности времен, в бесконечной повторяемости, что и роднит ее с историческим видением Пушкина в «Борисе Годунове» и Солженицына в «Красном колесе». Самую же краткую формулу для исторософского содержания поэмы она находит у Элиота: «В моем начале мой конец» (эпиграф ко второй части).

Я более или менее случайно наткнулся на еще одну криптограмму в «Поэме без героя». Что-то меня оторвало от подготовки к лекции, и, когда я вернулся к своему столу и начал пересчитывать собственные заметки, мне показалось, что что-то тут не в порядке. Я читал: «Петербург состоит из трех частей...», «В Петербурге мы встречаем целую вереницу персонажей...», «В Петербурге нет главного героя в смысле...» Наконец я сообразил, что неверно читаю собственную аббревиатуру. В моем черновике ПБГ означало не «Петербург», а «Поэма без героя». Мне почему-то сразу вспомнился довольно странный, на первый взгляд, ответ, данный Ахматовой ее старинному приятелю Адамовичу. Они встретились в 1965 году, когда Ахматова была в Париже. Адамович, который был наслышан, что нынешняя интеллигенция в Советском Союзе избегает употреблять слово «Ленинград», тем более удивился, что Ахматова так называет свой город. Но она сказала просто: «Город называется Ленинград»¹³. Теперь я понял, что она пыталась сказать, что города, именуемого Петербургом, не существует, областной центр Российской Федерации, в котором она живет, называется Ленинградом.

Но если Deus действительно conservat omnia, то не избирает ли Он поэта исполнителем этой консервативной функции. Город, который назывался Санкт-Петербургом, существует не на берегах холодной и грязной Невы, а в строках ее поэмы, сохраненный навсегда ее гением. Петербург – одна из наиболее очевидных тем и один из наиболее скрытых героев «Поэмы без героя», возможно, ее главный герой в творческом сознании Ахматовой.

Я застолбил свою нечаянную находку («Континент» № 34, 1982, стр. 98) и решил поискать в поэме подтверждений тому, что это не случайное совпадение, что акроним поэмы должен был по замыслу автора совпадать с одной из принятых аббревиатур Санкт-Петербурга (аббревиатура по значащим частям слова Санкт-Петер-бург более принята). С чего начать? Я уже раньше обращал внимание на то, что слова «у шкатулки тройное дно» имеют многократное, чисто формальное подтверждение в тексте поэмы: тройственность играет в поэме исключительную роль. В ней три посвящения, три части и, согласно «редактору», три темы. Эпиграфы в большинстве случаев тоже даны по трое. Своеобразная строфа, которой написана поэма, состоит из двух терцин, а метрически она написана

трехударным дольником, причем некоторые важные по смыслу строчки и не дольником, а чистейшим анапестом («Только зеркало зеркалу снится, / Тишина тишину сторожит»; 372: ---'---'---'---'---'---'). Удивительно часто однородные члены предложения даны по три. Глаголы: «каменею, стыну, горю» (357), «отшатнуться, отпрянуть, сдаться» (357), «не клянет, не молит, не дышит» (361). Или существительные: «маска это, череп, лицо ли» (358), «клокотанье, клекот и стон» (369), «о любви, измене и страсти» (376). Прилагательные: «но беспечна, пряна, бесстыдна» (360), «крамольный, опальный, милый» (376). Это только несколько примеров из множества. Иногда эти тройчатки следуют одна за другой, как в последней части, где автор обращается непосредственно к городу: «Ты крамольный, опальный, милый, / Побледнел, помертвел, затих» (376). Я предположил, что если эти тройственные сочетания имели для Ахматовой такое конструктивное значение, то очень может быть, что среди них я найду подтверждение своей догадке. И действительно, акроним (или своего рода акростих) заглавия был повторен в часто цитируемом описании города из третьей главы первой части:

И всегда в духоте морозной.
 Предвоенной, блудной и грозной,
 Жил какой-то будущий гул.
 Но тогда он был слышен глуше,
 Он почти не тревожил души
 И в сугробах невских тонул. (367)

Мы находим здесь характерную для поэмы тройчатку: «Предвоенной, блудной и грозной», и начальные буквы этих трех эпитетов те же П, Б, Г, что и начальные буквы трех слов названия. Более того, эта же строка содержит почти точную анаграмму всего слова «Петербург»:

ПРЕДвоенной, БЛУдной и ГРОзной.

(Только глухую Т здесь заменяет звонкая Д.) В звукописи последующих четырех строк продолжают звучать «петербургские» звуки: п, б, г, у, р, т, е.

В заключение вернемся к «ты» как основному персонажу в поэме. В эпилоге город, Петербург, становится еще одним референтом «ты»: сначала в пушкинском эпиграфе, «Люблю тебя, Петра творенье!», потом в словах прощания самого

автора: «Ты, крамольный, опальный, милый». Теперь к покойным личным друзьям Ахматовой, к литературным героям и поэтам прошлого, объединенным «ты», прибавляется и ее город.

Читатели Бахтина и Бубера знают, что в каждом «ты» имплицировано «я» и наоборот. Но статус «я» в поэме значительно ниже статуса «ты». Ахматова чаще всего избегает здесь говорить от первого лица. В самом деле – кто говорит в поэме? В начале, возможно, автор, но уже в конце первой главы дана ремарка «слова из мрака». «Я» в «словах из мрака» – это уже не тот индивидуум, чей голос мы слышали в предыдущих строках. Затем следует «Интермедия», в которой от первого лица говорят еще два не идентифицируемые персонажа. Ремарка перед второй главой объясняет нам, что речь будет вести не автор, а некий голос: «Ей чудится голос, который читает» (362; курсив мой. – Л. Л.); «голос» тоже говорит не от себя, а читает чей-то текст. Согласно ремарке, предшествующей третьей главе, речь там ведет Ветер: «Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет...» (366). Совсем уж интересна ремарка в эпилоге. Там не автор, а «голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит...» (375) Лишь в нескольких отрывках поэмы мы имеем дело с традиционным автором-повествователем, как в тех традиционных произведениях от первого лица, где все дано через восприятие некоего «я», где «я» находится на особом положении. В «Поэме без героя» «я» автора помещено на равных среди других «я». Более того, одно из других «я», сама поэма, обращается к автору как к «ты»: «А твоей двусмысленной славе, / Двадцать лет лежавшей в канаве, / Я еще не так послужу...» (374).

Таким образом сама Ахматова возвращается в мир своих персонажей, в тот Петербург, столицу Серебряного века, спасенный ею от забвения и смерти.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, стр. 353. (Все дальнейшие ссылки на это издание даны в тексте.)

² Надежда Мандельштам. Вторая книга. Париж, «ИМКА-Пресс», б/г., стр. 489.

³ См.: Р. Тименчик. «К анализу Поэмы без героя А. Ахматовой». ТГУ, Материалы XXII научной студенческой конференции, стр. 122 –

123. Ср. строфу Кузмина во «Втором ударе» «Форель разбивает лед»:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги,
Волки, снег, бубенцы, пальба!
Что до страшной, как ночь, расплаты?
Разве дрогнут твои Карпаты?
В старом роге застынет мед?

⁴ Д. С. Лихачев. Литература – реальность – литература. Л., 1984, стр. 155 – 160.

⁵ Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, II. Париж, «ИМКА-Пресс», 1980, стр. 3.

⁶ Анна Ахматова. Сочинения. III. Inter-Language Literary Association, 1968, pp. 421 – 456.

⁷ Корней Чуковский. Собрание сочинений. V. М., 1967, стр. 750.

⁸ Надежда Мандельштам. Вторая книга, стр. 475.

⁹ Б. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969, стр. 141 – 142.

¹⁰ Статья Ю. И. Будыко «Я послал тебе черную розу в бокале...» («Русская литература», № 4, 1984, стр. 217 – 221) еще раз доказывает, что идентификация ахматовских «прототипов» – это игра, не имеющая конца.

¹¹ Ахматова. Сочинения, I, стр. 360.

¹² Там же, стр. 353.

¹³ Георгий Адамович. Мои встречи с Ахматовой. – «Воздушные пути», V. Нью-Йорк, 1967, стр. 109.

Вышла в свет книга Анатолия Ведрицкого **«Происхождение и развитие человечества»** (180 стр.), в которой раскрыта реальность сотворения человечества наиболее совершенным существом во Вселенной (Богом) и Его косвенное влияние на развитие человечества в прошлом, настоящем и будущем времени, а также предопределённая роль в этом евреев.

Заказы направлять:
Ведрицкий, РОВ 28065, Тель-Авив.

Литературный архив

Виктор Н е к р а с о в

80 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Вот уже прошло семь лет, как ношу я на лацкане своего так называемого парадного пиджака крохотный значок. Вообще-то я к этому виду украшений отношусь с предосуждением, но этот значок ношу. Он изображает маленькую лилию, а на ней Георгий-Победоносец и два слова: «Будь готов!» Значок этот торжественно мне вручили в далеком городе Мельбурне в 1980 году австралийские русские скауты – оказываются, существует там небольшой отряд их. И преподнесли они потому, что в незапамятные времена и я был скаутом.

Как ни странно, но до появления на свет нынешних пионеров, которые назывались тогда «юные спартаковцы», существовали в Советской России скаутские отряды. И в одном из них, под названием ОСГН – Отряд скаутов гимназии Науменко, – состоял и я. Было нам лет по 12-13, ходили мы в походы, разводили костры, изучали топографические карты, вязали какие-то узлы – короче, было очень весело. Никакой политической мы не занимались, тем не менее, нас разогнали, а начальника отряда Колю Свенсона посадили. Его помощника Колю Грюнера тоже. И все это, потому что скаутизм – затея, мол, буржуазная и родоначальником этого движения был английский генерал Баден-Пауэлл.

Недавно я узнал, что в этом году отмечается 80-летие скаутского движения. Днем его рождения считается ночь на 31 июля 1907 года, когда на маленьком острове Броунси, у входа в порт Пул на юге Англии, размером 1,5 x 2 километра, покрытом лесом и окруженном пляжами, собралось 20 мальчиков в возрасте 10-12 лет. Руководил этой встречей сэр Роберт Баден-Пауэлл, пятидесятилетний герой английских колониальных войн. Начал он свою военную карьеру в 1876 г., участником англо-афганской войны, потом воевал в Индии, затем с зулусами в Натале, но особенно прославился во время англо-бурской войны. Командовал он тогда гарнизоном осаж-

денного бурами города Мафекинг, который держал оборону 217 дней между октябрём 1899 и маем 1900 года.

Именно там и тогда пришла ему в голову мысль использовать детей в качестве разведчиков. Десяти-двенадцатилетние мальчики перебирались через линию фронта пешком или верхом на осликах и возвращались, собрав кое-какие сведения в тылу противника. «Глазами и ушами нашей армии» называл тогда Баден-Пауэлл этих маленьких разведчиков, иными словами шпионов. Есть даже легенда, что это именно они помогли английским войскам, шедшим на помощь осажденным в крепости, какими-то путями, через леса и заросли, добраться до нее. Бурам так и не удалось овладеть Мафекингом, и за героическое сопротивление Баден-Пауэлл получил личную благодарность от королевы Виктории и стал национальным героем.

Вернувшись в Англию, прославленный герой решил свою идею с юными разведчиками превратить в некое движение.

Идея его – приблизить детей к природе. Приучить их любить ее и разбираться в ней. От новичков требовалось немного – уметь самостоятельно готовить пищу и оказывать медицинскую помощь. Все остальное прививалось уже в отряде.

Двадцать мальчиков, сидевшие вокруг костра в ту памятную ночь, провели на острове целую неделю. Баден-Пауэлл, подружившись к тому времени со знаменитым писателем Сетон-Томпсоном, превратил своих юных друзей в маленьких индейцев. Они должны были разбираться в следах животных, находить дорогу по звездам, беззвучно ползать в кустах, уметь читать карту, подражать крикам лесных животных. Все это было невероятно увлекательным, к тому же за вечерним костром он рассказывал им захватывающие истории из своей военной биографии. У палатки своей он водрузил рядом с английским флагом простреленное пулями знамя защитников Мафекинга.

В эту-то неделю на крохотном острове Броунси и родился, собственно говоря, скаутизм. «Скаут» – по-английски «разведчик».

Придумал генерал-энтузиаст маленьким своим разведчикам и специальную форму – рубашку-хаки с карманами на груди, короткие штанишки и широкополую шляпу-стетсон, которая стала чем-то вроде символа скаутизма. Он же выбрал и

эмблему – маленькую лилию, вроде королевской французской, и придумал лозунг «Будь готов!». Думаю, что только он и отзыв «Всегда готов!» сохранились у нынешних наших пионеров от истинных скаутов.

Нужно сказать, что зародившееся движение не всеми одинаково было принято на Западе. Церковь была против, считая, что вся эта затея слишком милитаристская, тем не менее движение распространилось по всему миру. В 1908 году Баден-Пауэлл написал книгу «Мальчики-разведчики», переведенную на все языки (кроме русского, естественно) и ставшую библией мирового скаутизма.

О днях, когда я был скаутом, вспоминаю всегда с нежностью. В начотов – начальников отрядов – были влюблены, значок моего патруля – все они назывались именами животных, мой был «Мунгус» – хранили, как зеницу ока. Вообще было весело и увлекательно. Войной и не пахло, а построено все было на соревновании. Ну, а Майн-Рид и Фенимор Купер? Конечно же. Не запрещать же их. Пионером я никогда не был, но что-то никакой влюбленности в свою пионерскую организацию у нынешних пионеров я до сих пор не обнаружил.

Единственным, чего нам не хватало, и мы умирали от зависти, – это стетсоновской шляпы и маленькой лилии на груди. Но именно в день, когда нам должны были ее торжественно вручить, нас распустили, а «начотов» посадили. Коля Свенсон из лагерей так и не вернулся, а Коля Грюнер, отсидев положенное, вернулся в родной Киев. Недавно я узнал, что он умер. Ему было уже за 70, но он остался скаутом. Погиб на Кавказе, во время туристского похода, утонул в бурной, горной речке.

За восемьдесят лет скаутизм охватил весь мир. Всего скаутов более 25 миллионов. Вряд ли в нынешних войнах мальчики верхом на осликах перевозят секретные данные через линию фронта. Этим занимаются другие и иными способами. Но именно эти мальчики, рожденные в огне войны, оказались родоначальниками, а военные акции, в которых они принимали участие, – первым толчком к организации всемирного движения, в истоках которого дружба, взаимная выручка и любовь к природе. Мир противопоставлен войне. И обязаны мы этим, как это ни поразительно, боевому генералу сэру Роберту Баден-Пауэллу.

27. 7. 87 г.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУС- СКОЙ КУЛЬТУРЕ И РАЗЛИЧНЫМ АСПЕК- ТАМ СОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТАЛИИ (в 60 км к северу от НЕАПОЛЯ) С 12 ПО 24 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА

Строго ограниченное число участников (всего три группы по 5-6 человек в каждой). Уровень знания русского языка: минимум 1 семестр университета или 2 семестра вечерних курсов. Русская атмосфера. Сочетание занятий с отдыхом на море. Жилье и трехразовое питание по классу люкс. Одноэтажные виллы с террасами, конференц-зал, ресторан, два плавательных бассейна, оборудованный песчаный пляж, бар с танцевальной музыкой, сауна, спортивный комплекс, прокат велосипедов. Экскурсии с русскоговорящими гидами: на Капри, в Помпею, в монастырь Монте-Кассино, возможность организации поездки в Рим.

Ежедневные занятия языком, доклады с дискуссиями, диапозитивы, прослушивание записей русской музыки, просмотры видеофильмов. Кружки: научно-технической терминологии, русской кулинарии, западноевропейских и бальных танцев. Преподаватели все русские с научными степенями. Возможность индивидуальных занятий языком для отстающих.

ПОЛНАЯ ОПЛАТА (жилье, питание и обучение) за весь срок – 950 немецких марок в комнате на троих, суточная доплата за комнату на двоих – по 10, на одного – по 30 немецких марок.*

Высылка дополнительных данных о курсе по первому требованию. Обращаться: Ирина Борисовна Эльконин-Юханссон (телефон – Стокгольм 50 42 06, адрес – Irina Elkonin-Johansson, Kronobergsgatan 25, 11233 Stockholm, Sverige).

* Во французской валюте соответственно: 3 140, 34 и 102 франка.
В валюте США: 550, 6 и 18 долларов.
В шведской валюте: 3 450, 37 и 111 крон.

Колонка редактора

ЧУДО НАШЕГО ВЫЖИВАНИЯ

Помнится, где-то в самом начале шестидесятых Анна Ахматова опубликовала прекрасный цикл стихов в одном весьма конформистском советском издании, что вызвало известное недоумение в среде нашей либеральной интеллигенции. И тогда, в ответ на упрек одной из ее поклонниц, великая поэтесса так определила свое кредо по отношению к той иерархии ценностей, которую эта интеллигенция считала для себя в те поры чуть ли не священной:

– Я старый человек, и у меня нет времени устанавливать микроскопическую разницу между вашими прогрессивными и реакционными органами печати.

С тех пор прошло четверть века. И каких! «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына вынес окончательный моральный приговор тоталитарной Системе и радикально изменил к ней отношение всего мыслящего человечества. Мировое признание приобрели книги Пастернака и Булгакова, Бродского и Шаламова, Владимова и Домбровского, Войновича и Аксенова, возвратившие русскую литературу к ее вечным проблемам – Добра и Зла, Правды и Справедливости, Милосердия и Добра. В эти же годы отправлялись в лагеря, психбольницы или эмиграцию многие из тех, кто еще совсем недавно украшал собою ту же советскую культуру. Казалось бы, после всего этого наша отечественная интеллигенция, обретя наконец в эпоху гласности возможность явить цивилизованному миру новый взлет творческого духа, наконец высвободит в себе всю мощь своего заглохшего было потенциала и удивит его еще небывалыми дотоле открытиями. Но, как это ни странно, оказалось, что и в этих, в высшей степени благоприятных, условиях нашей творческой интеллигенции и, в первую очередь, писателям нечего сказать своей аудитории, кроме того, что уже было сказано, а затем и пересказано в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Страницы печатных изданий, экраны и подмостки сегодня буквально заполонили псевдоглубокомысленные описи о «культе личности», «восстановлении ленинских норм», «борьбе между но-

ваторами и ретроградами в науке», «разоблачениями бюрократии» и «обновлении сельского хозяйства». Даже такой, понастоящему талантливый, фильм, как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, не вышел за рамки антисталинской аллегории. Таким образом, эпоха гласности лишь беспощадно обнаружила духовную нищету нашей творческой интеллигенции, застывшей в непробиваемой скорлупе проблематики тридцатилетней давности.

Она – эта интеллигенция – словно и не заметила, что за минувшие десятилетия в стране выросло поколение, которое озабочено не волнениями романиста Анатолия Рыбакова по поводу сталинских репрессий тридцатых годов, и не переживаниями его коллеги Владимира Дудинцева по адресу затравленных лысенковцами научных оппонентов, и уж, конечно, не очередными поэтическими курбетами Евгения Евтушенко, а вопросом вопросов нашего не столь прекрасного, но яростного времени: что же в конце концов все-таки с нами случилось, и как мы дошли до жизни такой?

Легко с великодушного разрешения властей пролить слезу над невинно загубленными большевиками, вроде Троцкого, Бухарина, Тухачевского и других героев Гражданской войны, возмутиться гибелью крупного ученого Николая Вавилова, ужаснуться делу врачей-отравителей или в который уже раз посожалеть о вымирании русской деревни. Гораздо труднее рассказать о том, сколько безвинной крови пролили первые до того, как сами оказались в числе сталинских жертв, какой ценой удалось второму достичь научного Олимпа, по каким причинам многие из третьих задолго до собственной беды в качестве экспертов и свидетелей обвинения услужливо топили своих бывших учителей на процессах тридцатых годов и какую роль сыграло наше крестьянство в разрушении (в особенности после Февраля) русского государства. Давайте же наконец договаривать вещи до конца, хотя бы здесь – на свободном Западе.

Пока наша отечественная литература не ответит, если не обществу, то хотя бы самой себе на все эти «проклятые» вопросы, она будет обречена обслуживать прагматические нужды официальной пропаганды в полном соответствии с очередными решениями очередного партийного съезда.

Недаром во главе сегодняшней эпохи «гласности, перестройки и ускорения» стоят те же самые люди, которые у нас

в стране во все времена шли впереди прогресса: славили целину и пропагандировали разведение кукурузы на Северном полюсе, восторгались космическими достижениями и литературным гением Леонида Брежнева, травили Андрея Сахарова и проклинали Александра Солженицына. Убежден, что, когда придет пора, они примутся хоронить нынешнюю оттепель с тем же воодушевлением, с каким сегодня клянутся ей в безоглядной лояльности.

И все же я абсолютно уверен, что рано или поздно ответы на эти вопросы будут даны. Страна такого масштаба и такой судьбы не может не явить нам адекватных ее историческому значению талантов. Помнится, еще без малого пятнадцать лет назад, расставаясь с Союзом советских писателей, я писал в своем прощальном заявлении:

«...в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчишки, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сократовские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь, — они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков».

Эту уверенность в себе я сохраняю до сих пор. Я верю, что недалек тот день, когда у нашего нынешнего отечественного читателя появится тот самый писатель, которого он сегодня ждет и который ответит ему на все волнующие его «проклятые» вопросы современности. И не один. Какими нелепыми и жалкими, уверяю вас, покажутся нам тогда нынешние упражнения советских литературных борцов с «культом личности», сентиментальные слюни о безвинных российских пейзажах и спекулятивные поделки на христианскую тему, выходящие нынче из-под тяжеловесной руки некоторых балующихся литературой партийных номенклатурщиков.

Но путь такого писателя к своей аудитории будет далеко не легким. И не только потому, что между ним и ею стоит тоталитарная система со всем ее всеобъемлющим карательным аппаратом: пример Александра Солженицына показывает, что преодоление этой преграды возможно. Куда труд-

нее, и об этом свидетельствует опыт того же Солженицына, окажется преодолеть сопротивление не только своего собственного, но западного истеблишмента. На протяжении почти всех семидесяти лет существования тоталитарного монстра определенная, но весьма влиятельная часть западной интеллектуальной элиты делала все от нее зависящее, чтобы обелить его преступления: Октябрьский переворот, голод в Поволжье и на Украине, насильственную коллективизацию, московские процессы, антисемитские вакханалии конца сороковых – начала пятидесятих годов. Трогательная верность собственным иллюзиям всегда была для нее дороже чужой крови.

К сожалению, в наши дни ее легкое протрезвление после Будапешта и Праги, Сахарова и Солженицына, Афганистана и «Солидарности» вновь сменилось радужной эйфорией, вызванной санкционированной властями гласностью в Советском Союзе, позволяющей ей восстановить наконец утерянный было душевный и духовный комфорт.

Совместные встречи, конференции, форумы следуют друг за другом. Вино льется рекой, закуска без ограничений и лучшего качества, тосты – один другого возвышеннее. Бывший английский писатель целуется с бывшим английским шпионом, работник Госдепартамента с сотрудником КГБ, ведущий американский телеобозреватель с матерым советским чиновным дезинформатором, французский епископ с бонзой из ЦК КПСС. На глазах у всего мира развернулось все-ленское братание интеллектуальных оппортунистов, если не сказать больше. И что им до Афганистана, что им до Польши, что им, наконец, до судьбы ста четырнадцати народов и народностей советской империи. Слепцы и полезные идиоты всех стран, соединяйтесь!

Господи, как это похоже на финал «Скотского хутора» Джорджа Орвелла!

В своем ответе газете «Московские новости», обвинившей его в ретроградстве, Василий Аксенов писал:

«Иные скажут, что оппозиция (применяю это термин для простоты, хотя сам себя к оппозиции причислить не могу хотя бы из-за недостатка времени) отвергает весь послеоктябрьский опыт России, отрицает всякий советский вклад в современную цивилизацию. Это неверно. В российском народе за последние семь десятилетий накопился огромный нравствен-

ный опыт, он показал как бездонность падений, так и чудеса выживания. Отрицательный опыт для цивилизации иногда может стать важнее положительного, а что может быть более весомым для отвержения нахрапистого лжепророчества, чем трагическая судьба?»

Я убежден, что только в творческом осмыслении этого опыта и возможно подлинное возрождение нашей литературы и что только в этом залог ее завтрашней судьбы.

Я далек от мысли, что литература призвана и может изменить мир, тем более мир современный, смертельно пораженный, если так можно выразиться, моральным СПИДом, но я глубоко убежден в ее неистребимости, а пока жива литература, человек еще способен к сопротивлению. Поэтому в заключение, несколько перефразируя Декарта, я позволю себе утверждать:

– Я мыслю, значит – я сопротивляюсь!

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

Клод Симон, Ирина Муравьева

Поэзия:

**Бахыт Кенжеев, Марина Тёмкина,
Тимур Кибиров**

Публицистика:

**Валерий Сойфер, Иван Карягин,
Джордж Орвелл**

РУССКИЕ КНИГИ

В связи с падением курса доллара
выгодно покупать книги, изданные в США:

Джон Баррон. *Пилот МИГа – последний полет лейт. Беленко*

Е. Гинзбург. *Крутой маршрут* – в 2-х т., предисловие В. Аксенова

А. Кузнецов. *Бабий Яр*. 480 стр.

А. Гладиллин. *ФССР – Франц. Сов. Соц. Республика*, 170 стр.

В. Некрасов. *По обе стороны стены*, 214 стр.

С. Бадаш. *Колыма ты моя, Колыма...*

С. Пушкирев. *Роль Православной Церкви в истории России*

В. Давац, Н. Львов. *Русская армия на чужбине*

А. Вербицкий. *Исповедь бродяги*, 200 стр.

Э. Дрейцер. *Пещера неожиданностей*

В. Завалишин. *Казимир Малевич* – большой формат, илл.

А. Кторова. *Лицо Жар-Птицы*, 224 стр.

В. Петровичев. *Осень века* – стихи, 152 стр.

В. Крейд. *Восьмигранник* – стихи

Р. Яров. *Музыка для усталых любовников* – рассказы

Аум № 1 – эзотерический журнал, 268 стр.

Армянское радио – 1400 анекдотов

Л. Троцкий. *История русской революции* – 1407 стр.

В. Максимов. *Заглянуть в бездну* – роман о Колчаке

В. Высоцкий. *Памятник* – подарочный альбом из 12 кассет

Наши книги можно приобрести в Европе также на книжном складе *Нейманиса* и на складах издательств «*Посев*» и «*ИМКА-Пресс*».

Каталог *Русские книги-86* и список книг по тайноведению и эзотеризму высылаем по требованию.

EFFEKT PUBLISHING, Inc.
Russian Books Printed Outside the USSR
501 Fifth Ave. # 1612
New York, NY 10017 U.S.A.

Наша почта

«НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»

«Литературная газета» от 19 августа минувшего года под обособленной рубрикой «субъективные заметки» опубликовала статью «Цыплята белые, цыплята черные» художника Ильи Кабакова. Это первая публикация выдающегося мастера в советской прессе, известного в большей степени по материалам журнала по искусству «А...Я», выходящего до недавнего времени в Париже под редакцией художника-эмигранта Игоря Шелковского, а также блестящим эссе Кабакова, напечатанным в номерах этого же издания.

Как предвещает «Литературная газета», заметки «открывают новую тему, *хотя проблема, которой она посвящена, возникла давно* (курсив мой. – И. Л.-Л.): какими должны быть взаимоотношения между „официальной“ и „неофициальной“ культурой?»

Статья поднимает болезненные и порой трагичные явления изобразительного искусства, особо остро стоящие в советской культуре. «Произведения, – пишет Кабаков, – не укладываемые в прокрустово ложе „академизма“, лишались доступа к зрителю, который в течение последних десятилетий периодически получал только негативную информацию – в стиле уголовной хроники или «охоты на ведьм» – о существовании некоего омерзительного явления, то ли модернизма, то ли авангардизма... в общем, чего-то неприличного, на что ни в коем случае нельзя смотреть, но что непременно следует осуждать».

Однако, независимо от злободневности проблем и прямо поставленных этических вопросов автора, статья ставит другой вопрос, на сколь в согласованности остается Кабаков-художник, принадлежащий не к массовой, а элитарной культуре, Кабаков-тактик и Кабаков-публицист? Не нанес ли он отдельными нюансами ущерб сложившемуся образу мастера, творчество которого неотделимо от его мировоззрения?

Но прежде чем разобраться в противоречиях Кабакова, а они в статье очевидны, попытаемся понять, что заставило «Литературную газету» предоставить слово представителю

альтернативной культуры, замалчиваемому с изрядным упрямством по крайней мере четверть века. Между прочим, представляя Кабакова читателям, редакция еженедельника в скобках отмечает: «его персональные выставки проходили в Берне, Марселе, Дюссельдорфе, Париже, Базеле». Безымянность выставочных залов напоминает словарь Вани Жукова из «письма на деревню, дедушке», хотя и дает ощущение конвертируемой валюты.

Персональные выставки И. Кабакова в европейских музеях: в Берне – Кунст Холле, Марселе – Кантини, Дюссельдорфе – Кунст Вирен – не свидетельствуют ли они о том, что слава и признание на родину приходят только с Запада? Ведь автор «Цыплят белых...» и сам понимает бессмысленность отмеренного границами брежневской конъюнктуры «салона независимых» в Москве на Малой Грузинской. Горкомовские залы, где выставляли неофициальных художников и среди них Кабакова, известные длинными вереницами многочасовых очередей зрителей, были открыты как компромисс под давлением международной прессы, предавшей гласности беспрецедентные события «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок в сентябре 1974 г. Правда, тогда Кабаков отказался от участия в Измайловской выставке. Тем не менее, невзирая на популярность Горкома художников, Кабаков подчеркивает: «художники этого (неофициального) направления были лишены возможности в открытой экспозиции установить контакт со зрителем».

С другой стороны, необходимый контакт советского альтернативного искусства со зрителем был установлен на Западе. Ему во многом способствовали успехи художников-эмигрантов. Среди них заметным событием стала передвижная выставка «Соц-арта». В столице мировой культуры – Нью-Йорке – в Новом музее современного искусства были показаны работы В. Комара/А. Меламида, А. Косолапова, Л. Ламма, Л. Сокова, группы «Страсти по Казимиру» и единственного мастера из Москвы – Э. Булатова¹. Художники альтернативной изобразительной культуры из всеядной орбиты галерейных помещений вышли на музейный уровень. На выставке, вот уже два года путешествующей по музеям и центрам искусства США и Канады², Запад увидел не случайных одиночек – «не беспризорных детей» безродного племени, а плод большой традиционной культуры, способной в условиях неза-

висимости глубже осмыслить пружины и возможности ее современного развития.

Брокерская компания «Лайве и Ричард» в Нью-Йорке, в которую теперь поступают произведения искусства из СССР, надеялась отобрать в Москве работы уровня выставки «Соц-арта». Об этом пишет корреспондент газеты «Ньюсдей» Амей Валлач в статье «Советское искусство ищет аудиенции», знакомя нью-йоркских читателей и с проблемами, возникшими между американскими и советскими партнерами, и с новыми поступлениями³. В результате двухсторонней договоренности, права на продажу работ И. Кабакова, Э. Булатова, Вулаха в США принадлежат западногерманскому банкиру Фолькету Клауке, интересы которого представляют «Лайве и Ричард».

Факт музейной экспозиции «Соц-арта», широко освещаемый в художественной и массовой печати Америки⁴, не мог быть не замечен в СССР, где со значительным вниманием следят за жизнью эмиграции. А успехи эмигрантов заставляют советскую администрацию быть сговорчивее с внутренним инакомыслием, т. е. получать за нее валюту как в случае с вышеупомянутыми мастерами. И, уже признав их как экономическое достоинство, превратить на страницах «Литературной газеты» ранее «лишних людей» в «известных художников». Или предпочесть «субъективные заметки» Кабакова публикациям в журнале «А...Я», где его идеи не подлежат внутреннему голосу цензуры.

В статье «Литературной газеты» Кабаков пишет: «Нездоровое положение в области нашего искусства вызвало новую волну эмиграции среди художников, в результате которой мы потеряли таких мастеров, как Эрнст Неизвестный, Юрий Куперман (известный на Западе как Ю. Купер), Михаил Шемякин, Олег Целков и другие».

Подобное заявление представляется мне по ряду причин абсурдным. Во-первых, Кабаков опровергает самого себя, приводя пример трагической судьбы художника Юло Соостера, который последние полтора десятка лет своей жизни работал в Москве, но не был допущен ни на одну из официальных выставок и после смерти признан одним из трех классиков эстонского искусства. Илье – близкому другу Юло Соостера – хорошо известно, что после освобождения из лагеря ему было запрещено жить в Эстонии и жизнь в Москве, в семье жены, была для него равноценна эмиграции. Однако теперь его

работы «приобретены ведущими музеями Эстонии, представляются на ведущих выставках». Правда, этому предшествовали не московские успехи, а приобретение произведений еще при жизни Соостера западными коллекционерами, большей частью из соседней Швеции, где живет большая колония эстонских эмигрантов.

Во-вторых. Потеряло ли голландское искусство или испанское от жизни Ван Гога или Пикассо во Франции? И что приобрело бы советское, если бы творчество русского авангарда начала века (тех, кто остался в России) не обрело бы популярности на Западе? Не говоря о том, что мировое искусство полнокровно развивается на почве интернациональных контактов, в СССР почти полностью отсутствующих в течение пяти десятилетий.

В-третьих. Разделение художников-эмигрантов на персоналии и «другие» также противоречит его собственным протестам против «табели о рангах» – «монопольного права, – как пишет Кабаков, – на художественную правду» Союза художников СССР. А если и была необходимость из тех сот мастеров, работающих в эмиграции, выделить отдельные персональные имена, что, строго говоря, в контексте «Цыплят белых, цыплят черных» видится бессмысленным, то, наверное, автору заметок следовало бы говорить о тех, кто ближе всего ему в ракурсах творческого мировоззрения. Здесь я имею в виду работы Кабакова «Комната „Люкс“», «Гастроном» – 1981 г., «Жук», «Дом-музей „Усадьба Абрамцево“» – 1982 г., «Первый снег», «Проверена» – 1983 г., а именно произведения последних лет, пародирующие сталинский нео-академизм, то, что он сам называет «мертворожденным и пустым, помпезным монументом», – работы, опубликованные впервые в журнале «А...Я» № 5 в 1984 г. и годом позже начавшие экспонироваться в европейских музеях.

Впрочем, на фоне других серьезных аспектов взаимоотношения двух советских культур, акцентированные мной частности, на первый взгляд, могут показаться несущественными. Но не портит ли пресловутая «ложка дегтя бочку меда», и не заставляет ли она задуматься о том, что «нет пророка в своем отечестве»?

Иннеса Левкова-Ламм

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Выставка «Соц-арт» была открыта в апреле 1986 г. К ее открытию был выпущен каталог с репродукциями работ, библиографическим материалом о художниках и со статьями искусствоведов Джона Болта и Маргариты Тупицыной.

² После экспозиции в Новом музее современного искусства в Нью-Йорке выставка была показана: «Гленблов мюзийум», Калгари, Канада, «Эверсон мюзийум», Сиракьюз, штат Нью-Йорк, «Центр современного искусства» в Цинциннати, Огайо, «Страпфорд галлери», Онтарио, Канада.

³ «Ньюсдей», 23 февраля, 1987 г., статья Амей Валлач «Советское искусство ищет аудитории».

⁴ Среди множества прочих публикаций: Грас Глюк, «Нью-Йорк таймс», «Гайд мэгазин», 4-10 мая, 1986 г., Давид Лурье, «Соц-арт», «Артс мэгазин», июнь 1986 г.



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: *Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. — Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) — Лучшее из журналов Свободного мира. — Самиздат. — Роман в продолжениях. — Письма читателей. — Дискуссии без цензуры. — Новые рассказы и повести несоевских русских авторов. — Что происходит по ту сторону кордона и др.*

Свободу Корнелю Моравецкому

Недавно из Польши поступило тревожное известие: после шестилетних розысков органами государственной безопасности выслежен и арестован Корнель Моравецкий – председатель «Сражающейся Солидарности».

Корнель Моравецкий – математик, преподаватель Вроцлавского политехнического института. С 1987 года он активно включился в создание польской независимой печати. В 1979 году он основал журнал «Нижнесилезский бюллетень» и до ареста оставался его главным редактором. Моравецкий был делегатом 1-го съезда «Солидарности» от Нижней Силезии. Декабрьский военный переворот 1981 года вынудил его уйти в подполье, где он в апреле 1982 года создал организацию «Борющаяся Солидарность».

«Борющаяся Солидарность» избрала ненасильственные средства активного сопротивления антирабочему режиму: пропаганду, демонстрации, забастовки. С первого дня своего возникновения она принципиально отказалась от какого-либо компромисса или диалога с властями, считая, что те, по самой своей тоталитарной природе, неспособны вести с оппозицией подлинно конструктивные переговоры и заинтересованы лишь любыми средствами выиграть время для дальнейшего укрепления своей однопартийной диктатуры.

Ничего удивительного, что власти сделали все от них зависящее, чтобы скомпрометировать «Борющуюся Солидарность» в глазах польской и мировой общественности, представляя ее как подрывную и экстремистскую организацию.

Корнель Моравецкий был арестован 9 ноября 1987 года. С момента ареста никто ничего о нем не знает. 11 декабря его дочь пыталась получить свидание с отцом, но тюремная администрация ей отказала. Когда Анна Коваль-Моравецкая выразила свои опасения относительно здоровья отца, принимавший ее представитель тюремной администрации цинично заметил: «Все, что я могу вам сообщить, — что ваш отец не болен венерическими заболеваниями».

Вполне вероятно, что с Моравецким будут обращаться жестко и даже жестоко. В Польше ходят слухи, что в страну для участия в следствии прибыла специальная группа из КГБ. С другой стороны, существуют опасения, как бы его не перевезли в Москву.

Цинизм тюремной администрации в отношении Корнеля Моравецкого показывает, что его жизнь находится в опасности.

Мы обращаемся к западной общественности и правозащитникам в Восточной Европе и Советском Союзе с призывом поднять свой голос в защиту нашего польского друга. Необходимо использовать сегодняшнюю гласность для его скорейшего освобождения. Борющаяся солидарность всех сил свободы и демократии — гарантия победы над тоталитаризмом.

Уильям Бакли-младший, Ценко Барев, Николас Бетелл, Аллен Блум, Леон Бубьен, Армандо Вальядарес, Корнелия Герстенмайер, Наталья Горбаневская, Жан-Мари Дайе, Милован Джилас, Пьер Дэкс, Роберт Конквест, Эдуард Кузнецов, Джим Куртер, Владимир Максимов, Арман Малумян, Николаус фон Мах, Жак Микель, Нгуэн Ван Лок, Александр Ниссен, Майкл Новак, Массимо Пини, Владан Радоман, Жан-Франсуа Ревель, Франсуа Фейто, Мари-Мадлен Фуркад, Ха Нгуэн Тронг, Сидней Хук, Юзеф Чапский

ГЛАСНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЕЛУ МИРА

Обращаем внимание общественности на один новый аспект внутреннего развития в СССР, вызванный политикой гласности, осуществляемой Горбачевым. В последние годы резко усилился интерес советских людей к любой свободной литературе — не только к книгам, газетам и журналам, выходящим на русском языке за рубежом, но и к изданиям на тех иностранных языках, которыми в той или иной мере владеют советские граждане. Вся эта литература разными путями провозится или доставляется в Советский Союз, ходит по рукам, зачитывается до дыр. Огромным успехом там пользуются книги русских писателей — изгнанников — Солженицына, Максимова, Владимова, Аксенова, Некрасова, Войновича и других, которые, несмотря на гласность, советскими издательствами не печатаются. Их книги всегда пользовались исключительным спросом, нередко перепродавались за баснословные цены.

Наше общество, с момента своего основания, активно соучаствовало в этом процессе и достигало заметных результатов, о чем свидетельствуют отчеты правления. Однако, в настоящее время, в связи с психологическими сдвигами в СССР, спрос на неподцензурную литературу настолько возрос, что далеко перегнал все наши скромные возможности. Мы уже не в состоянии удовлетворять даже запросы наших старых друзей, приезжающих из страны, не говоря уже о создании новых каналов для переброски литературы. И нам приходится отказывать людям, которые обращаются к нам за книгами.

Поэтому у нас нет другого выхода как призвать на помощь общественность, всех людей доброй воли. Напоминаем, что проводимая нами работа представляет собой важный общественный интерес в мировом масштабе, ибо свободная литература, поступающая в Советский Союз, сильно ускоряет процесс превращения советского общества в общество открытое. А государствам с открытой, политически информированной общественностью невероятно трудно как планировать нападение, так и, тем более, его осуществлять. Таким образом наша деятельность способствует созданию мирового сообщества без напряженности между Востоком и Западом.

Мы просим всех людей доброй воли помочь нам как личным участием в нашей деятельности, в первую очередь со стороны тех, кто ездит в Советский Союз или общается с советскими гражданами, приезжающими за границу, так и литературой — мы готовы принимать даже слегка бракованные издания и «модерный антиквариат».

Но, главным образом, мы нуждаемся в денежных средствах для закупки заказанных нам советскими людьми книг и оплаты расходов наших добровольных помощников. Спрос на книги и другие издания теперь в Советском Союзе настолько велик, что этой нашей деятельности не видно конца.

Verein zur Förderung der unabhängigen Kultur in der UdSSR e. V.
Postfach 111923 · 6000 Frankfurt am Main 11 · Tel.: (06171) 7 35 71
Frankfurt am Main, Dresdner Bank, BLZ 500 800 00, Konto-Nr.
2132187

Критика и библиография

ИЗЛЕЧЕНИЕ ПРАВДОЙ

Странно, но днем, когда я подходила к воротам Ваганьковского кладбища, чаще всего было 8 марта. Моя мама умерла именно в этот день. Я подходила к раскрытым тяжелым воротам, по обе стороны которых стояли женщины в темных платочках, с букетами первой пушистой мимозы, с восковыми, немислимыми зелеными и розовыми красками цветами, с длинными блестящими прутиками вербы, сразу за ними начиналась центральная аллея, по правую сторону которой была белая церковь с большими столами-каталками у крыльца, на котором в привычных, назойливо-смиранных позах толпились нищие с вытянутыми ковшиками темных ладоней, а слева небольшое одноэтажное строение с надписью «Контора кладбища», и чуть подалеже столбики с указателями: «к могиле Цветаева», «к могилам декабристов», «к могиле С. Есенина».

Я шла по потемневшему снегу, солнце светило уже повесенному, с крестов капало, и по сложенным крыльям кудрявого мраморного ангела текли тонкие грязные ручейки. Двери церкви растворялись, – значит, кончилось отпевание, четверо мужчин выносили открытый гроб и деловито ставили его на тонкий скользкий стол. Черные платки склонялись над гробом, кто-то начинал тихонько постанывать, всхлипывать... Я убыстряла шаг, старалась не смотреть направо. Восковое лицо неизвестного мне человека против воли притягивало взгляд. Мельком мои глаза останавливались на равнодушных фигурах с лопатами в руках, с зажатыми в углу рта сигаретами. Они казались мне все на одно лицо. Тусклое, испитое, с погасшими, неопределенными чертами. Могильщики.

Человеческая жизнь, конец которой или, как хочется думать, не конец, но переход в новое и для нас, живых, исполненное трагической тайны состояние, имеет на земной поверхности свой отчетливый знак: небольшой холмик, то заботливо убранный цветами, то глухо заросший крапивой, то усыпан-

Сергей Каледин. Смирное кладбище. Повесть. – «Новый мир», 1987, № 5.

ный красными ягодами, иногда с крестом, иногда с портретом, а то и без всякого креста, без портрета, просто почти сравнявшееся с землей возвышение под перекошенной ржавой железкой, на которой едва различимы даты рождения и смерти.

До последнего времени русская литература относилась к этому знаку с традиционным лирическим уважением. Могила Базарова, станционного смотрителя, маленькой княгини Болконской, Клеопатры из чеховского рассказа «Моя жизнь» вызывают у читателя неосознанное, но четкое ощущение того, что здесь-то и есть сосредоточение самого чистого и глубокого нравственного чувства автора.

И вот только сейчас, в наши дни, появилось произведение в каком-то смысле исключительное, взрывная сила которого прежде всего в его замысле, снявшем тематический запрет и обнажившем отталкивающую сторону захоронения и телесного распада. Интересно, что эта более чем сложная, не привычная ни слуху, ни глазу сюжетная ситуация решена Сергеем Калединым без малейшего участия гротеска или иронии. Автор, пользуясь выражением Достоевского, «работает эссенциями», но живая непринужденная жизнь не разрушается, а, напротив, складывается, духовно оттачивается в этом неожиданном сюжете. Все подробности ежедневного физического существования обнесенного оградой небольшого пространства, начинающегося церковью и упирающегося в глухую стену крематория, подаются Калединым, как любой другой материал для художественного произведения.

«Тут всё по науке. Место широкое, открытое... В другой раз велят копать, а копать некуда: ограды со всех сторон или дерево мешает. Бывает, и вовсе завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков попронырестее народ, понаглее: для своих могилок больше места оттяпать хотят. Они на вашу могилку втихую влезут, ограду поставят, а там, глядишь, памятник. А вот вы своего упрятать, ну, захоронить, в смысле, хотите, а хоронить места нет. Хорошо ограда, ее и снять недолго, а если памятник, да ростом с тебя? У него фундамент один... Считаю, на метр раствором залит, поколоти-ка его, я посмотрю. А хоронить надо, куда его денешь, покойника? Получается: право есть, а места нет. Тогда что делают? Тогда окно открывают, метр на метр только и копают, как колодец. Углубятся, начинают подбой выбирать. Выберут побольше, потом гроб туда,

колом: перевяжут в головах, по два с каждой стороны врас-
тяжку держат, а ноги только слегка в яму заправляешь. Так
отвесом, почти вот встоячку, и засовываешь».

Сергей Каледин отвоевывает право на новое слово. Рож-
дается своего рода «бытописание» никому не известного рань-
ше «низового» героя. Я не буду утверждать, что могильщик –
не более как символ для обозначения советского работника
вообще, за пугающими реалиями кладбищенской жизни не
буду искать символическую картину современного общества в
целом. Думаю, что таланту Сергея Каледина есть что сказать
и не прибегая к дешевым, в данном случае, эффектам эзопова
языка. Люди, вытесненные из жизни, пьющие и закусываю-
щие на чужих памятниках, а иногда – по пьяной лавочке – и
ночующие в свежевырытой могиле, отщепенцы, самый род
деятельности которых уже предполагает наличие в их психике
какого-то существенного изъяна, ибо мы-то, нормальные,
чужой смерти боимся и без крайней нужды к ней не прибли-
жаемся, эти люди впервые подверглись пристальному рассмо-
трению человека со стороны, и с фактом появления этой пове-
сти их длительная изоляция от мира кончилась.

Безусловно и то, что «Смирненное кладбище» унаследо-
вало лучшие демократические традиции русской литературы,
и, пытаясь обозначить словами авторскую позицию, как я ее
чувствую, вспоминаю известное высказывание Лескова: «Мне
непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе
под ноги...» Идет разговор на равных. Своего рода диалог.

Задаю себе простой школьный вопрос: чем дышит глав-
ный герой повести Лешка Воробей? Имея за плечами страш-
ное детство – отца-алкоголика, смерть матери, колонию, – до
двадцати девяти лет он, без преувеличения, дышал одними
винными парами: вкалывал и пил, пил и вкалывал, пока род-
ной брат Вася не рубанул его три раза топором по голове и,
провалившийся несколько месяцев при смерти, признанный
душевнобольным и инвалидом II группы, Воробей вернулся на
кладбище и, помня, что теперь даже полрюмки станут для него
смертельной дозой, зажил новой, трезвой жизнью.

Нет, я никогда не видела его. Конечно, там, на Ваганьков-
ском, среди вяло ждущих своего часа рабочих с лопатами в
руках, этого человека – тощего, высокого, с зашитой куском
кожи вмятиной у левого уха, – нет, там его определенно не
было. Почему же мне все кажется, что взгляд мой много раз

останавливался именно на нем, не существующем в реальной жизни, выдуманном?

А ведь не дай Бог встретиться с таким Воробьем в действительности, оказаться с ним, скажем, в соседних квартирах!

«5 августа 1975 года в первом часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире 161, дома 18 по Алтуфьевскому шоссе гор. Москвы, он учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В. И., выражался в ее адрес нецензурными словами, повалил ее на диван и подверг избиению кулаками по лицу, голове и другим частям тела, причинив ей побои...»

Помню, когда-то, ранней весной, в день серый, ветреный, неприятный, я ехала в такси в какой-то отдаленный район, может быть, в Медведково. Шофер отпросился в маленький винный магазинчик за сигаретами, остановил машину и, втянув голову в плечи, прыгая через лужи, скрылся в темном провале двери. И вдруг я увидела, что прямо перед этой дверью, не обращая внимания на противный мелкий дождь, стоят двое детей, лет шести и четырех, два мальчика, легко, не по погоде одетые, с синими провалами под равнодушными глазами, в стоптанных, развязанных башмаках. Моему сыну было тогда года два, и с тех пор, как он появился, я начала невольно обращать внимание на то, как выглядят дети. Опытным глазом я всегда отличала чистенького ухоженного ребенка, по щекам которого было видно, что ему и в заснеженной Москве хватает витаминов и преданная бабушка два-три часа в день проводит с ним на детской площадке. Так же легко я с жалостью усматривала в набитом вагоне метро или распаренном автобусе какое-нибудь осунувшееся личико и понимала, что вот этот, конечно, садовский, много болеет, с трудом переносит варварские прививки и каждый день ест одну и ту же манную кашу на сухом молоке. Но двое – у винного магазина – заставили мое сердце заколотиться. Да, они были очень бледны и худы, по перекрученным помочам и незастегнутым пуговицам видно было, что они давно одеваются сами и никому не интересно, что они напялили на себя в этот холодный весенний день. Но главное было другое. Я и сейчас помню их застывшие равнодушные лица и то, как спокойно, привычно стояли они перед порогом перекошенного винного домика, пока пьяная опухшая женщина в резиновых сапогах на босу ногу не подошла к ним и они, так же привычно взяв ее

с двух сторон за руки, не пошли куда-то в глубину высоких, холодновато-зеленых домов.

Я видела это однажды и знаю, что никогда не смогу забыть ни маленьких серьезных старичков в сморщенных рубашках, ни ее, потерявшую возраст и облик, протянувшую своим детям неуверенные руки, ни весь этот облачный, темный день моей ушедшей московской жизни. И эту-то вот жизнь, случайно застрявший осколок которой до сих пор мучает меня, спокойно, как нечто само собой разумеющееся, пишет Сергей Каледин в «Смирненном кладбище»:

«Он прошелся по комнате, подошел к детской кровати, где в грязных, мятых пеленках сидел сын Воробья Витя. Ребенок молча сосал ногу плюшевого слоника. Кутя помахал пальцем перед ним.

– Не обращает...

– Чего?

– Внимания, чего... Я ему козу, а он и не обращает...

Ирка махнула рукой.

– Недоделанный он у них: и орать не орет, и глаза косяе...

Ирка ушла на кухню.

– От сивухи, может? – вслух подумал Кутя».

У какого винного порога будет через пару лет стоять этот мальчик, терпеливо поджидая пьяную мать, хорошую, в сущности, ни за что, ни про что избиваемую и вечно унижаемую героиню повести Вальку, которая появляется в ней всего только два раза, да и то мельком, но присутствие которой мы как-то постоянно и настойчиво чувствуем.

«Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю: пускай, курва, рожает. Мне-то тридцать, ну, тогда чуток меньше, все равно к тридцати... Она так-то хозяйственная: пожарть что сготовить, прибрать путем. Пьет только. Да тут моя вина... Она до меня мало пила, так только красненькое. А я-то тогда жрал, будь здоров, ребят спроси... Уж потом, как родила, я ее в больницу клал – от выпивки лечить. Подержали ее неделю и выписали: почки у нее больные, лечить нельзя. Что теперь делать, чёрт знает...»

Итак, еще раз: чем же дышит главный герой? Складывая по принципу мозаики всю картину, я отвечаю себе, что он, почти уголовник, алкоголик, гробокопатель Лешка Воробей, дышит тем же самым, плохо выразимым словами чувством

любви к жизни и острой, почти религиозной жадой справедливости, которою дышали, скажем, герои позднего Льва Толстого. Только воздуха у него, может, еще меньше... Я не случайно пишу: «религиозной». То, что в советской литературе засияло наконец-то запретное слово «Бог», само по себе уже достойно удивленного уважения. А в повести Каледина вера в живого и справедливого Бога и составляет основу всклокоченного больного сознания героя.

«Мишка вон болтает: Бога нет. Знает он много, соплесос образованный. А Татарин, выходит, сам собой убрался? Татарин бутылкой сзади его, Воробья, и вырубил в часовне, и топтал со своими, всей хеврой навалились, сколько их тогда с Мазутки пришло? Человек пять... В больницу Воробей себя везти не дал, домой велел, неделю лежал, до уборной дойти не мог, в банку всё... И портрет мамы молодой над кроватью просил мокрыми глазами: помоги, мамочка, сделай Татарину... Через три недели, а то, ишь, Бога нет! тетя Маруся, что у церкви подметает, мать Татарина, хоронила забитый гроб с измятой головой Татарина, остального не было: разобрали Татарина товарищи по лагерю... Или вот еще. В прошлом августе после Гарикова дня рождения Васька, братан, убивал его ночью пьяного, топориком рубил ржавым. До смерти хотел, три раза по башке тюкнул. В больницу (сосед по койке потом рассказывал) врачи даже кровь переливать не стали, жижу одну, плазма называется, лили: чего литры зря переводить? Ждали, помрет. А вот хрен им! Живой!.. А то, ишь, специалисты: Бога нет... кому нет...»

Главное, что в этом религиозном чувстве нет ничего головного, умозрительного, нет в нем ничего привнесенного извне (да и откуда извне: не из советской же школы, не из колонии же!), вера в справедливого Бога, так же, как и любовь к своему «недоделанному» ребенку, так же, как – несмотря ни на что – нежность и жалость к своей пьяной, безответной Вальке, так же, как и тайные посылки в лагерь брату Ваське, отбывающему срок за то, что его, Воробья, чуть на тот свет топором не отправил, так же, как и последний, перед запретной, смертельной для него бутылкой, поступок: своим местом на кладбище пожертвовал, вину за раскопанную безымянную могилу на себя взял и этим Кутю, которому осталось два года до пенсии и которому, кроме кладбища, совсем уж некуда идти, от нищеты и увольнения спас...

На примере происходящего в душе своего героя, гробокопателя и пьянчуги, Каледин прослеживает наступившее сейчас – после многих пустых и темных десятилетий – возрождение нашей внутренней жизни, отчетливее всего проявившееся в возрождении религии, и не как церковного устоя, но целостного органичного жизнеощущения. Да, человек жив интуитивной верой (а может быть, она-то и есть самая подлинная?), жив смутным чувством справедливости и желанием, чтобы всё в мире было подчинено ей, жив своею всегдашнею неразумною надеждою... Но оставляет ли надежду сама повесть? С этим сложнее...

Боясь ошибиться в ответе, я обращаюсь к другому, столь же явно «положительному» герою Каледина, смешному и трогательному старику Куте, который, на мой взгляд, написан по тому же художественному принципу, по которому написан дед Ерошка в толстовских «Казаках». Я, разумеется, говорю о главном: о какой-то чудесной внутренней детскости характера, природной жалости и миролюбии в отношениях с людьми. Да и не только с людьми:

«У трафаретной пригревалась на солнышке неистребленная псинная стая. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был особый контакт. Перед пасхой, когда кошкодавы из дезинфекции понаехали и провололочными петлями в момент всех повыловили, он вымолил у них троих, самых любимых: Мишку, Блоху и Драного. Бутылку отдал (у Молчка выклянчил) и пятерку, что за яму получил. Все денное наработанное».

Вот почему мне все вспоминается тот ласковый пьяный старик, Бог весть когда живший (да и не живший – опять ведь «сочиненный»!) в глухой кавказской станице, который неуклюжими толстыми пальцами ловил бабочек и выпускал их в окно, чтобы они не сгорели от огня свечи: «Куда летишь, глупая? Сюда лети!» Повезло ему, толстовскому, был вольным охотником да веселым пьяницей, не повезло калединскому Куте: грустно, оставив за плечами одну из самых страшных войн, доживать дни на Ваганькове, зависеть от циничных прохожимцев...

При этом автор «Смирненного кладбища» очень далек от того, чтобы добродушно любоваться своими героями, как холостяк любит чужими детьми. Для него беспощадно ясно, что все они, хорошие и плохие, – люди обреченные.

Более того: чем сильнее выражено в них то, что мы привыкли именовать духовным началом, тем отчетливее их внутренняя беззащитность перед лицом яростного мира.

«Смирненное кладбище» – произведение жесткое. Оно связывает в пучок и одним духом выговаривает содержание, как бы лежащее в разных плоскостях, социальной, нравственной и бытовой. Движение этой быстротекущей прозы идет сразу по многим руслам, благодаря чему избранный предмет ошупывается со всех сторон. И этим избранным предметом оказывается не что иное, как современная русская жизнь, глубоко, до корней, развороченная словом. Все ее «нечистоты» вспенены и выкачаны на поверхность.

«Хватит и того, что болезнь указана, – писал в свое время Лермонтов, – а как лечить ее, Бог знает!» Любопытно, кстати, что во времена того же Лермонтова серьезным общественным недугом казался дурной характер Печорина, съеденный неспособностью любить и заняться каким бы то ни было делом. А теперь? Какая «перестройка» изменит страшные звериные отношения между людьми? И что вообще делать на свете, где отец до синяков избивает лежащую при смерти мать, мачеха посылает детям в колонию варенье с толченым стеклом, выросшие дети избивают отца, брат с топором набрасывается на брата, безымянные могилы разрываются... Всего не перечислить... Куда Печорину...

В повести Каледина есть замечательная сцена: человеку (всё тому же Лешке Воробью) исполняется тридцать лет. Он просит у звонаря разрешения подняться на колокольню. В этом ребяческом поступке есть, конечно, своя символика: как бы глубоко ни погружался человек в землю, небо и желание приблизиться к нему, подняться над землею – пусть на пять минут, на минуту! – имеют над ним свои права.

«Спотыкаясь о высокие щербатые ступени лестницы, Воробей добрался до звонницы. Колокола висели у самых глаз, их было три, самый маленький в полметра... Воробей облокотился о чугунное витиеватое ограждение в одном из проемов звонницы. Внизу был город, к л а д б и щ а н е б ы л о».

Да, не было, потому что в течение какого-то времени можно заставить себя не видеть его, не смотреть в его сторону. Но ведь оно есть. Вот еще автобус с черной полоской, еще старуха-нищенка, еще бездомный пес с прожженным боком, еще

прислоненная к обветшалому кресту лопата с налипшей, свежей землей...

Уход от этого иллюзорен, неосуществим, как попытка человека уйти от самого себя. И, на мой взгляд, наличие в повести Каледина какого-то гнетущего лирического чувства связано с ощущением этой безнадежности, щемящей сердце обреченности всего лучшего, что, как слабый росток сквозь ледяную землю, пробивается в человеке, ищет света, воплощения и – не находит.

Любопытно, что «Смирненное кладбище» не кажется мне произведением обличительным. Автор никому не предъявляет никаких обвинений. Его просто ужасает жизнь, как она строится и длится, его ранит эта нераскрытость человеческой личности, которая именно в России проявляется так сильно, и выбор им **такого** сюжета – это своего рода эксперимент, расчленяющий, я бы сказала, русскую действительность, расплывающийся и доказывающий, что никакие внешние реформы **такую** жизнь не излечат. Знаменательно, что повесть эта появилась в России именно теперь.

Ирина Муравьева

«ЖИТЬ ПО-РУССКИ – ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ...»

В Париже, во Франции есть небольшой мирок, нечто вроде колонии марсиан. Со своими табу, фетишами, идолами, со своими праздниками и со своими взаимоотношениями с миром, в котором им приходится жить. Эта колония – российская эмиграция трех поколений. Об этой России по-французски написали книгу две французских журналистки из еженедельника «VSD» («Пятница – Суббота – Воскресенье»): Вера Галевски и Армель Оже. Обе – нечто вроде часовых на рубеже двух миров – русско-французского и французско-русского. Армель Оже – русистка. Вера Галевски знает русский с детства, ибо происходит из первоэмигрантской семьи. Из той самой «Святой Руси», которой отводится первая часть книги.

Armelle Oger, Vera Galevsky. La Russie d'en France. MA Editions, Paris, 1986.

Для начала слово дается потомкам русской аристократии, ставшим французскими актерами, знаменитыми писателями, журналистами. Их родители были брошены на чужбину. Они же всегда хранят для себя Россию, и для каждого она – своя.

«Для меня Россия это вечная песнь, – говорит Робер Оссейн. – Она заставляет меня радоваться и плакать, Россия – страсть моя и мое отчаянье. И, прежде всего, Россия – молодость моя...»

«Когда мои родители обосновались в Париже, им казалось, что это ненадолго, что они вскоре вернутся к себе домой. Долго еще считали они дни до возвращения – вплоть до Второй мировой войны...», – говорит писатель Анри Труайя.

«Мы были бедны, чрезвычайно бедны, – вспоминает княгиня Шаховская, журналист и писатель. – Эмиграция 70-х не знала трудностей предшественников (...) Собственно советская эмиграция началась после Второй мировой войны...»

Но не вторая эмиграция – советские солдаты, взятые в плен, впоследствии – «перемещенные лица», и даже не потомки аристократии – те, кого, по словам В. Е. Максимова, «прогнали из России наши деды», – больше всего, видимо, притягивают журналисток представители третьей русской эмиграции во Франции, точнее – в Париже.

«Туземному племени» кажется, что в третьеземигрантской среде – какой-то постоянный, невзирая на неурядицы, праздник, значение которого можно понять лишь будучи посвященным. И «туземец», а в данном случае «туземки-авторы», пытаются приобщиться и приобщить читателя. Они – из той породы, что приходят к нам, на русско-парижские кухни, где по-московски, по-питерски, до утра – все разговоры, от сплетен до решения мировых судеб. Приходят русисты, берут бесплатные уроки современной русской, порой ненормативной лексики. Стараются радоваться с нами, пытаются понять тот непостижимый, на уровне подсознания уже, юмор. Мы радуемся непонятно чему, ссоримся – также непонятно отчего; но всегда есть причины и для радости, и для ссор.

К чести авторов книги, у них чувства юмора хватает. В качестве одной из парижских русских достопримечательностей они указывают на «русский дом» на улице Сен-Мор, где скопилось несколько семей художников-эмигрантов. Рассказа-

зывают и о семье художника Эдуарда Зеленина, дом которого, пожалуй, обладает наибольшей пропускной способностью в Париже! Кого только не встретишь у Зелениных! Цыгане-музыканты, актеры, танцоры ансамбля Моисеева, собраты-художники – все, кто живет или приезжает в наш «русский Париж».

Этот загадочный, но веселый мирок привлекает. – Хотите быть модным? Живите по-русски! – называется одна из глав книги. Россия проникла во Францию в воображение законодателей мод: платье «а ля колхоз» – и кафтан «Сен-Лоран»! «Ля шапкá» (наш треух) и «ле ватник а ля Гулаг» (я и такое слышала). Чуть веет профанацией – но это всего лишь наивность – отнюдь не юмор висельника!

«Жить по-русски – значит жить по-иному», – делают вывод авторы.

Им, разумеется, не объять необъятного. Но тут самые разнообразные адреса и телефоны, по которым любознательный исследователь отыщет во Франции Россию. Русская консерватория – и икорный магазин Петросяна. Русские картинные галереи – и советские кинотеатры. Не забыты и книжные магазины – от магазина советской книги «Глоб», что русско-парижские остроумцы переделали давно уж на «Жлоб», – до магазина издательства «ИМКА-Пресс», о котором рассказывает советская пресса столько «готических» легенд! Есть тут и русские продмаги, и уж, конечно, русские рестораны, все эти бесконечные «Матрешки», «Душки», «Бабушки»!

Дали высказаться на страницах книги и видным представителям третьей волны: Владимиру Максимову, Леониду Плющу, Арине Гинзбург. Желая быть объективными, уделили место и «советской стороне во Франции»: правда, ее представители выглядят тут как-то неважно: доморощенно-снобски, с виражом от осторожности в трусость...

Словом, если все не рассказано, то обо всем и обо всех понемногу упомянуто. А в конце книги даже несколько классически эмигрантских рецептов – «котлиетки», «ла кашá» и тот, очень вкусный, но невозможный, как фамилия Хрущева в произношении – «борштити»! Есть тут и «водка по-домашнему»: в аптеке покупается флакон 90% спирта. Выливается в фарфоровую или фаянсовую посудину. Добавляется литр кипящей воды и полкусочка сахара, лимонная цедра с дикого

лимона и черносмородиновые почки. Охлаждать, не накрывая крышкой. Разлить по бутылкам.

Рецепт, разумеется, не для советского человека – ибо кто там, раздобыв со страшным трудом спирт, начнет его разбавлять, да еще сдабривать *диким* лимоном, особенно теперь...

Тот, кто однажды попал в «Россию по-французски», навряд ли захочет забыть ее, как бы хотят сказать Вера Галевски и Армель Оже.

«Неужели существуют подобные люди? – вопрошает писатель Каванна. – Однажды и навсегда погрузился я телом и душой в это материнское, в это мощное, в это неотразимое русское тепло. Всем существом устремился я тогда к этому народу с глазами детей, говорящему на языке, сверкающем рубинами и изумрудами, словно тиара скифского вождя...»

...Неужели существуют?

Да, мы существуем – с нашими газетами и балалайками, с нашей ностальгией, со специально выведенным нами на экспорт сортом развесистой клюквы – для русско-французских продмагов. Мы существуем – с нашими судьбами, рассказ о которых мог бы составить не одну, а тысяча и одну книгу. И название этой книги было бы неизменно: «Россия по-французски», «Россия на Западе»!

Кира Сапгир

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

В итальянском издательстве «Керенца» вышла книга известного в научных кругах социолога Джоакино Сантанке «Коммунисты против рабочего класса». На первый взгляд, в этой книге нет принципиально новых открытий в области теории и практики коммунизма. До него и после десятки, если не сотни исследователей в той или иной мере, с большим или меньшим успехом уже пытались демистифицировать сущность этой бесчеловечной доктрины. И все же предельная простота, неотразимая логика и блистательная аргументация делают его работу во всех смыслах выдающейся.

Джоакино Сантанке. Коммунисты против рабочего класса. Изд-во «Керенца», 1987.

Наверное, именно потому она до сих пор окружена в Европе такой глухой стеной молчаливой враждебности со стороны тех, против кого она направлена, и трусливой индифферентностью терроризированного ими общественного мнения. Правда, к сожалению, во все века была падчерицей человечества.

Тем не менее, я убежден, что у книги профессора Сантанке большое будущее, ибо она ставит единственно возможный диагноз болезни, поразившей сегодня социальное сознание самых широких слоев общества и, прежде всего, рабочего класса.

Моя личная судьба могла бы служить самой красноречивой иллюстрацией к этой книге. Я – сын и внук рабочих, принявших активное участие в Октябрьской революции, и сам в молодости рабочий-строитель. История нашей семьи – это история крушения революционных иллюзий. Уже через десять лет после Октября мой отец и мой дед начали свой путь по адским кругам ГУЛага, а я двенадцатилетним мальчишкой вынужден был бросить школу и пойти работать, чтобы не умереть с голода. Так вознаградила партия коммунистов, созданная якобы во имя интересов трудящихся, тех, кто помог ей прийти к власти. И судьба моя – отнюдь не исключение из правила, а является типичной для миллионов людей моего поколения.

Но, кстати сказать, для тех, кто достаточно дотошно проштудировал наследие классиков коммунизма, в особенности его эпистолярную часть, не секрет, что презрение к рабочей массе они почти не скрывали, считая этот самый класс лишь инструментом и материалом для достижения своих политических целей. К примеру, в письмах своему закадычному другу и меценату Фридриху Энгельсу Карл Маркс иначе, как «черню», эти массы и не называет. Такое же снисходительное превосходство над ними прочитывается и во многих письмах Ленина.

Общеизвестно также, что в большевистском руководстве с самого начала его существования представители рабочих всегда составляли ничтожное меньшинство. Из дореволюционного периода среди них можно назвать лишь Томского, Ворошилова и Шляпникова, а после революции рабочие в центральных органах партии играют, как правило, чисто репрезентативную роль, безропотно уступая главенство в

ней выходцам из мелкой буржуазии и разночинной интеллигенции.

Одним из основополагающих положений книги профессора Сантанке я считаю его утверждение о единстве мирового коммунистического движения, несмотря на некоторые действительные или тактические разногласия между отдельными партиями и его московским центром. В своих доказательствах автор намеренно пользуется только фактами и документами.

Один из таких документов мне представляется необходимым привести здесь целиком, настолько он говорит сам за себя. Документ этот впервые был опубликован во французской газете «Котидьен де Пари» 21 июня 1975 года в самый разгар португальской революции. В нем, под грифом «секретно», за подписью секретаря ЦК КПСС по международным вопросам Бориса Пономарева перечислены меры, которые, по мнению его автора, должны предпринять в создавшейся ситуации португальские коммунисты.

«1. ВНЕПАРЛАМЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ: должны быть образованы центры власти вне центральной власти, а потому параллельные ей, и рекомендуется организация оперативных групп, контролируемых Коммунистической партией, которые утверждают свое присутствие в периферийных административных центрах с тем, чтобы саботировать директивы и блокировать их исполнение. Любая попытка сопротивления должна быть беспощадно подавлена силой, приписывая – в случае необходимости – заинтересованным намерение устроить переворот.

2. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ: профсоюзный контроль означает контроль над производительными силами страны. От этого зависит возможность обуславливать экономику и осуществлять контроль за оппозиционерами на рабочих местах. Чтобы осуществить таковой контроль, необходимо добиться создания единого или объединенного профсоюза, твердо выступая против «раскольников», которые мешают единству трудящихся и благоприятствуют подрывным реакционным силам...

3. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: так как вооруженные силы могут, при желании, обусловить политическую деятельность, абсолютно необходимо искать тактического союза с армией. Это значит: обращать и подрывать квалифицированные и важные элементы вооруженных сил. Урок Чили, во всяком

случае, должен помочь коммунистическим партиям понять, что союза такого типа недостаточно, чтобы преобразовать, трансформировать антикоммунистические убеждения большинства офицеров. В силу этого коммунисты не должны считать себя свободными от опасности внезапной консервативной реакции. Абсолютно необходимо устранение всех глав вооруженных сил, каковые должны быть любой ценой перестроены в единую революционную силу, доверенную людям с определенными политическими убеждениями.

4. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ: советский опыт состоит в том, чтобы ее удушить. Учитывая, что в Чили самый авторитетный печатный орган – газета «Эль Меркурио» – сыграла роль почти исключительно жизненной важности в падении Альенде, коммунистические партии Запада, которые в настоящее время входят в орбиту власти, должны как можно быстрее вырвать из рук классовых врагов орудия пропаганды, чтобы выиграть первое сражение – сражение паролей, – заставив общественное мнение принять (основываясь на ленинской тактике повторений) лозунги типа «единство народных сил», «антифашистское единство», «контрреволюционная угроза», «сепаратистские попытки».

5. ФАКТОР ВРЕМЕНИ: для консолидации правительства левых сил необходимы молниеносные действия. Будущее правительство типа правительства Альенде может удержаться у власти, прибегнув для этого к жестоким орудиям коалиции. Считать необходимым действовать с максимальной скоростью для национализации производственного сектора. Уничтожение частного сектора в экономике является существенной предпосылкой для устранения независимой печати»...

Да, в ту пору, благодаря политической зрелости общества, сплоченности ядра его вооруженных сил и чрезмерной поспешности коммунистов, пытавшихся слишком ретиво форсировать события, Португалии удалось отстоять свои демократические завоевания, но кто поручится, что в другой стране, в иных обстоятельствах тоталитарным силам не удастся осуществить продиктованную им из Москвы программу, как это уже случилось в последние 10-12 лет в Эфиопии, Афганистане или Никарагуа?

Никаких гарантий, к сожалению, нет.

Сегодня, в эпоху так называемых перестройки и гласности, в Советском Союзе намечается тенденция к некоторому

сокращению внешнеполитических авантур, которые в последнее время явно обходятся ему не по карману. Будем надеяться, что эта тенденция продержится там достаточно долго и общественное мнение в стране сумеет укрепиться настолько прочно, чтобы начать в конце концов контролировать империалистические амбиции своего правительства. В противном случае, оздоровив экономику, оно – это правительство – вновь обретет вкус к глобальной экспансии.

В свете этого книга профессора Сантанке «Коммунисты против рабочего класса» может сослужить хорошую службу всем тем, кто кровно озабочен угрозой распространения коммунизма во всем мире.

Владимир Максимов

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АНТИКВАРИАТ»

М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. 526 стр.

В. БЕТАКИ. Русская поэзия за 30 лет (50-е – 80-е годы). 300 стр.

Л. ГРОССМАН. Пушкин в театральных креслах. 182 стр.

М. ГРУЛЕВ. Записки генерала-еврея. 250 стр.

В. ЗЕНЗИНОВ. Русское устье. 72 стр.

Г. ИВАНОВ. Несобранное (составитель – В. Крейд). 154 стр.

А. НЕСМЕЛОВ. Избранная проза (составитель – Э. Штейн). 164 стр.

М. СМИРНОВ. Адмирал Александр Васильевич Колчак. 60 стр.

Н. УСТРЯЛОВ. В борьбе за Россию. 80 стр.

В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. 260 стр.

В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. 302 стр.

В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. 77 стр.

Издатель – Э. Штейн
Antiquary
594 Chestnut Ridge Road
Orange, Conn. 06477 USA

Коротко о книгах

Мих. РОЗАНОВ

СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ.

1922 – 1939 ГОДЫ

Факты – домыслы – «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами

Издание автора. Кн. первая. [Б. м.], 1979. Кн. вторая. [США], 1980, Кн. третья. Дополнения. [Зап. Германия], 1987.

«Сможет ли будущий объективный историк добраться до истины по часто противоречивым воспоминаниям летописцев или по официальным, к тому же обычно заведомо ложным, архивным материалам?» Таким вопросом задается старый соловчанин Михаил Розанов в предисловии к первой книге своего труда, который лучше всего назвать историко-критическим. Обозревая книги и статьи, полностью или частично посвященные Соловкам, автор поставил себе целью отделить факты от домыслов и «параши» и создать «предварительно просеянный сводный справочный материал» для будущих историков.

Приведенная в первой книге библиография насчитывает 35 названий на русском языке и 27 названий на украинском, английском, немецком, польском языках (еще некоторые книги, названные в тексте, почему-то не включены в библиографию). Дополняя ее в третьей книге, автор прибавил еще пять (точнее, семь, ибо сюда входят материалы из трех выпусков исторического сборника «Память») названий на русском языке и два – на английском. Интересно, что за эти годы не только появились новые, ранее не публиковавшиеся воспоминания, но еще и нашлись давние, ранее неизвестные автору издания, так что граница первых русских публикаций о Соловках сдвинулась с 1928 (Клингер. Соловецкая каторга. – «Архив русской революции», т. 19) на 1922 год (Че-Ка. Материалы по деятельности Чрезвычайных Комиссий. Берлин, изд. Центр. бюро социалистов-революционеров). Следует отметить и весьма раннее появление свидетельств о Соловках по-английски: «Письма из русских тюрем», опубликованные в 1925 году в Нью-Йорке Международным комитетом защиты политзаключенных, и целиком посвященная Соловкам книга С. А. Мальсагова «Адский

остров». В предисловии к первой книге автор писал: «Пройдут два-три, много – пять лет, и последние пока живые тут свидетели первого десятилетия Соловецкого концлагеря тоже уйдут туда, „идеже несть болезни, печали...“» Тем не менее, как мы видим, за восемь лет, прошедших между выходом первой и третьей книги (вначале даже не запланированной – на обоих первых томах стояло «в двух книгах»), появились новые свидетельства, хотя, в основном, принадлежащие уже покойным соловчанам. И, вероятно, этот ручеек воспоминаний еще не исчерпался: вот вышла книга, которую Мих. Розанов не мог успеть отразить и в дополнителном томе, – воспоминания живого и здравствующего соловчанина Олега Волкова (о них – в следующем номере «Континента»).

Книги Мих. Розанова – не художественное чтение; рядового читателя могут даже раздражить дотошные «перекрестные допросы», которым он подвергает разноречивый материал летописцев. Однако для историка – как специалиста, так и любителя (а таковых, жаждущих узнать все еще далеко не полную историю коммунистического террора в Советской России, – там, в России, очень и очень немало, вплоть до самого юного поколения) – она представляет ценнейший ориентир. Тем более ценный, что автор, стремясь воссоздать правдивую картину «адского острова», резко возражает против нагромождения добавочных, лживых ужасов (так, он считает, что показания бежавшего на Запад бывшего уполномоченного соловецкой 3-й ИСЧ Киселева-Громова, данные в 1930 году, и его же изданная в 1936-м книга «Лагери смерти в СССР» больше помогли Лубянке, чем Западу, хотя – или потому что – черной краски в изображении Соловков этот бывший сотрудник лагерной ЧК не щадил).

Все три книги изданы малым тиражом, на счет автора (своего рода «самиздат»). Между тем, эту книгу следовало бы иметь по меньшей мере во всех крупнейших библиотеках, собирающих литературу по истории СССР, да и всем, кто заботится о распространении свободного слова по ту сторону железного занавеса, не мешало бы поставить эти три тома на одно из первых мест, нередко забытых откровенной макулатурой.

Н. Г.

По страницам журналов

«НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СССР

(Листая журнал «Вопросы философии» за 1986 – 1987 гг.)

Философия в СССР играет особую роль. Она давно уже перестала быть философией в строгом смысле слова и превратилась в средство идеологического обслуживания того наличного социального бытия, которое имеет место в Советском Союзе.

Став апологетикой, она потеряла не только свои научные основы, но и свою мировоззренческую роль, так как уже долгие годы оторвана от жизни, от реальной исторической практики. Ее расхождение с жизненным процессом превратило ее в догматическую схему, обслуживающую верноподданнические интересы господствующего в обществе слоя, т. е. партийно-государственной номенклатуры. Об этом сейчас пишут даже сами советские философы.

Так, у Н. И. Лапина читаем: «Стало ясно, что догматизм – не просто теоретический феномен, а прежде всего жизненная позиция, диктуемая личными и групповыми интересами» (1987, № 6, стр. 17). Попробуем осмыслить это умозаключение. Во-первых, догматический марксизм и схематизм, заполонившие философию, в действительности не есть лишь феномен некомпетентности, а есть выражение определенной жизненной позиции, определенных жизненных интересов. Чьей же позиции и чьих интересов? Думаю, что не надо быть особенно глубокомысленным, чтобы ответить на этот вопрос: безусловно, интересов парт-государственной номенклатуры, которая составляет правящий слой в Советском Союзе. Догматизм ей необходим как средство манипулирования сознанием масс. Потому борьба против догматизма становится и борьбой против этого слоя или, по крайней мере, затрагивает его интересы и привилегии. Эти привилегии в социальной структуре советского общества составляют тот фундамент, на котором покоится наличный политический режим. Кардинальные перемены в этом режиме и призваны составить суть перестройки – так понимают перестройку те, кто становятся ее сторонниками.

В духовном плане существо перестройки связано с изменением в области философских идей, т. е. философского догматизма, составляющего основу советской марксистской идеологии.

Вместе с тем, необходимость нового философско-политического мышления не означает, что оно создается легко и бесспорно. Препятствия его развитию находятся не только вовне, в практической ситуации, сложившейся в стране, т. е. в определенных слоях населения, не заинтересованных в изменениях, но и внутри сознания людей. Это обстоятельство очень важно учитывать, оценивая зарождение и развитие нового мышления, т. е. нового самосознания людей в нашей стране. Таким образом, не следует говорить о новом политическом мышлении лишь в узком смысле слова.

Мне вспомнилось, что как-то одна газета попросила меня дать интервью в связи с 30-летием XX съезда КПСС. Человек, который брал это интервью, высказал любопытную мысль: он говорил о том, что в любой другой стране, кроме нашей, когда умирает диктатор, народ обычно ликует, радуется. У нас же смерть Сталина не принесла массовой радости – более того, многие плакали, были растеряны. В Москве, как известно, было много людей, которые рвались проститься с диктатором, что привело к стихийным беспорядкам, унесшим в могилу вслед за Сталиным десятки людей. Почему такая реакция? Потому что за годы культа личности Сталина и диктатуры партии массовое сознание и самосознание было столь исковеркано, что трудно было бы предполагать и неверно было бы считать, что тирания при Сталине держалась лишь на одном страхе или насилии. В нашей истории этот период (да и после Сталина с другим размахом и во многом в других формах) дал более тяжелые последствия, чем принесли бы только грубое насилие, подавление и страх. Были еще вера, энтузиазм, максимализм, но... и манипулированное сознание, глубоко проникшее во все поры жизни двоемыслие, нравственная глухота, моральная однозначность в оценке инакодействующих и инакомыслящих, ценностная дезориентация. Духовная ориентация, носившая массовый характер, хотя каждому отдельному человеку она присуща неоднозначно, определялась смесью веры с безверием, «идейности» с цинизмом, тяги к духовности с бездуховностью, пьяного ухарства с покаянием и болезненной потребностью страдания. Всё это замешано на непонимании, на безволии, на необходимости постоянной лжи и т. д. и т. п. Однако все это, т. е. особый склад психики и мышления, хотя и деформировало личность, но не уничтожило полностью ее способность к самовоскрешению, так как в народе, вопреки всему, оставалась тяга, подчас в самом извращенном виде, к социальной справедливости, к истине, к добру, а значит, и к способности создавать новую цивилизацию, покоящуюся на демократии и справедливости.

В какой-то степени пробудившиеся ростки «перестройки» именно на это сейчас и опираются, на это указывают. Стоит задача – колосса на глиняных ногах (тоталитарный политический режим) заменить просыпающимся, пробуждающимся от зимней слякоти колосом, способным встать на подпоры более фундаментального плана – на гласность, на свободу слова, печати, на законность и создание демократического правопорядка.

Сама суть нового мышления разбивает рамки догматизма и потому она диалогична, дискуссионна, вероятностна.

Размышления о новом политическом мышлении исходят из того, что, как считает большинство авторов, человечество вступило в новую стратегическую ситуацию, которая обязывает по-новому осмыслить многие, прежде всего, глобальные проблемы современности.

Так, в статье Ю. Б. Рюрикова «Переворот в цивилизации» (1986, № 9) отмечается, что над человечеством висят три дамокловых меча: 1) возможность возникновения ядерной войны; 2) экологическая угроза; 3) (самый неосознанный) – угроза психологического перерождения людей, их эгоизации, превращение в потребителей. Здесь автор замечает, что в эпоху НТР эта угроза резко усилилась в мире капитализма и действует, хотя не так опасно, и в мире социализма. Последнее замечание – старо, от него за версту несет ханжеством.

Автору прекрасно известно, что в СССР и других так называемых социалистических странах проблема «вещизма» во многом надумана. Она подменяет на самом деле другую, более насущную и тяжелую проблему. Эта последняя выросла из противоречия самой жизни в данных странах и связана она с кризисным состоянием их экономики, с нехваткой, дефицитом самых необходимых товаров потребления.

Вполне естественно, что поскольку мир неуклонно становится единым, то и развитие материальных, духовных, культурных и других потребностей идет не только под непосредственным влиянием сиюминутных и личностных условий, но и под влиянием более глобального порядка. Однако удовлетворение этих потребностей в капиталистических и в так называемых социалистических странах в корне различно. В последних удовлетворение данных потребностей, стремление людей к этому подчас принимает уродливые формы. Это замечание относится не только к экономике, где имеют место подпольные формы, спекуляция, коррупция и т. п., но также и к психологии. До «вещизма» мы еще не дожили. Дефицит товаров держит за обе руки.

А вот до извращения «нормальной» для развития личности структуры потребностей уже дожили. Нехватка самого необходимого порождает ненормальный способ развития самих потребностей, а также средств их удовлетворения. Это ведет к моральной деградации разного свойства – к воровству, к пьянству, к моральному и духовному отупению, к девальвации ценностей, соответствующих степени развития индивидуальности и определяющих характер этого развития. И действительно речь идет и о бездуховности и об эгоизме, но причины этого в СССР иные, чем в развитых капиталистических странах. К сожалению, не помогает «идеологическая накачка», «напичкивание» молодежи идеями, которые давно уже прошли этап девальвации в жизни советских людей. Дело здесь не в природе идей, а в природе той социальной практики и того политического режима, которые вместе составляют тоталитарную структуру общества и потому очевидно расходятся с идеями, которыми пытаются заполнить духовный мир советских людей.

Ю. Рюриков ставит вопрос о создании новой цивилизации, что должно, по его мнению спасти мир от смерти, так как сейчас мир находится на грани жизни и смерти. Для этой новой цивилизации необходима совершенно новая база (заметьте, он уже не пишет о коммунизме. Где-то в конце статьи это слово «робко» используется, но ему не придается то значение, которое оно всегда имело, ибо раньше исходили из непрерываемой посылки полнейшей необходимости в обозримом будущем полной победы коммунизма во всем мире). Эта новая база будет покоиться на новых производственно-технических, социально-экономических, нравственно-психологических устоях. Каких?

В производственной области автор предлагает – безотходное производство. В настоящее время 97-99% всего добываемого в природе вещества идет в отходы. Раньше так добывали золото, теперь «по типу золота» добывают всё. Такое отношение человека к природе автор определяет как мироотношение эксплуататорское, на природу как бы переносятся принципы абсолютного, рабовладельческого господства одного сословия над другим.

«Совсем другое мироотношение сгущено в безотходном производстве. Это производство, – пишет Ю. Рюриков, – в самом своем техническом принципе – как бы несет в себе заботу о сегодняшних и завтрашних поколениях, обо всем человечестве, а не только о своей стране, о своей группе. Оно как бы запечатлевает новое понимание места человека в мире, новую – планетарную и гуманистическую – философию отношения человека к природе и обществу».

Рассуждения автора интересны не только по существу, но и потому, что он подходит к проблеме по-новому, уже не с «классовых позиций», а с общечеловеческих. Утверждая, что новое мышление не может не быть планетарным и гуманистическим, автор выдвигает не классовый, ограниченный гуманизм (по природе, антигуманизм), а человеческий, который предполагает коренным образом иное отношение как к природе (не эксплуататорское), так и к обществу (планетарное и гуманистическое). Мы в этом согласны с автором. Развитие подлинно гуманистического мышления есть, безусловно, коренной поворот от догматического марксизма (покоящегося на абсолютизации, а потому и извращении принципов классовости, партийности) к новой, гуманистической философии жизни.

Проблема гуманизма – самая взрывная проблема века, она синтезирует в себе старое и новое. Она дает возможность по-новому осмыслить старое и в то же время серьезно искать путь к новому.

В Москве, в последние годы до отъезда на Запад (1980 г.) я занималась проблемой гуманизма, и именно эти занятия окончательно привели меня к новым мыслям, которые и составили мою духовно-мировоззренческую эволюцию, помогли мне осмыслить заново нашу действительность, сформировать мои социальные взгляды, поставив их четко на почву гуманизма, демократии, плюрализма и лояльности по отношению к другим, чем у меня, взглядам, помогли преодолеть догматизм, определенный схематизм, т. е. все то, что я получила в наследство от своего философского образования.

В социальной области Рюриков предлагает – экологические города, снятие технологического отчуждения труда, которое, как он считает, у нас имеет место и, следовательно, является причиной равнодушия, пассивности, недисциплинированности и т. д. и т. п. в трудовой деятельности. На мой взгляд, в этой области автор упрощает проблему: главное – не технологическое, а социальное отчуждение труда, которое имеет место в Советском Союзе. Трудящиеся ни в какой степени не являются хозяевами своего трудового процесса. Средства производства им не принадлежат, условия труда они не определяют, средства борьбы против тех условий, которые их не удовлетворяют, они не могут использовать, так как в СССР практически запрещены забастовки, демонстрации в защиту социально-трудовых прав личности. К тому же, профсоюзы не защищают права трудящихся, не выражают их интересов. Они давно уже превращены в придаток партии и не обладают никакой самостоятельностью в решении вопросов, связанных с условиями труда и жизни занятых в производстве людей. Так что налицо социальное отчуждение трудящихся от своего труда, а не

технологическое. Перестройка как раз и останется пустым звуком, если не будут предприняты серьезные попытки устранить факторы социального отчуждения личности от своего труда. Хотя бы были разрешены свободные профсоюзы, забастовки, демонстрации и другие кардинальные средства борьбы трудящихся за свои права.

В нравственно-психологической области дело обстоит еще сложнее. Тут такой огромный комплекс проблем, что понимание их и поиски «перестройки» в этой области (если это серьезно), а также факт появления и развития нового мышления – как социально-нравственного, так и политического – будут венчать не только саму перестройку в целом, но и создание новой цивилизации.

Многих авторов пугает эгоизация человека, превращение человека созидającego в человека потребляющего, рост пищевых, вещевых и зрелищных потребностей. Возможно, эта проблема существует, но в СССР нельзя ее видеть слишком упрощенной, так как нельзя говорить о ней, не касаясь конкретных вопросов, которые концентрируются в двух аспектах – в, как уже упоминалось, дефиците товаров, в органической бедности их, в невозможности удовлетворить самые необходимые (пищевые, вещевые и культурные) запросы и в том аспекте, что человек лишен свободы выбора в удовлетворении многих своих потребностей. В этом плане я хочу отметить прежде всего вопрос об удовлетворении духовных и нравственных потребностей. Разнообразие последних, их развитие в зависимости от склонностей человека возможно лишь в условиях духовной свободы, т. е. свободы слова, печати, совести, демонстраций, забастовок, свободы получать и распространять информацию. Поступательный рост, развитие и совершенствование личности, ее духовных потребностей возможны в обществе демократическом (хотя и тут тоже это не определяется механически) при соблюдении прав человека, и поэтому перестройка немыслима без законности, которую необходимо восстанавливать в нашем обществе, и без прав человека, которые в нем нарушаются.

Отметим некоторые характерные черты перестройки, о которых пишут авторы в философских журналах. Первое: качественное обновление советского общества, революционная стратегия. Как мировоззренческая проблема поставлен вопрос о необходимости ряда революционных этапов при переходе от социализма к коммунизму, ряд этапов в процессе развития самого социализма, который охватывает значительный временной период, равный жизни нескольких поколений. В вышеназванной статье профессора Лапина именно на это и указывается. Он пишет, что, обучаясь новому общественному мышлению,

«...жизнь требует внести важные уточнения в устоявшиеся представления о содержании и границах применения таких понятий, как „революционные изменения“ и „новое качественное состояние общества“».

Лапин же пишет о длительности социалистической фазы развития, о внутренней этапности этого периода, о том, что между разными этапами имеются не только количественные, но и качественные различия. Такая вот потребность качественного обновления общества возникла теперь – она и поставила вопрос об ускорении общественного развития и перестройки. Мы же утверждаем, что на самом деле эта потребность выросла не столько из необходимости нового этапа в развитии социализма, сколько из сложившегося кризисного состояния всего советского общества, которое в настоящее время никак не может выражать хоть какие-то стороны социализма. Это совсем иной тип общественного развития – тоталитарный, который зашел в тупик – в экономике, в культуре, в политике. И действительно, ускорение и перестройка должны быть связаны с революционным (т. е. кардинальным, качественным) устранением «устаревших и неадекватных социализму элементов, накопившихся в советском обществе на предыдущих этапах его развития, укреплением эффективных и созданием новых элементов, которые позволят социализму на качественно новом уровне раскрыть свои потенциальные возможности».

Ускорение и перестройка связаны с: а) заинтересованностью широких слоев населения; б) с борьбой общественных сил; в) с тем, что имеют место различия в интересах разных слоев населения, выявляющиеся особенно в ходе борьбы за перестройку; г) с возрастанием роли человеческого фактора, с необходимостью перестройки массового сознания; д) с революцией, которая, по идее, должна быть начата сверху.

Лапин делает попытку назвать ряд причин, которые привели к социально-экономическому застою нашего общества. Среди этих причин он отмечает, что в то время, как экономика развитых капиталистических стран вступила в полосу глубоких структурных изменений, советская экономика по инерции продолжала развиваться в значительной мере на экстенсивной основе, что привело к заметному снижению темпов ее роста. (Оказывается, так называемые «преимущества социализма» не вытащили экономику.) Углублялись противоречия между платежеспособным спросом и его материальным покрытием. (Газеты и журналы в это время писали о росте благосостояния народа. В магазинах же не было самого элементарного – мяса, масла, мясных продуктов, в достаточном количестве овощей, фруктов и т. д.

Мощным тормозом стали ведомственные интересы. (Различия между зарплатой разных слоев населения углублялось, неизмеримо быстро росли привилегии номенклатуры, превратившие ее в особый господствующий «класс» общества, тормозящий общественное развитие во всех областях жизни.) Автор отмечает также быстрый рост авторитарно ориентированного бюрократического слоя в управлении, заинтересованного в рутинном пути, боящегося всего нового. Преобладали экстенсивные процессы, попытки их преодолеть оказывались неуспешными, это были попытки «улучшать дела, ничего не меняя».

В идеологической и теоретических областях: переоценивался достигнутый уровень развития, писали о том, что в СССР уже построено развитое социалистическое общество, создается материально-техническая база коммунизма.

Подводя итоги, даже на Пленуме ЦК КПСС говорили: «По сути дела, возникла целая система ослабления экономических инструментов власти, образовался своего рода механизм торможения социально-экономического развития, сдерживания прогрессивных преобразований, позволяющих раскрывать и использовать преимущества социализма» («Материалы Пленума ЦК КПСС, 27-28 января 1987 г., М., 1987).

Конкретно сама перестройка в основе своей означает: обеспечение нового качества экономического роста – интенсификация производства, структурная перестройка экономики, рост производительности общественного труда, радикальная реформа всего хозяйственного механизма. Изменения (качественные) предстоят и в других областях жизни – в социальной, политической и культурной.

Лапин выделяет три пласта перестройки:

1) «Перестройка стиля и самого содержания мышления на всех уровнях – от рабочего до министра, от центральных органов до первичных ячеек партийных и других общественных организаций: содержание перестройки мышления означает овладение принципами, законами, методами материалистической диалектики как наиболее полного и революционно-критического учения о развитии, решительный поворот науки к практике, а практики к науке, овладение новаторскими, конструктивными подходами к решению сложных проблем».

2) Перестройка условий деятельности людей. Здесь автор пишет о всестороннем развитии демократии – поощрении инициативы, самостоятельности, расширение гласности, критика и самокритика, уважение к ценности и достоинству личности. Неуклонное повышение

интенсивных факторов развития, хозрасчет, развитие социальной сферы.

3) Развитие содержания и способов деятельности всех трудящихся. Автор считает, что вычленение в многообразии задач перестройки главного звена невозможно, т. к. все стороны общественной жизни взаимно связаны и изменения необходимы везде.

Думаю, здесь есть опасность уйти от главного. А главным, на мой взгляд, является *политический режим*, ибо он есть основной тормоз всей общественной жизни, начиная с экономики, где тоталитаризм убивает всякую инициативу, индивидуальную и коллективную предприимчивость, и кончая идеологией, которая при тоталитаризме делает невозможной любую живую мысль и препятствует нормальной циркуляции информации любого плана – научного, политического, культурного и т. д.

Смушает и другое. Многое, о чем пишется сейчас в связи с перестройкой, писали и раньше, однако все это оставалось лишь на бумаге, лишь пустым сотрясением воздуха, а жизнь между тем шла как прежде.

И сейчас люди, приезжающие из Советского Союза, отмечают, что то, что себя изжило очевидно и наглядно до начала перестройки, существует до сих пор. Например, на каждом шагу старые лозунги, в которые уже никто не верит. До сих пор многое ни на иоту не изменилось ни на производстве, ни в быту. Не улучшилось снабжение продуктами. Очень мало сделано в области развития самоуправления трудящихся на предприятиях, нет решительных шагов во введении демократических форм управления и жизнедеятельности населения. По сей день гласность не перешагнула рамки «полугласности», нет свободных профсоюзов, нет свободных политических объединений, мало общественных и т. д. и т. п.

Авторы, поддерживающие перестройку, отмечают необходимость инновационной деятельности во всех областях практики. Однако инновационная деятельность не только существенно противоречит рутинной деятельности, но и не сводится к просто совершенствующей деятельности. Инновационная деятельность требует поэтому кардинального изменения политико-организационных структур, требует их преобразования.

В ряде статей более смело отмечается, что жизнь далеко ушла вперед по сравнению со временем Маркса и Энгельса, даже Ленина. Выявились ее важнейшие, качественно новые моменты. Замечания подобного рода играют значительную роль в формировании нового общественного мышления: они «раскачивают» догматический схе-

матизм «советского марксизма», вышибают из-под него привычную структуру доказательств «от классиков».

Именно эта структура особенно наглядно выявляла сугубо идеологический характер марксизма, лишая его тех свойств, которые делают теорию научной и мировоззренческой.

Лапин ставит задачу преодоления догматической ориентации в философии и общественном сознании, а также в общественном сознании, считая, что эта задача приобрела сейчас исключительную остроту. Свои выводы он подкрепляет ссылкой на статью секретаря ЦК КПСС А. Яковлева в «Правде», где пишется, что «догматизм правомерно характеризовать как авторитарное мышление, возведенное в политический, нравственный и интеллектуальный принцип. Такая социальная функция в полной мере отвечает интересам тех, кто не заинтересован в развитии, кого лично устраивает привычный и удобный статус кво, кто не хочет или не может ответить на вызовы времени, новые явления жизни. Идеино-теоретическое обеспечение перестройки предполагает слом догматизма – этого существенного элемента механизма торможения в сфере общественного сознания» («Перестройка и общественное сознание» – «Правда», 10. 04. 87).

Данные рассуждения дают возможность сделать три вывода:

а) необходимы существенные, кардинальные изменения в области теории, превращающие ее из догматической в научную, в теорию, открытую творчеству, связанную с непосредственной жизнью не как апологетика, а как способ отражения и максимально правдивое объяснение действительности без запретов и ограничений, на основе подлинной гласности;

б) советское общество не едино (как всегда считали до перестройки), оно содержит разные, противоречивые и противоположные по своим личным интересам слои общества. Одни из них заинтересованы в перестройке и поддерживают ее, другим перестройка опасна, ибо она противоречит их интересам и направлена на кардинальные изменения их положения в обществе, на устранение их статус кво, они, эти слои, цепляются за старое, хотят, чтобы имели место лишь пустые разглагольствования об изменениях, усовершенствовании, но чтобы на самом деле ничего не менялось;

в) и, наконец, признано, что в ходе развития советского общества выработались механизмы (экономические, политические, культурные, идеологические) торможения, которые и привели к кризису и к необходимости выработки новой стратегии ускорения, ядром которой является «перестройка». Механизм торможения содержит догматизм не только в мышлении, но и в различных формах практической дея-

тельности, социальную базу которой составляет бюрократизм, авторитарно-ориентированные слои управленческого аппарата.

Лапин считает, что освобождение догматизма в философии требует не только движения вперед, но и некоторого возвращения «назад», к исходным принципам марксистской философии, очищения их от наслоения догматического и апологетического характера. Такая попытка уже имела место в развитии советской философии. Это было в период «оттепели». Многие философы тогда серьезно занялись изучением мало известных работ Маркса, особенно молодого Маркса, содержащихся в этих работах гуманистических идей и неофициально объявили себя «неомарксистами». По-своему этот период был плодотворным, так как он позволил многим свести счеты со своей научной совестью, увидеть марксизм более открытыми к истине глазами, найти место в науке и идеологии и определить характеристики «советского марксизма» в системе других научно-социологических теорий. Однако этот период был очень непродолжительным и закончился он тем, что был захлестнут «новой» волной догматически-схоластическо-апологетической теории и идеологии, призванной обслужить кризисную ситуацию общественного развития в СССР. Уже тогда многие стали понимать, что далее так жить невозможно, но силы сопротивления были малочисленны, неорганизованны и не смогли оказать существенного влияния на «новую», более мутную, более догматическую и апологетическую волну в развитии советской идеологии, которая чем дальше, тем больше превращалась в инструмент торжества как в теории, так и на практике.

По сути, о кризисных моментах в марксизме впервые открыто было сказано именно сейчас, в горбачевский период. Так, например, в статье Е. Г. Плимака «Новое мышление и перспективы социального обновления мира» (1987, № 6) пишется: «В прошлом в развитии марксизма возникали кризисные ситуации, существенные расхождения в рядах компартий наблюдаются и ныне... Ныне разнообразились, видоизменились, причем коренным образом, условия революционной практики пролетариата, выявились «непредусмотренные» теорией сложности, альтернативы, опасности, тупики исторического движения, весьма затруднилось его прогнозирование. Соответственно в развитии марксизма возник «перерыв постепенности», марксизм стоит перед качественным скачком в своем развитии».

Кое-кто в философских журналах «не боится» писать открыто, что некоторые подходы марксизма и некоторые вопросы устарели, а также их решения, в связи с новой атомной эрой.

Выделим главное:

а) советские марксисты в недавнее время ввели в обиход новую категорию и новую проблему – «кризис человеческой цивилизации». Марксисты позволили себе посмотреть на мир не с узко классовых позиций, а с общечеловеческих. Ими были признаны в качестве главных противоречий развития современности не классовые противоречия, как раньше, а противоречия глобального характера. Они осознали необходимость компромиссов для сохранения мира и цивилизации. Ряд авторов еще и в эти вопросы стыдливо тянет теорию классово-вой борьбы, но уже признано, что не она главный нерв эпохи;

б) Плимак пишет: «Нам уже приходилось говорить, что „новое мышление в ядерный век“ требует и новой проработки марксистами проблемы соотношения насилия и гуманизма... Появление чудовищных средств разрушения грозит обратить насилие из „повивальной бабки“ в „могильщика“ истории, социальные роды нового общества могут обернуться социальной смертью. Поэтому то, что отодвигалось Марксом (да и Лениным) в отдаленные времена (переход на ненасильственные пути прогресса), отныне стало задачей дня». Безусловно, такой подход хотелось бы приветствовать, но не надо забывать, что ненасилие должно стать не только формой межгосударственных отношений, но и внутригосударственных, по отношению к тем, кто хочет иметь возможность мыслить и говорить свободно, пользоваться правом свободы совести, получать и распространять информацию без всяких насильственных ограничений;

в) внимание обращено на проблему выбора правильных форм борьбы. Это входит в широкую философско-практическую и этическую проблему целей и средств, что для советского марксизма всегда было больным местом. Теперь в той же статье Плимака читаем: «Но сама эта эпоха учит революционный пролетариат избегать военных конфронтаций, вырабатывать, широко практиковать компромиссные формы борьбы... Но надо ясно осознавать критичность ситуации: у человечества, вступившего в ядерную эру, просто не окажется будущего, если ему не удастся этого сделать»;

г) отодвинут далеко в будущее вопрос о мировом коммунизме. Это очень важно, ибо от этого во многом меняется вся стратегия, выраженная в «новом мышлении». «Маркс, – пишет тот же Плимак, – представлял объединение человечества на коммунистической основе. Ныне при существовании глобальных проблем выдвинулась новая, куда более сложная задача – создание единого человечества еще в условиях *социально-разнородного мира*. И здесь нужно максимальное

расширение фронта поиска, проверка, испытание самых разнообразных приемов и средств продвижения вперед»;

д) остро вновь поставлен вопрос о мирной революции, о мирных революционных переходах внутри самой социалистической формации, о большой временной протяженности социализма, и отодвинут на несколько поколений переход к коммунизму в социалистических странах.

В целом автор статьи «Новое мышление и перспективы социального обновления мира» делает вывод: «...в общем и целом возникает – коль скоро мы говорим об адекватном и конструктивном отражении марксизмом особенностей современного исторического периода – необходимость в создании *теоретической модели длительного, многовариантного, разноформационного* и по возможности более гармоничного развития мира».

Мной для анализа взяты наиболее интересные статьи авторов, способных откликнуться на новые веяния времени. Вместе с тем, еще раз надо сказать, что многие из старых авторов просто не в состоянии этого сделать.

Имеется, конечно, и более серьезная причина – почему еще многие не поддерживают перестройку, не хотят переходить к «новому мышлению». В очень интересной статье Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли», напечатанной в журнале «Знамя» (1987, № 9), анализируется «старое мышление» власть предержащих, т. е. номенклатуры, которая и сейчас является тормозом всего по-настоящему нового. Обращаясь к этим людям, Ю. Карякин пишет: «Вы сильны и страшны, но только тогда, когда у Вас есть власть над людьми и когда вас кто-то (еще по инерции) боится. Но как только сталкиваешься с Вами на равных, «в чистом поле» (гласность), все сразу становится на свои места. И вдруг оказывается: даже победа над Вами почему-то неинтересна, но все-таки необходима, чтобы – вернуться к работе.

Вы, конечно, явление уникальное. Вы остаточное явление так называемой «эпохи культа личности». Вы из послушных, образцовых ее духовных детей. Запугивание других и собственный страх, страх, называемый «бдительностью», страх промахнуться, ошибиться, кому вовремя поддакнуть, кого вовремя предать, – вот что стало Вашей натурой, единственным двигателем Ваших действий, самоцелью Вашей жизни. И Вы достигли на этом пути феноменальных результатов – завоевали абсолютное недоверие к себе».

Итак, неумение, нежелание понять новое, страх, что новое ведет к потере привилегий, невыгодность этого нового определяет паралич мысли у застрявших в старых шорах советских «философов».

Понимая это, вместе с тем нельзя не видеть все же крупницы нового, интересного, появившегося на страницах журнала «Вопросы философии». Нельзя не желать, чтобы этих крупниц было больше.

Тамара Самсонова

«ЭТОТ ЮМОР РАСКРЫВАЕТ МИРИАДЫ ИСТИН»

Рональд Рейган

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

Издание второе,
исправленное и дополненное

ВЫШЛО В СВЕТ

В книге 543 стр. Она содержит около 1750 анекдотов с 1918 по 1987 гг. включительно, разбитых по 44-м тематическим разделам, и иллюстрирована 45-ю рисунками. Каждый раздел имеет аналитическое вступление. Имеется также общее введение. В начале книги помещена переписка президента США Рональда Рейгана по поводу анекдотов из коллекции авторов книги.

Заказы следует посылать по адресу:

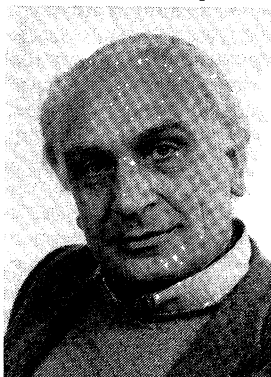
S. Tictin
Greenspan Str. 12/6
Misrakh Talpiot 422
Jerusalem 93802
Israel

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С МАРКО ПАННЕЛЛА

Ведет Галина Келлерман

19–21 ноября 1987 года в Париже состоялся Международный форум «Литература без границ», организованный Интернационалом Сопротивления, Французским Пен-Клубом и



журналом «Континент» под покровительством Государственного Секретаря по Правам человека Клода Малюре. На Форуме обсуждались проблемы сопротивления писателей Власти в прошлом, настоящем и будущем, как на Западе, так и на Востоке, проблемы единства литературы и культуры, современные политические и культурные процессы.

Среди участников Форума были десятки известных писателей, интеллектуалов, ученых, общественных деятелей Востока и Запада: Милослав Джилас и Эжен Ионеско, Владимир Максимов и Роберт Конквест, Добрица Чосич и Андрэ Глюксман, Леонид Плющ и Жан-Франсуа Ревель, Владимир Войнович и Вильям Стайрон, Георгий Владимов и Марек Хальтер, а также многие, многие другие.

Одно из крупнейших французских издательств «Альбен Мишель» приурочило к открытию Форума выпуск первого номера нового французского ежеквартального издания журнала «Континент».

Лидер итальянской Радикальной партии Марко ПANNELЛА, интервью с которым мы публикуем ниже, участвовал в работе Форума.

Г. К.: Господин ПANNELЛА, позвольте представить вам журнал «Континент». Это самый крупный русскоязычный журнал, выходящий на Западе. Его тираж – 4000 экземпляров,

и его читают как в западных странах, так и в Советском Союзе, хотя в продаже там его нет.

М. П.: Я надеюсь, что его провозят в СССР и члены Радикальной партии!

Г. К.: Теперь ваша очередь. Вы – основатель и лидер итальянской Радикальной партии. Расскажите о ней нашим читателям.

М. П.: Во-первых, это не итальянская Радикальная партия, а просто Радикальная партия. Нигде в наших статутах речь не идет о национальной или государственной принадлежности. Я приведу вам один пример. В 1968 г., когда я был секретарем партии, мы остро реагировали на вторжение в Чехословакию. Мы распространили тогда 42 000 листовок с протестом против оккупации во всех странах Варшавского договора. Я сам был задержан в Софии и провел несколько дней в тюрьме. Таким образом, наша партия никогда не ограничивалась национальными итальянскими проблемами. Но в Италии наши действия в защиту определенных прав и свобод были особенно успешными. Я имею в виду право на развод, на аборты, на отказ от воинской повинности по идейным соображениям. Речь идет о внедрении в итальянское общество, еще довольно отсталое, европейских понятий. Так сложилось исторически, что наша партия особенно укоренилась в Италии, откуда она черпала свою силу и своих членов, хотя и никогда не состояла из одних итальянцев.

Примерно два года тому назад мы пришли к твердому решению. Наша партия должна перестать быть итальянской, она должна стать всеобщей, наднациональной, каковой она и была задумана. А если это окажется невозможным, надо «закрыть лавочку». Нельзя проповедывать интернационализм, будучи национальной партией! В течение последних лет наша деятельность была в основном посвящена не итальянским проблемам. Между 1979 и 1984 гг. мы занимались преимущественно проблемой голода на Земле, определяя голод как средство массового уничтожения. Не удивительно, что коммунистические партии, как в Третьем мире, так и на Западе, отнеслись к нашей деятельности подозрительно и враждебно. Ведь мы утверждали, что голод – проблема политическая и что для выживания нужна межгосударственная евро-африканская система взаимопомощи и взаимозависимости. И мы говорили как в итальянском, так и в Европейском парламентах,

что, если нам удастся реорганизовать экономику бедных стран и обеспечить выживание голодающих народов, это одновременно будет и победой демократии над военными режимами, над советской или кубинской моделями общества. Эта акция имела большой успех на государственном уровне различных европейских стран, были мобилизованы значительные средства, около миллиона человек было спасено от голода.

Затем мы заняли более жесткую позицию по поводу нарушений прав человека в советской империи. Точнее, позиция у нас всегда была жесткой, но мы стали более методично, более целенаправленно бороться за права человека в странах Восточной Европы и в СССР. За последние 5 лет мы провели около 80 акций внутри европейских соцстран. Одна из последних наших акций, организованная совместно с Интернационалом Сопротивления, проходила в Москве. Наши активисты распространяли там листовки, призывающие советских молодых людей отказываться от службы в армии, покуда продолжается оккупация Афганистана.

Г. К.: Как же это было организовано?

М. П.: Наши активисты прибыли в Москву как туристы. Они распространяли листовки в людных местах, например, у выходов из метро.

Г. К.: И их не арестовали?

М. П.: Нет, их просто задержали и быстренько «выставили». Советская полиция уже хорошо знает наших ребят. Ей известно, что мы хорошо организованы и что наша пропаганда – действенная. Кстати, одновременно с акцией в Москве такая же акция была организована нами в Афганистане, но ее подробности я вам сообщить не могу.

Позвольте заметить еще следующее. Как ни парадоксально, наша Радикальная партия является «второй партией» Советского Союза. У нас 16 или 17 членов в Москве, есть члены и в других городах СССР. Это, в основном, отказники, но не только они. Есть в наших рядах и советские правозащитники, живущие ныне на Западе, – Леонид Плющ, Авиталь Щаранская и т. д.

Г. К.: Вы призываете к отказу от службы в Советской армии. Но ведь уклонение от военной службы, дезертирство рассматриваются как преступления и в западных странах.

М. П.: Это правда. Если бы мы организовали такую акцию в Париже, наши активисты, возможно, оказались бы

под судом и в заключении. Однако для тоталитарных стран типично не применять свои собственные законы, когда этого требуют интересы государства. Поэтому не удивительно, что наших активистов выслали из СССР, но не возбудили против них уголовного дела. Конечно, наши активисты были готовы к любым последствиям.

Г. К.: Каков психологический профиль ваших активистов?

М. П.: Это люди, выступающие против всякого насилия, сторонники философии Ганди.

Г. К.: В основе вашей деятельности лежит философия Ганди?

М. П.: Доктрина отказа от насилия не была изобретена Ганди, но он первый с успехом применил ее в политической практике. Это вообще один из основополагающих принципов западного мышления. Возьмите, к примеру, забастовку. Ее принцип – борьба без применения насилия. Такой же принцип и в голодовке. Ганди взял эти принципы на вооружение. Ибо на Востоке непотворение насилию было пассивным, а это направление – активное, свойственное англо-саксонскому мышлению. Не забывайте, что Ганди был английским адвокатом!

Г. К.: Не объясняется ли успех Радикальной партии в Италии тем, что она во многом продолжает традиции итальянских анархистов?

М. П.: Мы – за свободу и за свободы, но мы не анархисты. Наш девиз: «За жизнь права и право на жизнь!» Мы не руссоисты, и мы опасаемся неправильного прочтения Руссо. Мы считаем, что всеобщая уравниловка опасна, равно как и миф о добром дикаре. Дикари живут в джунглях, а там царит насилие. И самый варварский закон, такой, например, как «око за око», все же лучше, чем закон джунглей. Именно право, закон гарантируют свободу.

Конечно, некоторые заключенные могут заявить, что они свободнее своих тюремщиков. Морально – это, может быть, и так. Но мы занимаемся не этим, а, если можно так выразиться, свободой тел. Свобода духа – вещь трудно определимая, это область теологии. У нас же задача куда более скромная: свобода тел и личностей, их населяющих. Это право на движение и передвижение, на мысль, на слово, на организацию и т. д.

Г. К.: Про вас часто говорят, что вы поддерживаете террористов, что вы поддерживали Красные бригады.

М. П.: Ну, это могут говорить либо агенты КГБ, либо люди, которые поверили дезинформации, систематически распространяемой на наш счет.

Поколение террористов сформировалось в 1968 году, хотя я не утверждаю, что появление терроризма объясняется только событиями 68-го года. Университетское движение 68-го года слагалось из двух течений: течения ненасильственного, нашего, и течения ленинского типа, давшего террористов. В то время итальянские средства массовой информации чрезвычайно интересовались революционерами-ленинцами. Их это просто забавляло. У студентов же было большое внимание к нашей платформе. Приведу вам пример. Философ Лючо Коллетти, который, кстати, теперь занимает довольно близкие к нам позиции, читал в амфитеатре занятого студентами Римского университета лекцию о Ленине. Народу на этой лекции было весьма мало, а в соседнем амфитеатре мы организовали лекцию об учении Райха, о подавлении сексуальности, о психологии толпы, о тоталитаризме. И наш амфитеатр был переполнен. Этого ленинцы не могли перенести. В результате таких «коллизий» нас просто исключили из движения 68-го года. Уже в те годы мы были известны в Италии своим антисталинизмом и антиленинизмом, требуя в рамках закона и во имя законности реформ, расширявших сферу свободы.

Когда Красные бригады укрепились в Италии, они бросили так называемый призыв «П. 2». В государственном аппарате были значительные силы, заинтересованные в расцвете терроризма, чтобы оправдать авторитарную реформу государственной структуры. Да и коммунистической партии распространение терроризма было выгодно, ибо это оправдывало ее участие в национальном союзе с правительством, союз с христианскими демократами. Таким образом, и часть политического класса Италии, и коммунистический мир поддерживали взлет терроризма. А терроризм, в свою очередь, создавал террор.

Когда главарь террористов были арестованы и переданы в руки правосудия, в течение трех недель невозможно было составить жюри присяжных. 150 человек представило медицинские и прочие оправдательные документы, чтобы не

участвовать в процессе. Почему вообще этот процесс имел место? Потому что генеральный секретарь нашей партии, Аделаида Альетта, мать двух дочерей, согласилась войти в состав жюри. В течении 45 последующих минут нашлись и другие члены жюри. Процесс главарей Красных бригад состоялся благодаря ей, мне, всему руководству Радикальной партии, приговоренному к смерти террористами.

Г. К.: Вы были лично приговорены к смертной казни террористами?

М. П.: Да, разумеется. Но позвольте продолжить. Сегодня в тюрьме сидит множество террористов, приговоренных к пожизненному заключению. Кое-кто из них уже в тюрьме примкнул к Радикальной партии. Это люди, которые «обратились», стали сторонниками ненасильственного пути и демократии. Я составил призыв к «братьям-убийцам», выступая против идеологии баскских сепаратистов, «Аксьон директ» и т. д., и этот призыв подписали 70 заключенных-террористов, вступивших в Радикальную партию. А коммунистическая партия от них открестилась, хотя Тольятти, один из секретарей Третьего Интернационала, сам был «товарищем-убийцей», лично ответственным за уничтожение тысяч итальянских коммунистов, которые поехали в СССР спасаться от фашизма.

Г. К.: Когда же возникла Радикальная партия?

М. П.: О, это старая история. В декабре 1955 года часть левого либерального движения, включая и таких бывших участников Сопротивления, как Бенедетто Кроче, объединилась. Мы были прямыми наследниками Карло Росселли, итальянского еврея и интеллектуала, либерального буржуа-социалиста, убитого во Франции по приказу Муссолини. Но это было скорее гражданское и моральное объединение, политического заряда у нас не было. В 1962 г. эта партия находилась в кризисе. Я занимал в то время ответственный пост в студенческом движении, и меня избрали секретарем партии. Тогда-то, в 1962 г., и возникла концепция наднациональной и надгосударственной партии, партии либеральной, но считающей законность.

С тех пор мы пережили славные моменты. Располагая двумя тысячами активистов, мы одерживали победы в ходе национальных референдумов: миллионы граждан голосовали за наши идеи.

Г. К.: Это старая ленинская тактика: маленькая дисциплинированная группа может добиться очень многого.

М. П.: Вы оказываете слишком большую честь Ленину. У Иисуса Христа было только 12 учеников, не более того. В средневековых монашеских орденах, например, у тамплиеров, состояло человек по 150. А я рассматриваю Радикальную партию именно как орден. Это современный, светский, научно организованный орден. И до позапрошлого года у нас было около 2500 активистов в Европе, из них 90% в Италии. Тогда мы пришли к следующим выводам. У нас есть депутаты в итальянском парламенте и в Европейском парламенте, мы в принципе можем войти в правительство. Но если мы хотим решать большие задачи на общеевропейском уровне, нужна иная организация. Средства массовой информации – левые по одним причинам, правые по другим причинам – не дают нам доступа к своим читателям. Приходится признать, что у различных институтов демократии есть пределы, и, поскольку люди не имеют возможности узнать о нашей деятельности, остается только самораспуститься. И тут произошел странный феномен. Самые разные люди, в том числе узники тюрем, прислали вдруг членские взносы, написав нам, что они не могут допустить исчезновения партии, которая занимается гражданскими правами, в том числе и правами заключенных. Помогла нам и пресса, растрюбившая о нашем роспуске. Так некоторые знаменитости, включая и Нобелевских лауреатов, узнали о наших проблемах и вступили в партию, чтобы укрепить наши позиции. И тогда прессе пришлось объяснять наш внезапный успех. В тот момент, как всегда, у нас были акции в странах советской империи, наши активисты сидели по тюрьмам в Бельгии и в других странах за отказ от службы в армии по идейным мотивам.

Г. К.: А почему ваши активисты отказывались служить в западных армиях?

М. П.: Очень просто. Они говорили, что не хотят просто новой линии Мажино, а хотят пройти воинскую службу в России. Лучше провести два года в тюрьме там во имя нашей безопасности, чем жить в казармах тут. Мы ведь «ястребы», ненавидим «ястребы», но все же не «голуби». Нужно дестабилизировать советский режим, освободить наших братьев и сестер, не допустить нового Мюнхена, не идти на сговор с Левиафаном. Мы должны дестабилизировать режим во имя

права угнетенных народов на свободу. Не надо бояться говорить об этом.

Как раз в то время к нам присоединился Плющ, а затем Авиталь Шаранская, религиозная женщина, совершенно не политик. Почему они это сделали? Когда я был в Израиле, один журналист спросил меня, что я сделал для освобождения Шаранского. Я не помнил, да мы и не выставляем никогда своих заслуг. Но Авиталь напомнила мне, что я, депутат итальянского парламента, держал голодовку, требуя освобождения Шаранского, что я скандировал: «Свободу Шаранскому!» перед советским посольством в Риме. Для меня же это было нормальным поведением, равно как и борьба за освобождение Плюща. Когда он прибыл на Запад, он написал мне благодарственное письмо как коллеге-математику. А я всего лишь сумасшедший радикал!

Кстати, когда Ярузельский прибыл в Рим по приглашению Кракси, я был против этого визита. Что мы могли сделать? Ведь тут были замешаны и экономические интересы Италии, фирма «Фиат» и т. п. Мы организовались, и я с товарищами бросились на машину Ярузельского, задержав на минуту его проезд. Поскольку телекомпании вели прямую съемку, множество людей видело эту сцену, видело, что не вся Италия согласна с удушением «Солидарности».

Г. К.: 2 января 1988 года в Болонье состоится конгресс Радикальной партии. Чему он будет посвящен?

М. П.: Сейчас наступают решающие дни нашего существования как партии. Мы проводим энергичную кампанию по приему в партию, ибо, если мы не станем действительно многонациональной, интернациональной партией, нам останется только самораспуститься. Год назад нас было 2000, теперь нас 10 000, но проблема еще не решена. Я убежден, что нам необходим большой скачок в количестве и качестве наших членов, чтобы наша добровольная и либеральная партия стала действенным инструментом в борьбе с советской империей. Мы должны проводить бескомпромиссные, последовательные, отточенные акции, действуя официально в качестве депутатов итальянского и Европейского парламентов. Иначе нам грозит новый Мюнхен, и очень скоро.

Г. К.: Как вы расцениваете феномен Горбачева?

М. П.: Я сторонник ненасильственных действий. Если мне предлагают диалог, я его принимаю. Конечно, могут быть

относительно безболезненные переходы от тоталитаризма к демократии, как это случилось в Испании. Но в аграрной отсталой Испании это был примитивный тоталитаризм. Трудно поверить, что подобный безболезненный переход возможен в мощной индустриальной России. Да и Запад ведет себя неправильно по отношению к тоталитарным режимам, ибо не верит в демократический потенциал их народов. Возьмите Никарагуа. Его правительство подвергается критике с самых разных точек зрения, но никто не призывает провести там свободные выборы. А требовать нужно именно этого.

Конечно, страны восточного блока боятся и нашего оружия, но они больше всего боятся наших идей. Поэтому мы, в частности, ратуем за отмену такого варварства, как смертная казнь. Если мы имеем право казнить, умерщвлять людей, мы, по сути дела, оправдываем применение ядерного оружия Советским Союзом в случае войны. И сейчас мы проводим большую международную кампанию за отмену смертной казни в США и в СССР. Мы должны показать наше благородство духа, безупречность демократии, а это несовместимо с существованием смертной казни. Именно в этом я упрекаю Рейгана, в годы правления которого усилилось применение смертной казни. Недаром русские всегда предпочитали правых республиканцев! Да и сталинизм на Западе всегда придерживался принципа не иметь врагов справа. Его врагами всегда были левые. И линия Конгресса за свободу культуры была в 50-е годы моей линией, линией, которая остановила распространение сталинизма. И даже ошибки президента-демократа Кеннеди не перечеркивают его позитивных намерений: я имею в виду кубинский кризис. А президенты-республиканцы неизменно уступают шантажу тоталитарных систем под давлением экономических интересов гигантских международных корпораций. И об этом надо говорить, надо это обсуждать. Поэтому существование «Континента» так важно. Это трибуна для дискуссии. Мы должны знать мнение диссидентов, должны иметь возможность диалога с ними.

Г. К.: Каким образом у вас образовались тесные, дружеские связи с диссидентами?

М. П.: Это уходит в далекое прошлое. В 1956 г., когда была Венгерская революция, я был президентом Итальянского союза студентов. Я тут же поехал в Вену, провел там 30 дней и постарался привезти в Италию как можно больше вен-

герских беженцев. И так мы действовали всегда. Но в последние 3-4 года имел место встречный процесс: эмигранты, диссиденты начали отдавать себе отчет в том, что мы систематически боремся за их права, защищаем их, распространяем листовки, устраиваем голодовки, предлагаем резолюции в парламентах. Короче, диссиденты открыли нас для себя.

Г. К.: А как ваша партия относится к европейским компартиям, в частности, к итальянской компартии?

М. П.: Итальянские коммунисты – это, прежде всего, коммунисты. Во Франции итальянские коммунисты всегда вызывали восхищение. А в Италии не то чтобы восхищались французскими коммунистами, но зато французские интеллектуалы-коммунисты (между прочим, бывшие сталинисты) вызывали бурю восторгов. В Италии было много иллюзий по поводу итальянской компартии. Но заметьте, на кого была направлена ненависть этой партии? Вы думаете, на фашистов? Вовсе нет – на нас, радикалов. Как всегда, коммунисты видят своих врагов не в правых, а в левых.

Г. К.: История повторяется. Ведь и в республиканской Испании коммунисты считали своими злейшими врагами анархистов.

М. П.: Я хочу вернуться к вопросу об анархизме. В анархизме существуют две тенденции: одна – нигилистская, очень далекая от нас, а другая – скорее христианская, толстовская, очень либеральная. И эта тенденция нам духовно близка.

Г. К.: Расскажите, пожалуйста, о роли, которую играет Чиччолина в вашей партии. Я знаю, что очень многих, да, признаюсь, и меня, шокирует политическая карьера актрисы порнографического кино, которая, к тому же, ходит с оголенной грудью на митинги и вульгарно заигрывает с дикторами телевидения и журналистами. Ее поведение должно отталкивать от вас и избирателей, и потенциальных членов.

М. П.: Спасибо за этот вопрос. Но это проблема куда серьезнее, чем вы думаете. Если бы Чиччолина только шокировала публику, так Бог с ней! Дело в другом. Мы всегда были против пропорциональной системы выборов, за англо-саксонскую демократию. Веймарская республика обладала пропорциональной системой – вы знаете, чем это кончилось. Испанская республика обладала пропорциональной системой – вы знаете, чем это кончилось.

Борясь за англо-саксонскую избирательную систему, за поименное голосование, против голосования по спискам, мы часто использовали выборы, чтобы обнажить дефекты как итальянской избирательной системы, так и итальянского правосудия, допускающего вопиющие случаи несправедливости. Даже Рейган, впрочем, признавал несовершенство итальянской юстиции, где человек может просидеть 12 лет в предварительном заключении за свои связи с мафией или с террористами. Так вот, на одних выборах мы включили в наш список Тони Негри, который никогда не был радикалом, но который к тому времени провел 5 лет в тюрьме, ожидая процесса по обвинению в терроризме. На других выборах это был Энцо Тортора, самый популярный ведущий на итальянском телевидении, обвиненный в принадлежности к мафии. Негри был избран в генеральный секретариат партии, а Тортора стал депутатом Европейского парламента. В обоих случаях юстиция признала потом их невиновность. Мы включили этих людей в списки, чтобы вызвать скандал, ибо пресса до этого молчала. У итальянского Дрейфуса не нашлось своего Золя, а также не нашлось газеты «Орор».

На последних выборах мы включили в списки Чиччолину. Многие думают, что мы сделали это из принципа, ибо мы защищаем сексуальные меньшинства, будучи сторонниками учения Райха о диктатуре, о нацизме и коммунизме как следствии сексуального подавления. Но в данном случае дело обстояло иначе. Среди 10-ти или 12-ти тысяч человек, уплативших членские взносы и ставших действительными членами нашей партии, была эта молодая женщина, Чиччолина. Впрочем, порнография – ремесло, как всякое другое. В момент выборов она попросила включить ее в наш избирательный список. У нас же действует принцип, что любой член может записаться в список. Нас не слишком волнует, кто будет в наших списках – мы тщательно отбираем только те кандидатуры, которые стоят первыми в списках и, таким образом, имеют реальные шансы быть избранными. Кроме того, я не хотел выглядеть фарисеем. Политикой могут заниматься и воры, и убийцы. Так почему не б...? Но мы поставили ее на таком месте в списке, где у нее не было никаких шансов: она была на 49-м месте в Римском округе, а на первых 12-ти местах у нас были очень серьезные кандидаты. И что же получилось? Коммунисты, с одной стороны, и газета «Република», с дру-

гой, раздули эту историю, сделав политическую звезду из никому не известной актрисы порно. О ней говорили на первых страницах газет в течение первых двух месяцев, а других наших кандидатов никто и не упоминал. Короче говоря, она была избрана в парламент, хотя мы до последней минуты призывали наших избирателей голосовать за тех, кто находился во главе списков. Ну, что нам было делать – я не мог отказать Чиччолине в праве выставить свою кандидатуру, потому что она занимается ремеслом, не отвечающим моим вкусам. Я не считаю, что торговля сексом является сексуальным освобождением.

А теперь мы оказались в тяжелом положении. Достоинейшие люди нашей партии, такие, как Эмма Бонино, спасшая около 150 тысяч человек в Третьем мире, устраивают пресс-конференции в Париже или в других местах – никто не приходит, ни строчки в печати. Появляется Чиччолина и оголяет свой сосок – это сенсация, хотя женщины ходят с голой грудью на пляжах и обнаженных показывают по телевизору. Это просто катастрофа! Люди не имеют права говорить, что Радикальная партия – это Чиччолина. Но пресса именно это и утверждает. У нее берут интервью, ее приглашают на телевидение, а меня в лучшем случае используют как ее переводчика.

Г. К.: А я, честно говоря, думала, что выдвижение Чиччолины было сознательным шагом.

М. П.: Вообще-то у нас могли бы быть и «худшие» кандидаты. Какую-нибудь уличную проститутку, ставшую жертвой несправедливости, я мог бы даже поставить во главе списка. Тут никакой несправедливости бы не было, но и отказать Чиччолине было невозможно. Мы думали, что заплатим за ее включение в списки потерей десяти-двадцати тысяч голосов. К этому, во имя наших принципов, мы были готовы. Однако на деле мы потеряли 300 000 голосов, примерно четверть наших избирателей, ибо Чиччолина была использована нашими противниками как инструмент для нашей систематической дискредитации. Из нее сделали сенсацию, а моего голоса никто и не слышал. Впрочем, она – весьма порядочная женщина. Она – венгерка по происхождению, приехала в Италию учиться, а не выходить на панель. Но она решила остаться на Западе, надо было жить, и она стала актрисой порно. Ничего особенного в этом нет.

Г. К.: Позвольте под конец еще вопрос. Как вы относитесь к пацифизму?

М. П.: В качестве сторонников ненасильственных действий, мы являемся противоположностью пацифистов. Пацифисты всегда преуменьшают опасность войны, агрессии и призывают к сокращению расходов на оборону. Они хотят быть нейтральными, и они были нейтральными по отношению к нацистам и к антифашистам, к сталинистам и к антисталинистам. Вот в этом я и упрекаю пацифистов. Они совершенно пассивны. А мы заявляем, что нельзя ждать, пока на нас нападут. Мы идем в атаку на советскую империю, ибо мы должны стремиться к освобождению ее народов. Проблема Запада сегодня – в том, что все его идеологии пассивны. А наша идеология – агрессивна. И единственный способ этой агрессии – дестабилизация посредством информации. Я уже предложил два закона на эту тему в итальянском и Европейском парламентах. У нас огромные военные бюджеты. Надо обратить часть этих денег на то, чтобы бомбардировать, в буквальном смысле слова, страны Восточного блока информацией, учебниками, романами, стихами. Я говорю: дайте 10% военного бюджета на эти цели вместо того, чтобы производить ракеты, которые никогда не будут использованы. И тысячи, десятки и сотни тысяч молодых людей, вместо того, чтобы служить в армии на Западе, могли бы поехать в СССР, чтобы распространять информацию. Что сможет сделать с этим Горбачев? Закроет границы и не пустит этих молодых людей с книгами и цветами? Это ведь так просто, но такие меры не вменяются в рамки традиционного политического мышления. В Европе, на фронте борьбы с советской империей, можно добиться совершенно невероятных результатов, как добивался их Ганди. Не случайно, что к нашим активистам так восторженно, так тепло относятся в Москве. А ведь эти молодые радикалы – очень обычные ребята, не герои, не мученики, не великие интеллектуалы.

Г. К.: И последний вопрос, наш традиционный: знаете ли вы русскую культуру? Каких писателей любите?

М. П.: В детстве я много читал, особенно по ночам, с фонариком под одеялом. В библиотеке моего отца оказались и русские классические романы, и я был зачарован этой культурой. Но у меня была большая трудность: я совершенно не

запоминал русские имена с отчествами и из-за этого запутывался в сюжете.

Г. К.: А как насчет современных авторов?

М. П.: Я сделал сознательный выбор лет двадцать тому назад. Поскольку я решил посвятить себя политике, я отказался от фильмов и концертов и предельно ограничил себя в чтении. Конечно, я иногда читаю вещи сенсационные. Я читал, например, «Доктора Живаго» и «Архипелаг ГУЛаг». Но для меня важнее действовать, чем иметь собственное суждение о той или иной книге.

ПАНЕЛЛА Марко – родился в 1930 году в Терамо (Италия), дипломированный юрист, профессиональный журналист. В 1950 г. он был национальным делегатом Либеральной партии по делам университетов, в 1952 г. избран председателем Союза студенческих светских сил, в 1953 г. – председателем Национального союза студентов университетов. В 1956 году вместе с группой представителей итальянской интеллигенции и политических деятелей – демократов, либералов и социалистов – участвовал в учреждении Радикальной партии. Много раз избирался депутатом муниципалитетов и провинциальных советов в Риме, Неаполе, Триесте, дважды – в Палату депутатов, Сенат и Европейский парламент. В настоящее время является представителем группы депутатов, не принадлежащих к фракциям, в президиуме Европейского парламента.

Специальное приложение

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ 1987

I

Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание.

Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется «урби эт орби» с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что – по причинам прежде всего стилистическим – писатель не может говорить за писателя, особенно – поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистан Оден, они невольно говорили бы именно за самих себя и, возможно, испытывали бы некоторую неловкость.

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае, они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности. Ибо быть лучше них на бумаге невозможно; невозможно быть лучше них и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они ни были, заставляют меня часто – видимо, чаще, чем следовало бы, – сожалеть о движении времени. Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой, – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят меня и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится.

Я назвал лишь пятерых – тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги, хотя бы потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае, я не стоял бы сегодня здесь. Их, этих теней – лучше: источников света – ламп? звезд? – было, конечно же, больше, чем пятеро, и любая из них способна обречь на абсолютную немоту. Число их велико в жизни любого сознательного литератора; в моем случае оно удваивается благодаря тем двум культурам, к которым я волею судеб принадлежу.

Мне облегчает дело также и мысль о современниках и собратях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного, и которые, окажись они на этой трибуне, уже давно бы перешли к делу, ибо у них есть больше что сказать миру, нежели у меня.

Поэтому я позволю себе здесь ряд замечаний – возможно, нестройных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью. Однако количество времени, отпущенное мне на то, чтобы собраться с мыслями, и самая моя профессия защитят меня, надеюсь, хотя бы отчасти от упреков в хаотичности. Человек моей профессии редко претендует на систематичность мышления; в худшем случае он претендует на систему. Но это у него, как правило, заёмное: от среды, от общественного устройства, от занятий философией в нежном возрасте. Ничто не убеждает художника более в случайности средств, которыми он пользуется для достижения той или иной – пусть даже и постоянной – цели, нежели самый творческий процесс, процесс сочинительства. Стихи, по слову Ахматовой, действительно растут из сора; корни прозы – не более благородны.

II

Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней – и наиболее буквальной – формой частного предпринимательства, оно волею или неволею поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности – превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. Произведение искусства, литература в особенности и стихотворение в частности обра-

щаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия – равнодушие и разногласие, на месте решимости к действию – невнимание и брезгливость. Иными словами, в нолики, которыми ревнители всеобщего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу.

Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь, ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию – тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут.

Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать – бесконечного, по отношению к временному, ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма прошедшего времени, пытающегося навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек,

чья профессия язык, – последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследований со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему – но всегда временными – очертаниями.

Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике – всегда «вчера»; язык, литература – всегда «сегодня» и часто, особенно в случае ортодоксальности той или иной политической системы, даже и «завтра». Одна из заслуг литературы в том и состоит, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным именем «жертвы истории». Искусство вообще и литература в частности тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторения. В обыденной жизни вы можете рассказать тот же самый анекдот трижды и трижды, вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная форма поведения именуется «клише». Искусство есть орудие безотказное, и развитие его определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого материала, предыдущей судьбой средств, требующих найти (или подсказывающих) всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным инструментом которой является – а не уточнить ли нам Маркса? – именно клише.

На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа. В противном случае

народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятие «хорошо» и «плохо» – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмысленный младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянувшийся, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный.

Эстетический выбор индивидуален, и эстетическое переживание – всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его царственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее.

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнольда, что «нас спасет поэзия». Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Эстетическое чутье в человеке развивается весьма стремительно, ибо, даже не полностью отдавая себе отчет в том, чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В антропологическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности литература, – не побочный продукт видového развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература и в частности поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель.

Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не менее, подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных представляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно подразделению общества на богатых и нищих; но, если для существования социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они немыслимы. В чем – в чем, а в этом смысле равенство нам гарантировано от природы. Речь идет не об образовании, а об образовании речи, малейшая приблизительность которой чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора. Существование литературы подразумевает существование на уровне литературы – и не только нравственно, но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной исполнителя, произведение литературы – искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического – обрекает его на роль только исполнителя.

В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль эта в результате популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией общества, т. е. со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все более неизбежной. Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение – не монолог, но разговор писателя с читателем – разговор, повторяю, крайне частный, исключая всех остальных, если угодно – обоюдно мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий он писатель или нет. Равенство это – равенство сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или поздно, кстати или некстати, определяет поведение индивидуума. Именно это я и имею в виду, говоря о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя.

В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга – феномен антропологический, аналогичный по сути изобре-

нию колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что «сапиенс» этот способен, книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это, в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя; от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это – бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и подобию мы ни были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противном случае нас ожидает прошлое – прежде всего политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями.

Во всяком случае, положение, при котором искусство вообще и литература в частности является достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене государства библиотекой – хотя мысль эта неоднократно меня посещала, – но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя. Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным противоядием от каких бы то ни было – известных и будущих – попыток тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.

Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебре-

жение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация, она платит за это своей историей. Живя в той стране, в которой я живу, я первый готов был бы поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и вырос. Ибо, сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия – это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции.

Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных миллионами же – ибо то, что происходило в России в первой половине XX века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия – во имя торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу только, что – не по опыту, увы, а только теоретически – я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего. И я говорю именно о чтении Стерна, Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла, Пруста и т. д., т. е. литературы, а не о грамотности, не об образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже; Мао Цзедун, так тот даже стихи писал. Список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного.

Однако, перед тем как перейти к поэзии, я хотел бы добавить, что русский опыт было бы разумно рассматривать как предостережение хотя бы уже потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому, что существовало в России до 1917 года. (Именно этим, между прочим, объясняется популярность русского психологического романа XIX века на Западе и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются, видимо, читателю не менее

диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними.) Одних только политических партий, например, накануне октябрьского переворота 1917 года в России существовало уж никак не меньше, чем существует сегодня в США или Великобритании. Иными словами, человек бесстрастный мог бы заметить, что в определенном смысле XIX век на Западе еще продолжается. В России он кончился, и если я говорю, что он кончился трагедией, то это прежде всего из-за количества человеческих жертв, которые повлекла за собой наступившая социальная и хронологическая перемена. В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор.

III

Хотя для человека, чей родной язык – русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение, я хотел бы теперь переменить тему. Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло это порождающего. Осознание этого соблазна и отталкивание от него в определенной степени ответственны за судьбы многих моих современников, не говоря уже о собратьях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев возникшую. Она, эта литература, не была ни бегством от истории, ни заглушением памяти, как это может показаться со стороны. «Как можно сочинять стихи после Аушвица?» – вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря, – повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. «А как после Аушвица можно есть ланч?» – заметил на это как-то американский поэт Марк Стрэнд. Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае оказалось способным сочинить эти стихи.

Это поколение – поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что

теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось, по крайней мере, в России, – есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил – перед мировой культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом – точнее, на пугающем своей опустошенностью месте. И что скорее интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием. Существовал, вероятно, другой путь – путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекавшегося дыхания. Если мы от него отказались, то вовсе не потому, что он казался нам путем самодраматизации, или потому что мы были чрезвычайно одушевлены идеей сохранения наследственного благородства известных нам форм культуры, разнозначных в нашем сознании формам человеческого достоинства. Мы отказались от него, потому что выбор на самом деле был не наш, а выбор культуры – и выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный. Конечно же, человеку естественнее рассуждать о себе не как об орудии культуры, но, наоборот, как о ее творце и хранителе. Но если я сегодня утверждаю противоположное, то это не потому, что есть определенное очарование в перефразировании на исходе XX столетия Плотина, лорда Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса, но потому, что кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования. Язык же – даже если представить его как некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) – к этическому выбору не способен.

Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное

состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить – как он думает в эту минуту – след на земле. Он прибегает к этой форме – к стихотворению – по соображениям, скорее всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, немедленное последствие этого предприятия – ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее – ощущение немедленного впадения в зависимость от одного, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.

Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает. Ибо, будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом – то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения, на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов греческой или римской античности, достаточно вспомнить Данте. Сознваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он – тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации.

Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть не надолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмещивается в его настоящее.

Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки – посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготее преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удастся оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом.

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №

Имя:

Адрес:

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630
Postscheckkonto: München 147391-804





К тысячелетию
Крещения Руси

Издательство
«Антиквариат»

Владимир
Максимов

СЕМЬ ДНЕЙ
ТВОРЕНИЯ

Обложка и рисунки
Виталия Стацинского

Издание четвертое

Заказы направлять по адресу:
E. Stein, 594 Chestnut Ridge Rd.,
Orange, Conn. 06477, USA.

ОСКАРУ РАБИНУ – 60 ЛЕТ

Свой юбилей Оскар Рабин праздновал как обычный день рождения – 2 января в парижской мастерской с огромными окнами, выходящими прямо на Центр Помпиду. Вероятно, это был Высший Промысел – то, что художник оказался в Париже и, лишенный советского гражданства, вынужден был пустить корни именно здесь, где многие крупные художники в прошлом нашли вторую родину.

Тяжела эта пересадка на чужую почву, не всем она под силу. Но Оскар, много переживший в своей жизни: и военный голод, и сиротство, и травлю властей, – нашел в себе силы, чтобы начать здесь новую жизнь. В сотрудничестве с известной журналисткой Клод Дей (сейчас ее уже нет в живых) он написал книгу для издательства «Лафон» «Художник и бульдозеры». Это ценнейшее свидетельство о борьбе группы независимых художников за свободу творчества и за право выставок, свидетельство о рождении независимой культуры в стране. Книга вызвала во Франции большой интерес. А затем Рабин упрямо и целеустремленно стал осваивать «живописный» Париж. И сегодня его «парижские» работы выставляются в США, в Западной Германии и, безусловно, во Франции. Казалось, можно было бы подводить утешительные итоги, позволить себе некоторый душевный покой, но Рабину это не свойственно.

Недаром именно в день своего шестидесятилетия он сообщил друзьям о создании международной группы художников под названием «Терпентин», движущей пружиной которой является идея обновления, авангарда, чувство протеста против застоя и конформизма в искусстве. «Сегодня мы наблюдаем определенный академический диктат и застой: и в трактовке искусства, и в системе организации выставок, и в отношении к зрителю. И противостоять этому академическому диктату индивидуально почти невозможно, – сказал Оскар. – Поэтому мы сочли необходимым объединиться в группу, которая, безусловно, не является партией с какой-то определенной идеологией. Эта группа может состоять из двух человек, может состоять из ста тысяч, причем людей самых разных профессий. Их должно объединять – новый свежий взгляд на искусство и новые идеи».

Первая выставка группы «Терпентин» с блеском прошла в частной галерее под Дюссельдорфом.

«Континент» горячо поздравляет Оскара Рабина – одного из крупнейших русских художников, который повлиял на художественный процесс в русском искусстве, и желает ему такой же плодотворной деятельности в будущем.